ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИК

ДОРОГА К ПОДПОЛЬЮ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор этой книги воспоминаний Евгения Петровна Мельник была женой севастопольского артиллериста, служившего на береговой батарее, располагавшейся у Херсонесского мыса.

Все месяцы героической обороны Севастополя Е. П. Мельник провела на 35-й батарее, вместе с последними защитниками города пережила трагедию тех дней.

Позже, в оккупированном немецко-фашистскими войсками Симферополе, Е. Мельник удалось связаться с советскими подпольщиками, руководимыми И. А. Козловым, и она стала участвовать в подпольной работе.

Книга Е. Мельник не претендует на широкое освещение событий прошлых лет, но она интересна как своеобразный «человеческий документ», свидетельство рядового очевидца и участника событий. В книге много примеров героизма и духовной стойкости советских людей.

Made for library
LIBRUSEC

- ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИК
  - Часть первая
    - В город пришла война
    - Первые военные месяцы
    - Мы избегаем эвакуации
    - Начало осады и первый штурм
    - Батарейцы уходят на передовую
    - Тяжелые вести
    - Поездка в Инкерманский госпиталь
    - Люди долга
    - Возвращение Бориса
    - Восстановление 35-й и 30-й батарей
    - В городе
    - Керчь пала!
    - В последний раз в своей квартире
    - На передовую за щавелем
    - Третий штурм. Переселение под скалы
    - Жизнь под скалами

- Первые жертвы в городке
- Ночная поездка в город
- Бомбежка госпиталя в Камышевой бухте. Гибель 30-и батареи. ПОДВИГ Девитярова
- Запоздалые попытки эвакуироваться
- Потрясающий удар
- К последнему оплоту
- Прощание с мужем
- Ночь последней эвакуации
- Под массивом взорванной батареи
- Неудачный прорыв
- Под батарейными скалами
- Еще одна попытка прорыва
- Мы покидаем батарею…

○ Часть вторая
- Бегство из лагеря
- Среди камней и развалин
- На пепелище
- Пленные вместо лошадей. Встреча на улице. Почему я пошла в горуправу
- Ломан или фон Ломан?
- Марионетки
- У руин своего дома
- Посещение городка и встреча с предателями
- Паспорта добыты
- Жители покидают Севастополь
- Уходим из Севастополя
- Семья колхозников Тамбовцевых
- Встреча с сестрой в Бахчисарае. Поездка в Севастополь
- В вагоне
- Под маской колхозного пчеловода
- Разные встречи
- Болезнь отца
- Тревога. Из Бахчисарая в Симферополь

○ Часть третья
- Столовая № 3 горуправы
- Мертворожденные
- Нет худа без добра
- Николай Стороженко
- Начальнички гитлеровского режима
- Приезд Нюси и первый шаг по дороге к подполью
- Путешествие в Карасубазар и деревню Аргин в

поисках Нюси
- Наши подошли к Перекопу
- На волосок от гибели
- Судьба второй группы
- Две смерти в один день
- Знакомство с Ольгой Шевченко и начало подпольной работы
- Ольга и Сергей Шевченко
- Люди нашей столовой и подпольная работа
- Тревоги и подозрения
- Несчастье с Ольгой Петровной
- Появление Нюси
- Черные тучи сгустились
- Начало конца
- Освобождение!
- Первые шаги в новой жизни

- notes
  - 1
  - 2

ЕВГЕНИЯ МЕЛЬНИК
ДОРОГА К ПОДПОЛЬЮ

Часть первая
СЕВАСТОПОЛЬ

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьёшься,
Черный ворон, я не твой!

(Из песни).

В город пришла война

Конец июня. В степи расцвели ярко-красные маки. В распахнутое окно тянет ночной прохладой, запахом цветов и трав. Так не хочется закрывать окно, но ничего не поделаешь: вот уже две недели, как в Севастополе и его окрестностях продолжается военное учение и надо соблюдать строгие правила светомаскировки.

Только что я вернулась из лагеря батареи, где смотрела кинокартину. Ездили целой компанией на свидание к своим мужьям. Завтра кончается учение, и мы с мужем весь воскресный день проведем вместе. На душе спокойно и радостно.

Поужинав в одиночестве, я постелила постель, потушила свет, открыла окно и легла спать. Засыпая, думала о том, что послезавтра день рождения Бориса. Для него я уже приготовила два подарка: серебряную чарку и костяной с серебром мундштук.

Меня разбудил оглушительный гром выстрелов. Синеватое пламя вспышек освещало комнату. «Видно еще не кончилось учение, — подумала я, — но такого грохота никогда не было». Вдруг настойчиво застучали в дверь, и я услышала голос краснофлотца: «Вставайте, воздушная тревога! Вставайте, бегите в бомбоубежище!» Я не торопилась вставать: ведь столько раз за эти две недели нас и днем и ночью посылали в бомбоубежище. Однако выстрелы гремели без перерыва, пламя вспышек полыхало в окне, как пожар. Мне почему-то стало жутко…

Я быстро оделась, вышла за дверь — в доме никого. Выскочила на крыльцо — всюду пусто, нигде ни души. Сердце быстрее забилось от безотчетного страха.

Я побежала в овраг к бомбоубежищу. Темно… Кусты… А над головой в небе — гроздья красных, желтых и зеленых светлячков. Вот и бомбоубежище. Стоя возле него, я спокойно наблюдала за тем, что творится на небе: десятки прожекторных лучей сходятся и расходятся, переплетаются, и всюду летят и рассыпаются разноцветные светлячки. Далеко в стороне, в Севастополе, внезапно поднимаются столбы пламени, горизонт окрашивается багровым светом огромных вспышек.

Рядом со мной стоял бывший командир нашей батареи капитан Балан, отчисленный на курсы усовершенствования начсостава. Сегодня он приехал в городок, чтобы навестить свою жену и детей.

— Какое необычайное учение, — сказала я, — такого никогда не было!

Балан удивленно повернулся ко мне:

— Разве вы не слышали, что я говорил?

— Нет, я прибежала позже всех.

— Какое учение?! Ведь это — война! Неизвестные самолеты сбросили бомбы на город. Вы видели вспышки и зарево? Это взрывы вражеских бомб. Севастополь бомбили.

— Война? Бомбили город?

Слова капитана подействовали на меня ошеломляюще. В городе мои отец и мать, с ними мальчик Женя — девятилетний

сын мужа от первого брака. Что с ними?

Скорей туда, скорей!

Начинался рассвет. Грохот орудийной пальбы стал утихать. Наспех приведя себя в порядок и переговорив по телефону с мужем, я выбежала на дорогу.

Здесь снова встретила капитана Балана, спешившего в город. Мы остановили проезжавшую машину и быстро вскочили в нее.

Дорога с мыса Херсонес в Севастополь шла по голой степи. Лишь вправо от городка, в сторону мыса Феолент тянулся лесок корявого, низкорослого крымского дуба. Слева виднелся берег, изрезанный небольшими, но глубокими бухтами. Позади, за обрывистыми отвесными скалами, до самого горизонта синело открытое море. Я обернулась, увидела, как белые домики городка нашей батареи стали быстро врастать в землю, скрываясь за пригорком. Я говорю: «нашей батареи» потому, что все мы, жены командиров, привыкли считать 35-ю тяжелую береговую батарею и ее городок чем-то своим, близким, неразрывно связанным с личной жизнью.

Мы проехали через Горбатый мост, под которым колыхалось зеленое озерко пшеницы, окаймленное ярко-красными маками. Вчера я здесь была, нарвала огромный сноп маков, вся моя комната уставлена вазами с Цветами. Да… И вдруг я почувствовала, что вчерашний день ушел куда-то далеко-далеко… Война! Что-то жестокое, неумолимое ворвалось в мирную жизнь. Над будущим опустилась непроницаемая мрачная завеса.

Приехали в город. На углу Большой Морской и Херсонесского моста машина остановилась. Я помчалась на улицу Володарского. В парадном столкнулась с отцом, который шел на почту разговаривать по телефону с сестрой, недавно переехавшей в Ялту. Отец, к моему удивлению, был в веселом, бодром настроении. — Папа, ведь это война!

— Какая война, что ты говоришь глупости! — недовольно сказал отец. — Большое учение, такого еще никогда не было.

— Да война это, а не учение! Город бомбили.

— Глупости говоришь!

И папа все в том же веселом настроении отправился на почту.

Жители Севастополя привыкли к грому орудий, военным учениям и не сразу поняли, что на город совершен внезапный бандитский налет. Военные знали, в чем дело, но они находились на своих постах.

А в 12 часов дня всем стало ясно из сообщений по радио.

Итак, война с фашистской Германией. В эту ночь немецкие летчики сбрасывали на парашютах морские мины, пытаясь минировать севастопольские бухты, чтобы запереть и уничтожить

Черноморский флот. Наши зенитчики сбивали вражеские самолеты с курса и не давали бомбить прицельно. Беспорядочно сброшенные мины разрушали город.

Одна из мин попала в большое здание в Матросском переулке, неподалеку от которого жила моя подруга и сослуживица по Управлению гидрометслужбы инженер Нина Ивановна Белокурова. В комнате Белокуровой вырвало окно и заклинило дверь, обрушилась штукатурка с потолка, но несмотря на столь необычные для мирной жизни явления Нине Ивановне и в голову не пришла мысль, что началась война.

— Вот доучились, — сказала ее квартирная хозяйка, — запустили вместо холостого боевым снарядом.

Многие в эту ночь, видя опускающиеся парашюты и под ними что-то вроде человеческих фигур, спешили к месту спуска «парашютистов» и были убиты или искалечены. Некоторые смотрели в окна — и осколки стекла ослепили их, изранили им лица.

Целый день толпился народ у разрушенных домов. Улицы в пострадавших районах были усыпаны камнями, кусками штукатурки, покрыты налетом пыли, в листве деревьев торчали щепки. Эта картина яснее всяких слов говорила: началась война. От развалин веяло смертью.

Какая-то женщина сказала:

— Получили воскресный отдых, бедняги!

— Заснули навеки… — мрачно добавила другая.

Толпа зашумела, послышались крики: «Гады ползучие!», «Я бы их на куски порвала, в море утопила!», «Что им, бандитам, нужно от нас?». Кто-то сказал тонким, словно девичьим голосом: «Сейчас пойду и запишусь добровольцем на фронт». Я обернулась и увидела мальчика лет пятнадцати.

— Рано тебе еще на фронт, — ответил высокий голубоглазый парень, видимо, брат мальчика. — Я пойду на фронт, а ты заменишь меня на заводе.

Парень обнял брата за плечи и повел его из толпы.

Все были потрясены, но еще никто не представлял огромного размаха страшного бедствия, которое сметет с лица земли многие города нашей страны. Не представляли, что на земле, впитавшей в себя кровь защитников первой обороны Севастополя, начнется вторая оборона, еще более героическая. Что снова загремят пушки на Малаховом кургане, а бронзовый Корнилов, стоящий на его вершине, исчезнет без следа, будто и он примет участие в этой обороне и будет убит вторично.

Вечером я вернулась к себе в городок и тотчас же написала заявление на имя командира батареи, с просьбой принять меня на

военную службу в качестве медсестры: ведь когда-то я окончила одногодичные курсы медсестер. Такое же заявление подала и Наташа Хонякина — жена старшего лейтенанта, командира первой башни, работавшая раньше медсестрой на этой же батарее. На наши заявления, прочитанные на собрании батарейцев, мы получили ответ довольно туманный: ждите, мол, а когда будет нужно, мы вас призовем; покамест будете числиться в резерве батареи.

В этот же день Борис подал заявление о вступлении в партию.

Первые военные месяцы

Шли недели. Налеты на Севастополь продолжались.

Они обычно происходили ночью, с полуночи до четырех часов утра, с рассветом улетали последние самолеты. Прошел слух о сброшенных парашютистах-диверсантах. Жители насторожились. От каждого незнакомого человека, вызывавшего подозрения, требовали документы.

Из Севастополя стали вывозить детей в деревни. А в городке женщины с детьми ночевали друг у друга. У меня образовалось целое общежитие; всю мебель я сдвинула в угол, на полу расстилали матрацы, перины и укладывались спать.

Затем мы решили перебраться в заброшенную со времен первой мировой войны шестнадцатую морскую береговую батарею. Она находилась в километре от нашего городка, у самого обрывистого берега.

Как-то еще перед войной, гуляя, я случайно набрела на эту батарею. Над землей возвышалось бетонированное сооружение с площадками, на которых когда-то стояли пушки. На трехметровой глубине под землей — казематы. Маленькая лестничка вела в коридор. Темно, таинственно и немного жутко.

Теперь батарея ожила: убрали камни, подмели пол в казематах, принесли керосиновые лампы, привезли и расставили кровати. Днем мы находились у себя в городке, а на ночь отправлялись на старую батарею. Здесь сквозь трехметровый бетон глухо слышалась пальба зениток.

Но мы не долго жили на шестнадцатой батарее. Вскоре началась эвакуация жен начсостава, и большинство их уехало. Я уезжать отказалась, так как не хотела покидать мой родной Севастополь и думала, что рано или поздно понадоблюсь своей батарее. После эвакуации нас, жен начсостава, осталось в городке семь человек.

Днем мы занимались всякой мирной работой, необходимой для батареи: перебирали в подвале картошку, помогали

работникам подсобного хозяйства — сажали овощи на огородах, работали на винограднике, расположенном у Соленой бухты. Часто ходили в поле, где нас учили стрелять из винтовки и нагана. После работы на винограднике купались в Соленой бухте, дно которой устилал мягкий песок. Не ведали мы того, что ровно через год здесь, у этой Соленой бухты, где будут торчать из песка лишь пеньки виноградных кустов, нам суждено пережить трагедию.

К заходу солнца собирались на большой террасе, рассаживались на мешках с песком и ждали, прислушивались…

Сгущались сумерки. Мы различали отдаленный, едва слышный прерывистый звук приближающихся с моря вражеских самолетов. Разговоры прекращались. Звук все ближе, ближе. Вот уже вспыхнул и шарит по небу первый луч прожектора, за ним второй, третий… Десятки лучей перекрещиваются, сходятся, расходятся; все небо исполосовано голубыми мечами. Первыми начинают бить орудия расположенной возле нашего городка 75-й зенитной батареи. Прожекторные лучи нащупали врага: в их скрещении ясно виден фашистский бомбардировщик. Ожесточенно бьют зенитки, трещат пулеметы. Самолет окружают разрывы, он пытается уйти в сторону моря, но не может вырваться, лучи цепко держат его.

Поднимаются в воздух наши ястребки. Зенитки переносят огонь на другие самолеты. Начинается воздушный бой; раненый хищник пытается удрать, но меткие очереди нашего истребителя добивают его, он загорается и падает в море.

Зарево от взрывов в городе то и дело окрашивает небо. Взметнулся огненный столб где-то на Туровке, воздушная волна дошла до нас. Два-три, часто четыре часа продолжается налет, отбомбились одни самолеты — на смену им с моря летят другие.

Наконец, напряжение падает, пальба утихает, последний луч прожектора гаснет над морем. Наступает рассвет, и мы расходимся по домам.

Началась эвакуация Одессы. Однажды, приехав в город к родным, я застала у них мужа моей двоюродной сестры подполковника Василия Алексеевича Пронина — защитника Одессы, который теперь направлялся в Туапсе. Еще до войны он заболел туберкулезом. Ему предложили демобилизоваться, но он категорически отказался покинуть Военно-Морской Флот. Во время осады Одессы Пронин принимал участие в изготовлении самодельных «танков» из тракторов, за что был награжден орденом Красной Звезды. Пронин сам ездил в этих «танках» на передовую. По его словам, они производили невероятный шум и действовали скорее психически, но все же действовали, это

признал один пленный румынский офицер.

Мы говорили об осаде Одессы. Василий Алексеевич рассказывал, а я смотрела на изжелта-бледное лицо с заострившимися чертами и думала: какие силы держат этого человека на ногах и заставляют воевать? Ведь у него сейчас температура выше 38°, а он и не помышляет о постели. Мне казалось, что дни Пронина сочтены и я вижу его в последний раз, едва ли он доберется до Туапсе. В одном мои предположения оправдались: я действительно видела его в последний раз. Однако Василий Алексеевич прожил до осени 1943 года и умер в Сухуми внезапно от кровоизлияния в легкие, до последнего дня оставаясь в рядах Военно-Морского Флота, до последнего часа жизни продолжая свою работу.

Проводив Василия Алексеевича, я зашла к своим друзьям в Управление Гидрометслужбы, теперь уже не гражданской, а Черноморского флота. Меня сюда тянуло. В памяти были свежи воспоминания прошлого лета, когда мы ходили в экспедицию по такому синему, искрящемуся в лучах солнца Черному морю. У берегов Поти работали сутки без отдыха в сильную волну, и море тогда было зеленым и шумным.

Теперь управление жило совершенно иной жизнью. Когда началась война, все служащие перешли на казарменное положение. Во время налетов, пока не были вырыты щели, все прятались в архиве, в нижнем этаже здания. После призыва партии почти все служащие вступили в народное ополчение; из женщин был организован санитарный взвод, из мужчин — полурота. Санитарным взводом командовала инженер Нина Белокурова, комиссаром была Тася Абрамович — инструктор отдела кадров и секретарь комсомольской организации. После работы проводили санитарные и строевые занятия, сдали санминимум. Вместе с другими горожанами ходили, строить оборонительные сооружения вокруг города: противотанковый ров на Балаклавской дороге, окопы, огневые точки. Когда фронт приблизился к Перекопу и стали поступать раненые, многие из санитарного взвода дежурили в Морском госпитале, переносили раненых с поездов в машины, отвозившие их в госпиталь и на теплоходы.

С первого дня войны сотрудники дежурили вокруг здания на трех постах. Вооружены были сначала малокалиберными винтовками, а затем берданками; была и одна настоящая винтовка. Женщины быстро научились обращаться с оружием и тренировались в стрельбе. Правда, среди них оказалась, одна трусиха, которая боялась взять винтовку в руки и всегда просила:

«Уберите подальше патроны!» — однако со временем и она преодолела свой страх. На посту, который располагался у начала лестницы, спускавшейся к улице Ленина, для дежурного поставили геодезический зонтик, как будто этот парусиновый зонт мог защитить от осколков.

— Сугубо гражданские люди, в начале войны мы многого еще не понимали, — рассказывала Нина Белокурова, — часто были смешны, порой неосторожны. Произошел, например, такой случай. В два часа ночи, когда многие спали крепким сном на кроватях во дворе, сменялись часовые. Завскладом Иваниченко, принимая винтовку от инспектора Бермана, вскинул ее на плечо и случайно нажал курок. Раздался выстрел. Все вскочили со своих кроватей, поднялся переполох. В результате оба караульных получили по выговору от начальника управления. Но был и другой случай, когда мы получили благодарность.

Часов в одиннадцать вечера, — продолжала Нина, — звонит часовой, стоявший на посту над лестницей, и говорит: «Кто-то в темноте тихо поднимается по лестнице». Я пошла туда со своей малокалиберной винтовкой. Часовой стал спускаться вниз, а я вглядываюсь в темноту и слышу: «Руки вверх! Руки вверх!» Потом вижу: поднимается по лестнице человек в военной форме, руки у него подняты, сзади наш часовой с винтовкой на изготовку. Я повела задержанного через двор. Меня спрашивали. «В чем дело, кого поймали?» Я почему-то не сомневалась в том, что задержанный не диверсант, но все же ввела его в кабинет начальника Управления Хвиюзова. Я считала, что раз человек нарушает закон, — надо ему об этом напомнить, да и в интересах бдительности нельзя полагаться на собственные чувства.

После проверки документов выяснилось, что незнакомец в военной форме — муж одной нашей сотрудницы, вернувшийся из отпуска. Всем стало смешно, но задержанный офицер похвалил нас и сказал: «Так надо, правильно поступаете!» От Хвиюзова мы с часовым получили благодарность за бдительность.

Мы избегаем эвакуации

Немцы подошли к Перекопу. Идет эвакуация жителей из Севастополя. Но большинство отказывается уезжать, не хочет оставлять свой родной город в беде. Мой отец тоже заявляет: «Я еще на службе, школы не закрыты, и я не имею права уезжать».

Тщетно я уговаривала родных эвакуироваться. Так и не добившись их согласия, села на машину и уехала к себе в городок.

На другой день мы перебирали в складе картошку,

заготовленную для батареи на зиму. Закончив работу, я пошла к себе домой. Только вошла в комнату — зазвонил телефон. Сняла трубку. Говорил комиссар батареи.

— Завтра к восьми часам утра вы должны быть готовы к эвакуации. В обязательном порядке! Все жены начсостава эвакуируются.

Я была ошеломлена.

— Товарищ комиссар, я не могу! А мое заявление? А родные, мой муж?.. Я не хочу уезжать, вы же обещали!.. Вы же сказали, что я в резерве и меня призовут…

— В обязательном порядке, товарищ Мельник, эвакуируются все жены… Приказ свыше.

Я посмотрела на часы — шесть часов вечера… Руки опустились: что делать? Я не хочу уезжать, не хочу оставлять Севастополь! Это мой город, моя душа срослась с каждым его камнем… Звоню мужу, чувствую, что он тоже не хочет, чтобы я уезжала. Мы решили действовать тайно, как заговорщики.

— Упакуй все вещи и оставь в комнате, — говорил мне муж. — В десять часов вечера выходи на дорогу, будет идти в город пустая машина, привозившая рабочих. Я предупрежу шофера, он остановится и посадит тебя. Поезжай к родным, а я скажу, что ты удрала в город.

До войны я не раз уезжала в Ленинград, который очень любила. Я хотела совсем туда переехать, как это сделали подруги моего детства. Но тоска по родному краю гнала меня обратно, я возвращалась в Севастополь, и сердце мое всегда радостно билось, когда после короткой остановки в Симферополе, поезд трогался дальше. Здесь начинались предгорья Крыма: холмы, поросшие травой и кустарником, Альминская и Бельбекская долины с гущей фруктовых садов, окруженных стройными тополями, а слева, далеко на горизонте, синели контуры горного хребта с Чатыр-Дагом на первом плане. О, крымская потрескавшаяся от летнего зноя земля! Родная, единственная на всем свете земля. Инкерманские пещеры, Северная бухта, Корабельная сторона, знакомый вокзал с рядом тополей на перроне. Встречают родные, сердце готово выскочить из груди от радости. Сама я не знала, как дорог и близок мне Севастополь, но теперь, когда Севастополю грозит страшная беда, я это поняла и почувствовала. Сейчас, когда над ним нависли черные тучи, бросить мой город? Нет, пусть уезжают те, кто не связан с ним кровными узами! Так думала не я одна, так думал каждый севастопольский житель, которого нужно было чуть ли не на аркане тащить в порт, на корабль.

Около десяти часов я прошла мимо часового, вышла за ворота городка в нервном и напряженном состоянии.

Вскоре на дороге, ведущей с батареи, показалась машина. При приближении ко мне она остановилась, я вскочила в пустой кузов, машина тронулась и понеслась в город.

Светила луна, белые домики городка постепенно удалялись, дул ветер, по небу неслись разрозненные облака, на душе было тяжело и мрачно. Я прощалась с городком, который стал для меня за это время домом. Может быть, мне не разрешат больше сюда возвратиться.

Приехав к родным, я застала у них Наташу Хонякину, только что вернувшуюся из Ялты, где жили ее родители. Услышав от меня об эвакуации и моем бегстве, Наташа решила остаться со мной и в городок не возвращаться.

Наутро комиссар послал моего мужа и его друга старшину Трамбовецкого на розыски их жен. Борис и Трамбовецкий поисками себя не утруждали — явились прямо к нам.

— Как только раздастся звонок, — предупредил нас Борис, — бегите на лестницу черного хода. За тобой, Жека, заедет машина, чтобы отвезти на корабль. А я скажу тогда, что ты сбежала из дому в неизвестном направлении.

Сказано — сделано. Звонок! Мы с Наташей бросились к черному ходу и выскочили на лестницу, ведущую во двор.

Вскоре Борис позвал нас в комнаты: опасность миновала, все было разыграно как по нотам. Правда, произошел небольшой инцидент с женой старшины Славяковского: услышав, что Мельник сбежала, она взбунтовалась, соскочила с машины и заявила, что останется в Севастополе и никуда не поедет.

Сопровождавший машину дивизионный комиссар не разрешил Славяковской взять с машины свои вещи и сказал, что отправит их на Кавказ без нее. Славяковская села в машну, доехала до пристани, но все же там в суматохе удрала, захватив свои вещи.

В «заговор мужей» включился и письмоносец. Ежедневно бывая в городе, он информировал нас о положении на батарее: очень ли зол комиссар и есть ли надежда на возвращение в городок.

Каждый день мы ждали письмоносца с лихорадочным нетерпением. На третий день Борис сообщил запиской, что мы можем возвратиться. Это известие нас очень обрадовало.

Мы сейчас же поехали. Но, сойдя с машины, нерешительно зашагали по двору: как-то встретят? А вдруг схватят, посадят в машину и отправят на корабль? Во дворе наткнулись на

комиссара Сангурьяна, он был рассержен и крепко нас отругал. Наташе попало меньше: она уверяла, будто только что вернулась из Ялты.

А мне — за мое своеволие — досталось как следует. Но в общем все обошлось благополучно.

Итак, теперь в городке осталось всего три жены командиров — я, Наташа и Аня, жена старшины Трамбовецкого.

Начало осады и первый штурм

Перекопские позиции были прорваны. Враг приближался к городу! Пятьдесят первая армия отступала на Керчь, а Приморская под командованием генерала Петрова шла к Севастополю через Ялту, Южным берегом Крыма. Немцы преследовали Приморскую армию, но их основные силы шли на Севастополь с северо-западной стороны. В городе в это время находился очень маленький гарнизон.

Севастополь был морской крепостью. Береговые батареи защищали его с моря, но укреплений, прикрывавших город с суши, не было. Теперь спешно заканчивалось сооружение оборонительных линий вокруг города с бетонированными дотами, дзотами, окопами, блиндажами, противотанковыми рвами. Устанавливали пушки и пулеметы. Почти все население города, кроме больных, с рассвета и до темноты строило укрепления. Людей палило солнце, томила жажда. Часто встречался скалистый грунт, его подрывали, а то и просто долбили кирками.

Пыталась работать на укреплениях и приятельница моей мамы — Екатерина Дмитриевна Влайкова, женщина пожилая, с больным сердцем. На второй день работы она вся опухла и слегла в постель.

На защиту города пошли моряки с кораблей, из училища береговой обороны, морская пехота, прибывшая из Одессы, ополченцы, истребительный батальон.

Вскоре береговая артиллерия нанесла первые удары по вражеской армии, подкатывавшейся к Севастополю. До подхода частей Приморской армии грозные пушки береговой обороны своим огнем сумели сдержать гитлеровцев. Кто во время обороны не слышал о старшем лейтенанте Заике, капитане Александере, капитане Матушенко, капитане Драпушко, о других командирах знаменитых береговых морских батарей, остановивших первый натиск немецко-фашистских войск?

От уцелевших бойцов береговой батареи старшего лейтенанта Заики, находившейся за Качей, на отдаленных подступах к

Севастополю, мы услышали рассказ о первом героическом подвиге артиллеристов.

Тридцатого октября батарейцы увидели вдали войска. Пехота, танки, автомашины двигались по степи, по дорогам и без дорог, к Севастополю. Это напоминало нашествие Мамая.

По приказу Заики батарея открыла огонь из всех своих орудий. Немцы вынуждены были остановиться, осадить и штурмовать батарею. Неравный бой продолжался трое суток. А трехсуточная задержка вражеских войск имела для Севастополя огромное значение.

На батарее дрались все, начиная от командира и комиссара и кончая коком и женами моряков. Тральщику, подошедшему под ураганным огнем к обрывистому берегу, на котором стояла батарея, удалось спасти, тридцать человек. Отход этих людей прикрывали старший лейтенант Заика, стрелявший из пулемета, и комиссар Муллер, ведший огонь из пушки.

Наташа была дружна с женой комиссара Муллера и тяжело переживала гибель ее мужа. Я никого не знала с батареи Заики, но геройская смерть батарейцев камнем легла на сердце. В то же время мы восхищались этими храбрецами, их смелыми женами. Нам хотелось верить, что и мы, если придется, поступим так же, как и они.

С этого дня началась оборона Севастополя.

1 ноября по дальним подступам к Севастополю, по району Бахчисарая, где скоплялись войска противника, начала стрелять 30-я батарея капитана Александера. Эта тяжелая береговая батарея находилась на Мекензиевах горах, над Бельбекской долиной, и была глубоко укрыта под землей, построена по последнему слову техники. Таких батарей в Севастополе две: 30-я, прозванная немцами «Фортом № 1 Максима Горького», и 35-я на мысе Херсонес, прозванная ими «Фортом № 2 Максима Горького».

2 ноября открыла огонь 10-я батарея, которой командовал капитан Михаил Владимирович Матушенко, бывший ученик моего отца. Раньше Матушенко служил на нашей батарее, и, встретив меня в городке, он рассказал о бое 2 ноября:

— Это было первое наше боевое крещение. Немцы подошли к Каче, к деревням Эфендикой и Аранчи.[1] 3-го ноября в четвертом часу я увидел колонну войск, движушихся со стороны Качи. Точнее, это была не колонна, а поток войск, заливший всю степь, сколько охватывал глаз. Я знал, что с Перекопа отходит Приморская армия, и сразу не мог определить, чьи же войска идут. Но по большому количеству танков и обозным фургонам, которых у нас нет, я вывел заключение, что передо мной

фашисты, и приказал открыть огонь.

Сделали первый выстрел из одной пушки — недолет. Скорректировали огонь. Второй снаряд попал в самую гущу вражеских войск, после чего батарея стреляла залпами из всех четырех орудий. Немцы несли огромные потери, они были в степи, укрыться от наших снарядов им негде. Но нелегко досталось и батарейцам. У нас восьмидюймовые орудия, приспособленные для стрельбы по морским целям. Когда же пришлось повернуть орудия и стрелять по наземным целям, то все расчеты пушек, кроме первой, опалялись огнем от выстрелов соседних орудий. У артиллеристов были сожжены ресницы, брови и волосы, они страдали от нестерпимого жара.

По переносу огня на более дальнее расстояние я понял, что колонны отступают. Вскоре противник повернул обратно и скрылся с глаз. Бой продолжался около четырех часов.

— Не останови мы немцев, сумей они прорваться к Северной стороне — это было бы катастрофой! — заключил свой рассказ Матушенко.

Береговые морские батареи и части морской пехоты задержали наступавшие немецкие войска и преградили путь к Севастополю. Четырехдневный штурм с хода не принес врагу успеха, немцам не удалось взять город. А 6–7 ноября к Севастополю прорвались основные части Приморской армии и заняли оборонительные Рубежи. 7 ноября начала стрелять с мыса Херсонес наша самая отдаленная 35-я морская береговая батарея капитана Лещенко. Открыла огонь и 19-я батарея капитана Драпушко, стоявшая над Балаклавой на высокой горе. С 1915 года эта батарея охраняла с моря вход в Балаклавскую бухту, теперь она стреляла по фашистским войскам, просочившимся в горные ущелья Крыма. Стреляли и другие морские и полевые батареи, корабли и доты. Гром орудийной пальбы потрясал Севастополь.

Противник ответил ожесточенной беспорядочной бомбежкой города с воздуха. Вражеские самолеты сбрасывали бомбы весом в одну тонну и морские мины.

В эти дни я часто ездила в город. Не успеешь сойти с машины, как попадаешь в бомбежку и забегаешь в первое попавшееся убежище. Только войдешь в квартиру — опять тревожно ревет морзаводской гудок и по радио сообщают: «Внимание, внимание! Объявлена воздушная тревога».

Во время налетов, когда начинали палить все зенитные орудия и пулеметы Севастополя, был настоящий ад. Больше всего на нервы действовал сухой рассыпчатый треск пулеметов и перекрывавший все звуки канонады резкий, молниеносно усиливающийся свист бомб. Не успеет один самолет сбросить

свой груз, как на смену ему является другой…

Так продолжается три-четыре часа. Наконец утихает. Слышатся продолжительные гудки морзавода. По радио сообщают: «Отбой воздушной тревоги!». Моментально забываем о только что перенесенном страхе смерти, не думаем о том, что через полчаса, через пять минут может все начаться снова. Садимся пить чай или ужинать, оживленно разговариваем, конечно, главная тема — война и события на фронте. Ложимся спать как ни в чем не бывало, но вот среди ночи опять тревога…

Большой дом, в котором жили мои родные, стоял на откосе горы, двухэтажный фасад его выходил на улицу Володарского. Со двора по Большой Морской улице (тогда она называлась улицей К. Маркса) дом был трехэтажным. Квартира наша находилась на третьем этаже. Во время бомбежек дом трясло и шатало.

Я уговаривала родных переехать ко мне в городок. Там было спокойней, по крайней мере городок не бомбили. Но отец и мать не соглашались: как же покинуть свое гнездо?

Десятого ноября я снова приехала в город с твердым намерением убедить родных переехать ко мне. Отца уже не связывала работа: школы закрылись.

После перенесенного перед войной крупозного воспаления легких отец сильно постарел, его здоровье пошатнулось. Болезнь отразилась, главным образом, на ногах: отец не мог теперь быстро и много ходить. А ведь ему при бомбежках надо было поспешно сойти по лестнице с третьего этажа и перейти двор, чтобы попасть в бомбоубежище. В такой обстановке плохо приходилось тем, кто имел слабое сердце и больные ноги!

Наконец, мне удалось увезти к себе родителей и маленького Женю. Они заняли мою комнату, а я ходила спать к Наташе. С этих пор началась наша совместная жизнь в городке.

Батарейцы уходят на передовую

Наступил декабрь. Немцы стягивали силы, готовясь ко второму штурму Севастополя. Зима началась рано и была для Крыма суровой. Морозы превышали двадцать градусов, выли метели.

Мы с Наташей продолжали часто ездить на свидания к своим мужьям, но теперь уже не в лагерь: голые деревья, сугробы снега и завывание норд-оста не располагали к свиданиям на садовых скамейках. Мы встречались на камбузе батареи, находившемся в отдалении от нее. К нам часто присоединялась и Аня Трамбовецкая. Обычно наши мужья назначали свидания в час обеда. Кок Рыбальченко предоставлял нам свою комнату и сам

обедал с нами. Обедали с шампанским. В инкерманских штольнях были огромные запасы шампанского, которого хватило на всю осаду.

Там же, на камбузе батареи, в большом обеденном зале устраивались вечера самодеятельности. Старший лейтенант Ротенберг играл на пианино, декламировал. Всегда веселый лейтенант Рязаев, завзятый танцор, отбивал мелкую дробь чечетки. Мой муж — страстный физкультурник, завоевавший перед войной на Всесоюзных соревнованиях по французской борьбе четвертое место, чемпион Черноморского флота и Крыма — выступал с акробатическими номерами. Участвовали в вечерах летчики авиачасти, краснофлотцы. Часто посещали нас бригады артистов — крымских, Черноморского флота или даже московских, приезжавших в Севастополь выступать перед защитниками крепости. Нередко воздушные налеты нарушали наше веселье, вечер прерывался, но ненадолго. Мы уже привыкли к пальбе, как будто всю жизнь прожили под грохот орудий.

Однажды во время налета на батарее объявили боевую тревогу, вечер прекратили, автобус мчал нас в городок под небом, исполосованным прожекторами, под звуки жесточайшей канонады. Столб пламени взметался над землей, раздавался оглушительный взрыв, небо, как молнией, освещалось синим светом, стекла в окнах звенели и напрягались, казалось, вот-вот разлетятся на мелкие кусочки, открывались двери, вздрагивал дом, по небу с грохотом проносился тяжелый снаряд. Мы ощущали гордость: стреляет наша батарея!

17-го декабря начался второй штурм Севастополя. Вечером выхожу от Наташи, чтобы идти к своим ужинать. Как всегда, останавливаюсь во дворе и смотрю в сторону фронта. Мощно гремит артиллерийская канонада. Мой взгляд задерживается на Мекензиевых горах. По ярким вспышкам, пробивающимся сквозь снежную метель, узнаю 30-ю батарею капитана Александера, несокрушимый бастион, о который каждый раз разбиваются волны немецкого наступления. По всему фронту, полукольцом, беспрерывные вспышки огня. Стреляет и наша, самая дальняя, батарея. Немцы бешено рвутся к Севастополю, атака сменяет атаку. Им надоело мерзнуть в блиндажах и окопах, их бесит этот маленький город, ставший у них на пути, как неприступная скала. Их манит Кавказ, им нужна нефть, скорей бы добраться до нее, а тут этот Севастополь — преграда на пути гитлеровской армии. Через него не перешагнешь, нельзя оставить его в тылу. Во что бы то ни стало стремится враг сломить безумную храбрость и силу тех, кто осмелился остановить его продвижение.

Целые сутки стреляла наша батарея, а потом почему-то замолчала.

На другой день утром приезжает в городок с батареи политрук Писанка, привозит много веток вечнозеленых растений и предлагает сплести несколько венков. Для кого же эти венки? От нас все держат в тайне. Мы с Наташей звоним мужьям. Они живы, здоровы, но не говорят, что случилось — молчат.

Расстроенные и мрачные, плетем мы венки. Сердимся на Писанку: почему молчит? Разве мы не понимаем, что кто-то погиб, не для живых же мы плетем венки! Дмитрий Григорьевич Воронцов (зав. подсобным хозяйством) видел, как вчера около пяти часов вечера, когда батарея стреляла, из-под земли вырвался столб пламени, огонь растекся по всей горе, а потом повалил дым.

Вскоре мы обо всем узнали. Во второй башне, после суток беспрерывной стрельбы, при закладке в казенную часть трехпудового заряда порох воспламенился прежде, чем успели закрыть замок орудия. Произошел взрыв. Вторая башня горела, и там под землей, как в каменной печи, горели тридцать четыре человека, горел и товарищ моего мужа старшина 2-й башни Славяковский. Муж надел противогаз, бросился в горящую башню, но не мог проникнуть внутрь. Хотел броситься вторично, но комиссар его остановил и запретил бессмысленно рисковать своей жизнью.

При взрыве газами выбросило на поверхность командовавшего в тот день башней лейтенанта Першина, который приехал с выносного пункта на батарею на двухдневный отдых. Першин был цел и невредим — ни ожога, ни ранения. Едва слышно билось его сердце. Врачи безуспешно старались вернуть лейтенанта к жизни. Через четыре часа, не приходя в сознание, он умер.

Батарейцы похоронили своих погибших товарищей в братских могилах возле лагеря.

Девятнадцатого декабря мы с Наташей решили лечь пораньше спать. Улеглись в восемь часов вечера. Вдруг в десять — телефонный звонок. Подошла к аппарату Наташа. Говорил Хонякин:

— Этой ночью нас отправляют на передовую, я заеду к тебе попрощаться, Мельник сойдет с машины, что бы проститься с женой.

Мы поражены. Почему на передовую, а как же с батареей? Звоню мужу.

— Борис, вы уходите на фронт, почему ты мне не позвонил?

— Я никак не мог решиться, не знал, как тебе об этом

сказать… Думал, что ты будешь очень волноваться.

— Что ж, мой дорогой, ничего не поделаешь — война. Я буду ждать тебя у ворот.

Приехал муж Наташи — суровый, озабоченный. Я вышла, чтобы не мешать их прощанию.

Долго в молчании бродили мы с Аней по дороге у ворот. Говорить не хотелось, да и не о чем было. Наконец, в три часа ночи, с машины спрыгнули Борис и Трамбовецкий. Мы пошли домой. Мама и папа не спали, поджидая Бориса, они его очень любили. Маленького Женю разбудили… Борис сел в кресло, улыбнулся:

— Иду на передовую, били немцев из пушек, теперь будем колоть штыками.

Я никогда не забуду его таким, каким он был в эту ночь. Лицо одухотворенное, высокую фигуру плотно облегает черная флотская шинель. На шинели горят надраенные пуговицы. Автомат, на поясе патронташ и гранаты, крест-накрест ленты с патронами, в кобуре наган. Я видела в нем олицетворение воина, идущего защищать свою Родину.

Борис встал:

— Ну, прощайте — пора!

Поцеловался с отцом, матерью и сыном, вскинул на плечо автомат, надел на голову каску. Мы пошли в казарму, в комнату дежурного. Там сидела Аня со своим мужем. Разговор не клеился, в голове была пустота, а душа сжалась и застыла. «Странно, — думала я, — вот мы расстаемся, быть может, навсегда, а слов нет, и сказать друг другу как будто нечего». А было это потому, что все слова в такую минуту оказались бы пустыми, ненужными. Мы вышли на крыльцо. Одна за другой проходили машины. Но вот и последняя. Крепкое объятие — и мы расстались. Я, Наташа и Аня смотрели вслед уходящей машине. Прошло несколько секунд, и она скрылась в темноте ночи.

Моряки ушли на передовую. Но можно было подумать, что они отправились на парад: оделись во все новое, надраили эмблемы и пуговицы до солнечного блеска.

Медленно, молча пошли мы домой. Наташа упала на кровать и заплакала, я хотела по примеру Наташи заплакать, но слез не было. «Рано еще плакать», — подумала я.

Причина ухода батарейцев на передовую была ясна.

В дни второго штурма от беспрерывной стрельбы стволы орудий полностью износились, вторая башня взорвалась, таким образом, батарея вышла из строя. Из личного состава сформировали батальон морской пехоты и отправили его на

передовую в подкрепление сражавшимся там войскам.

Тяжелые вести

Внешне жизнь в городке батареи протекала обычным порядком, как будто ничего не случилось. Мы все так же на рассвете при первых выстрелах зениток быстро вставали с постелей, одевались, выходили во двор. Потом, когда утихала пальба, я шла завтракать к своим, убирала комнату, жарко топила печь. Если была работа для батареи, — исполняли ее. Главным образом работали в складах баталерки: перебирали овощи, отбирали картофель и лук для весенней посадки, шили спецодежду, чинили обмундирование. В свободное от работы время занимались вышиванием или читали книги.

Теперь мы ждали вестей с фронта и как бы насторожились в молчании. Для каждого дорог был не только муж, зять или друг, но и каждый боец. Ничто не роднит так людей, как защита Родины. Грустно было теперь жить рядом с замолкшей и опустевшей батареей.

И вот, наконец, дошла очередь и до нас: гитлеровцы сбросили на городок семьдесят маленьких пятикилограммовых бомб, но ни одна не попала в цель, все легли вокруг городка. Напуганные этой первой бомбежкой, мы попросили комиссара прислать нам машину и отвезти в пещеру возле Камышевой бухты.

У проселочной дороги, ведущей от Камышевой бухты к Казачьей, перед самой войной расширили пещеру в скале, кажется, хотели там сделать конюшню. После первых бомбежек Севастополя, когда на мысок у Казачьей бухты, недалеко от домика рыбака батареи, упала морская мина и разрушила домик, рыбак со своим многочисленным семейством, состоявшим из жены и семерых детей, переселился в Камышевую пещеру. Вскоре к нему присоединились и несколько особенно нервных жителей городка. Сейчас потолок укрепили балками, селали нары. Над головой метров пять земли — убежите довольно солидное и уединенное. Сюда мы и переехали. В пещере было тесно, сыро, моя мама протестовала против переселения и убеждала нас вернуться в городок.

Днем появился у пещеры приехавший с фронта старшина Сорокин и вызвал свою жену. Они отошли от входа и о чем-то тихо говорили. Мы заволновались: ведь это первый вестник с фронта! С трудом выдержали для приличия минут десять, чтобы не помешать встрече, но больше ждать не было сил. Я и Наташа подбежали к Сорокину и стали его просить:

— Скажите, живы ли наши мужья, где они и что вы знаете о

них?

Но Сорокин как-то странно отмалчивался и говорил:

— Я ничего не знаю.

Чувствуя, что он многое знает, но не хочет говорить, мы медленно от него отошли. Еще тяжелее стало на душе.

Вскоре Сорокин уехал. Вошла в пещеру его жена, упала на нары и заплакала. Почему она плачет и что ей рассказал муж? Но она твердила одно:

— Я ничего не знаю, ничего он не говорил.

Не добившись от нее толку, мы уселись на нары и притихли. Но сердце Наташи почувствовало недоброе, уткнувшись в подушку, она горько заплакала. Я слушала ее рыдания и думала о том, как страшно ничего не знать. Может быть, Борис мой убит…

Мрачным был этот день в сырой Камышевой пещере, мрачным был первый вестник с фронта, мрачными были мысли и лица у всех.

К вечеру по настоянию моей мамы мы решили вернуться в городок. Пошли пешком, благо расстояние было не большое — три-четыре километра.

Начались тяжелые дни неизвестности. Мы как будто были окружены заговором молчания: вокруг нас говорили, но при нашем приближении разговор умолкал. Мы обращались с вопросами ко всем, кто приезжал с передовой, но нам отвечали одно и тоже: «Ничего не знаем, ничего не слышали». Наконец, жене заведующего магазином городка Шуре Шевкет удалось подслушать чей-то разговор, который она передала мне:

— Мельник серьезно ранен в руку, Трамбовецкий тоже ранен, а Хонякин убит. Только не говори Наташе!

Утром я, Наташа и Шура пошли за чем-то в магазин. Во дворе увидели нашу машину, приехавшую с фронта. Шофер позвал Наташу. Разговор был не долгим. Наташа вернулась, упала в наши объятия и зарыдала.

— Хонякин убит!

Мы повели ее домой.

— Но, может быть, это неправда, может быть, он только тяжело ранен?

Нет, автоматчик прострелил ему голову несколькими пулями. Шофер говорит: «Не надейтесь напрасно, я сам видел его труп».

Наташа упала на постель и рыдала, рыдала без конца.

Я узнала, что приехал врач с фронта, позвонила ему по телефону.

— Кажется, Мельник ранен, но ничего определенного сказать не могу, еду в Инкерманский госпиталь, там узнаю, — сообщил мне врач.

Поездка в Инкерманский госпиталь

На другой день меня и Фросю — жену краснофлотца, доярку с подсобного хозяйства — согласился подвезти шофер машины, отправлявшейся в инкерманские штольни. Я попросила у заведующего подсобным хозяйством бидон молока для раненых, купила в магазине папирос и фруктовых консервов, кухарка с подсобного хозяйства нажарила пирожков, и мы отправились в путь.

Наташа и Аня просили меня найти их мужей хотя бы тяжело раненными, лишь бы живыми. Я обещала просмотреть все списки раненых, поступивших с двадцатого числа.

Был изрядный мороз, мы с Фросей залезли в кузов машины и укутались в полушубки. Проехали город, вокзал, взобрались на Сапун-гору. Вот он, фронт, совсем близко, дорога здесь уже небезопасна, вернее, более опасна, так как в осажденном Севастополе безопасных Дорог нет. Три дня тому назад на Сапун-горе трагически погибла группа наших командиров, ехавших с батареи на передовую: осколками снаряда, разорвавшегося в нескольких шагах от машины, разбило кузов и убило всех кроме шофера.

Спускаемся в ущелье к инкерманским штольням. На Мекензиевых горах то в одном, то в другом месте поднимаются столбы дыма от взрывов. Здесь передовая.

И вот они, Инкерманские каменоломни, знакомые мне с детства. Здесь выпиливали знаменитый белый, как сахар, камень. Отец когда-то рассказывал мне, что Константинополь построен из инкерманского камня. На противоположной стороне долины на высокой скале виднеются остатки древней крепостной стены и башни. В долине, вдоль Черной речки, в мирное время зеленела живописная роща — излюбленное место воскресных гуляний моряков. Теперь здесь руины, исковерканная снарядами и бомбами земля, поломанные деревья. Снуют машины, беспрерывно подвозящие раненых.

Наш грузовик остановился у штолен, где находился госпиталь. Мы входим в вестибюль, но нас не пускают дальше: неприемные часы. Пришлось искать главного врача, чтобы получить разрешение. Пока мы искали врача, нас окружили ходячие раненые — краснофлотцы с нашей батареи. Мы обрадовались им так же, как и они нам. И печальные и радостные вести они сообщили. Хонякин убит, это говорил каждый. А Трамбовецкий жив, он тяжело ранен осколком мины в пах и ногу, лежит здесь. Фросин муж тяжело ранен в плечо и грудь, задето

легкое. А Мельник? Никто ничего не может сказать о Мельнике — он, кажется, был ранен в руку, его видели с повязкой, но где он и что с ним — неизвестно. Наконец, нам дали пропуск, и мы вошли в палаты. Огромные залы были сплошь уставлены койками, электрический свет освещал лица с лихорадочным румянцем или смертельно бледные, искаженные болью и мукой. Мы тихо шли между койками, блестевшие от жара глаза раненых провожали нас. Слышно было, как насосы нагнетали воздух в подземелье.

В третьей палате лежал Трамбовецкий, он очень обрадовался, увидев меня.

— А где же Аня?

Я присела к нему на кровать.

— Я приехала одна, никто из нас ничего не знал. Теперь, конечно, я расскажу Ане, что вы здесь, к она сейчас же к вам приедет, а вы напишите ей письмо. Она будет рада, когда узнает, что вы живы! Ну, а где Борис? Где же мой Борис?

— Не знаю, ничего не знаю… Он был со мной рядом, а потом… Не знаю!

Вид у Трамбовецкого хороший, я решила, что он легко ранен. Он просил, чтобы его забрали в батарейную санчасть. Я обещала передать его просьбу кому следует. Слева от Трамбовецкого лежал двенадцатилетний мальчик, доброволец, пулеметчик. Он очень страдал. Справа — раненный в живот моряк, бледный, с огромными глубоко запавшими глазами. Достаточно было одного взгляда на него, и становилось понятным: не дни, а часы человека сочтены.

Мы пошли дальше и нашли Фросиного мужа. В последних залах было особенно парно и душно, здесь вентиляция недостаточно очищала воздух. Фросин муж очень плохо себя чувствовал, был бледен, тяжело дышал. Посидев немного возле него, я пошла дальше. Рядом на койках лежали контуженный политрук Коротков и старшина Алпатов. Все левое плечо Алпатова разворочено осколком мины. Он полусидел, опершись спиной на подушку, смуглое лицо воспалено, черные глаза лихорадочно блестят, ему трудно дышать. Но меня поразила улыбка, та же мягкая и скромная улыбка, всегда озарявшая его лицо, когда кто-нибудь с ним разговаривал. Раньше я как-то не обращала внимания на Алпатова: обыкновенный человек, тихий и скромный. Но теперь он меня поразил: ни жалобы, ни стона, — и эта улыбка!

Когда я спросила, как он себя чувствует, Алпатов, стараясь скрыть боль, еще мягче улыбнулся и сказал:

— Ничего, не так уж плохо.

«Вот он — герой, — подумала я, — этот маленький смуглый и

тихий моряк с доброй улыбкой и сильным духом — защитник Севастополя. Их много таких, и потому немцы бессильны в своих бешеных атаках».

Часто потом я вспоминала Алпатова таким, каким видела его в Инкерманском госпитале, и думала: он должен выжить, сильные духом зачастую выигрывают бой со смертью. Я не ошиблась: Алпатов поправился и вернулся в строй.

Взяв у Трамбовецкого письмо к Ане, мы распрощались, пообещав приехать с первой же машиной, которая будет идти сюда.

Выйдя в вестибюль, я попросила списки раненых, поступивших после двадцатого числа. Перелистывала страницу за страницей, а окружавшие меня наши легко раненные бойцы говорили:

— Бесполезно, не стоит смотреть: Хонякин убит наповал, мы к нему подходили, мы его смотрели и надвинули ему фуражку на лоб.

Я понимала, что бесполезно, но отвечала:

— Я дала слово и должна посмотреть. Мало ли какие бывают случаи.

Увы! В списках раненых я Хонякина не нашла.

Я благополучно вернулась в городок и едва успела сойти с машины и войти во двор, как навстречу мне выбежала Аня. Размахивая издали письмом, я радостно кричала:

— Нашла!.. Лежит раненый! Вот от него письмо, Аня схватила письмо и бросилась мне на шею:

— Спасибо, спасибо, радостную весть вы мне привезли!

Она несколько раз перечитала письмо, руки ее дрожали, на ресницах повисли две слезинки, но лицо было светлое и счастливое. Ответив на все Анины вопросы и радуясь за нее, я пошла к Наташе. Мрачное настроение охватило меня сейчас же, как только я вошла в комнату. Наташа одетая, зарывшись в одеяла, все так же лежала в постели и плакала.

— Наташа, надежды нет, Хонякин убит, это точно, совершенно точно. Надо взять себя в руки и пережить горе…

Тяжелыми были эти дни. В комнате царило молчание, иногда прерываемое рыданиями Наташи. Я сидела тихо, как мышь, забившись в угол дивана и подперев рукой щеку. Мне очень было жаль Наташу, безвременно погибшего Хонякина, их молодую, разбитую жизнь. Думала и о Борисе. Никто ничего не знает, может быть, он так же погиб, как и Хонякин? Но сердце говорило: Борис жив! Жив!

Я продолжала ездить в Инкерманский госпиталь, то с Аней,

то с Фросей, беседовала с ранеными, кое-что им привозила. Бедный моряк, раненный в живот, умер на другое утро, после моего первого приезда. Трамбовецкому вдруг стало хуже, рана начала нагнаиваться, он пожелтел и сильно страдал. Очень плох был Фросин муж, Алпатов всё так же мягко улыбался, тяжело дыша. Короткову было лучше.

Однажды я не успела еще войти в вестибюль, как меня окружили наши раненые. Они наперебой говорили:

— Мельник жив, он командует ротой!.. Здесь лежит легко раненный наш политрук Труфанов, который был в его роте.

Несколько человек закричали:

— Позовите Труфанова! Приведите Труфанова!

И вот я слушаю его рассказ.

— Наш батальон пошел в атаку с ходу. Немецкие снайперы перебили или ранили многих командиров потому, что мы шли во весь рост и сверкали начищенными медными пуговицами, золотыми эмблемами и нашивками. Наши черные шинели резко выделялись на белом снегу. Тогда и был убит Хонякин. Ураганный пулеметный огонь заставил нас залечь и поползти по-пластунски. Ползли мы недолго, вскоре вскочили и бросились в штыковую атаку. Мы налетели на немцев, как смерч, смяли и далеко отогнали. В горах, покрытых лесом, в незнакомой для нас местности, где-то возле Кучук-Кермена, увлеченные атакой, многие потеряли ориентировку. Тогда Мельник собрал остатки батальона, всего около шестидесяти человек, взял на себя командование и, как он выразился, чутьем вывел нас в расположение частей Приморской армии… С десятью бойцами он занял передовой окоп, я был все время рядом с ним. Мы отбивали немецкие атаки, пока не кончились патроны. Из окопа Мельник ушел последним. Я оборачивался и видел: он шел медленно во весь рост, ему не хотелось оставлять завоеванные позиции, но батальон слишком вырвался вперед. Сейчас Мельника с остатками батальона взяли в Приморскую армию, назначили командиром роты. Он здорово дерется, сам строчит из пулемета и кричит: «За Родину! За Севастополь! А это вам за жену, а это за сына!» — подпускает немцев к самым окопам и забрасывает гранатами. Он жив, здоров, невредим, и чувствует себя прекрасно…

Радость дома была необыкновенная! Позже мне позвонил комиссар и сказал:

— Скоро Мельник будет здесь, мы его отзываем, так как надо восстановить батарею. В Приморской его представили к званию старшего лейтенанта и награждению орденом Красной Звезды. Но все же им придется с ним расстаться.

В газете «Красный черноморец» появилась статья, в которой говорилось о моем муже; в одной из них писали: «Физкультурник-борец старшина Мельник в штыковой атаке убил двадцать немцев». Борис был первым из награжденных с нашей батареи.

Привезли в батарейную санчасть контуженного старшего лейтенанта Афанасенко, одного из близких товарищей Хонякина. Наташа сидела возле него и слушала, как он, с трудом ворочая языком, рассказывал ей о гибели Хонякина. Наташа плакала, но теперь она уже окончательно убедилась в том, что муж убит, и первая ошеломляющая острота горя стала смягчаться.

Как ласточки, которых тянет к родному гнезду, стали к нам приезжать оставшиеся в живых командиры и бойцы. То появится врач на своей машине скорой помощи, то старшина Сорокин, то шофер или кок. Мы с Наташей расспрашивали обо всех батарейцах. Многие были убиты, многие ранены, а о некоторых никто ничего не знал… Убит наповал снайперской пулей старший лейтенант Широков. Бедный Коля Широков, совсем мальчик! Он приехал к нам на батарею из Ленинградского военного училища. Ему с его знаниями, умом и молодостью только бы жить! И странно и непонятно, что его больше нет и не будет никогда.

Спрашивали мы с Наташей и о веселом танцоре лейтенанте Рязаеве, близком товарище Хонякина. Никто ничего о нем не знал, но все отвечали: «О Рязаеве не беспокойтесь, где-нибудь есть, он в огне не сгорит и в воде не потонет». И действительно, в один прекрасный день с шумом ввалился в комнату Рязаев. Наташа, увидев его, обрадовалась и заплакала.

Он вынул из кармана письмо и протянул мне.

— На, от Бориса.

Я лихорадочно схватила письмо, хотела его вскрыть, но… рука моя застыла: на конверте было написано почерком Бориса: «Петру Трамбовецкому».

— Послушай, Коля, ты ошибся, это письмо Трамбовецкому, а где мое?

— Как Трамбовецкому? Это тебе, другого у меня нет. Его мне дал Борис и сказал, что тебе. Я вспыхнула:

— Но тут ясно написано: «Петру Трамбовецкому».

Колино смущение продолжалось не больше одной секунды.

— Да ты вскрой и прочти, он сказал, что тебе.

— Да разве ты ослеп и не видишь, что не мне? Какое я имею право вскрывать чужие письма? Значит, товарищ для него на первом месте и дороже жены! Я передам это письмо Ане, пусть она отвезет Трамбовецкому.

Но тут Коля пошел на меня в атаку:

— Да ты знаешь, как он писал это письмо? В землянке, вокруг

стрельба идет… Кроме того, он думал, что я заеду в Инкерманский госпиталь и не попаду сюда.

— Да, но все же письмо Трамбовецкому, а не мне.

Я крутила в руках письмо, оно жгло сердце, оскорбляло. А Рязаев продолжал меня утешать:

— Борис тебе обязательно напишет и, наверно, уже написал, да не с кем передать. Пиши письмо, я ему отвезу.

Но что писать? Высказать свою обиду? Ни за что! Борис кипит в этом страшном котле смерти, он защищает Севастополь, а я своими мелкими обидами буду ранить его сердце, расстраивать нервы! Надо написать так, чтобы ни одним словом, ни одной мыслью не вывести его из равновесия. Долго я подбирала слова и в заключение получилось короткое и нежное письмо.

Письмо Бориса я передала Ане.

На другой день утром Аня поехала в Инкерман. Вечером она возвратилась и протянула мне тот же конверт.

— Это вам, а не Пете. Борис думал, что Рязаев поедет не на батарею, а в Инкерманский госпиталь, ему сказали, что вы туда ездите, и он просил Трамбовецкого передать вам письмо.

Ну да, все просто и понятно, разве могло быть иначе? Как стало легко на душе!

Люди долга

Капитан Матушенко и товарищ моего мужа орудийный мастер старшина Евгений Красников рассказывали мне о событиях на 10-й и 30-й батареях.

До второго штурма капитан Матушенко, командир 10-й батареи, противника больше не видел. Перед началом второго штурма немцы решили покончить с его батареей, запиравшей дорогу на Северную сторону. Подтянув тяжелые орудия к Каче, немцы 15 декабря обрушили ураганный огонь на батарею Матушенко.

В 12 часов дня начался пожар: горели маскировка, заряды, боезапас. Огонь немецких орудий утих: противник решил, что с батареей покончено.

Первыми выскочили из укрытия тушить пожар старшина Васильченко и два краснофлотца. Они кинулись прямо в огонь; одежда на них загорелась, ресницы и волосы были опалены. С огнем боролось тридцать человек во главе с капитаном Матушенко и комиссаром Черноусовым. И в это время немцы снова начали обстрел; снаряд попал в гущу людей, было убито пять человек, в том числе и комиссар Черноусое, двадцать четыре ранено и лишь один капитан Матушенко отделался легкими

царапинами. Когда подошли к смертельно раненному сержанту Данькову, чтобы оказать ему помощь, он с трудом приподнялся на локтях и спросил: — Пушку спасли?

И, едва услышав ответ: «Спасли, спасли!» — упал замертво.

10-я батарея была открытой, склад боеприпасов находился в стороне от пушек, снаряды подавались вагонетками по рельсам, проложенным в ходах сообщения. От бомбежек и артобстрела дорога эта все время выходила из строя, что создавало задержку в подаче боеприпасов. Капитан Матушенко приказал создать у пушек некоторый запас снарядов. С одной стороны, это давало возможность стрелять бесперебойно, но с другой — было опасно. Вот почему пожар на батарее принял такие угрожающие размеры.

Батарея оказалась выведенной из строя.

Для ремонта поврежденных орудий из Севастополя через Мекензиевы горы срочно выехал на грузовой машине орудийный мастер главстаршина Евгений Красников.

Красников был опытным специалистом. Еще перед началом осады он устанавливал пушки в дотах и дзотах, а теперь беспрерывно разъезжал по линии нашей обороны, ремонтировал и восстанавливал орудия. Зачастую ему приходилось пробираться к объектам и работать там под пулями и снарядами, во время бомбежек. В Севастополе Красников постоянно ходил по территории Морзавода, разных складов и мастерских, перебирал груды железного лома в поисках деталей, пригодных для ремонта пушек. Ведь снабжать Севастополь было трудно, все в основном доставлялось по морю кораблями. Запчастей же требовалось много: пушки приходилось ремонтировать ежедневно.

Приехав на 10-ю батарею с автогенным аппаратом и запасными частями, Красников принялся за ремонт. Вскоре из четырех пушек получилось две, но вполне пригодных для стрельбы. Красников входил в рубку к Матушенко, чтобы доложить о выполненном задании, и вдруг увидел такую картину: к батарее приближались три вражеских танка. Уже без труда можно было насчитать пятьдесят три пехотинца, которые двигались между ними.

— Пушки отремонтированы, находятся в боевой готовности, товарищ комбат, — сказал Красников, — можно стрелять.

— Нет, — ответил Матушенко, — нельзя, есть приказ.

— Ну, дайте же хоть один выстрел, — просил Красников, — мы сейчас накроем танк.

— Не могу, Красников, — сказал Матушенко, — я получил приказание до времени не демаскировать батарею, пусть немцы считают, что она выведена из строя.

Матушенко напряженно думал: что же делать?

— Их побьют и без нас, — сказал он Красникову и взялся за телефонную трубку. Матушенко позвонил командиру 30-й батареи капитану Александеру, дал ему корректировочные данные и попросил огня.

Первый же снаряд попал в цель. Все три танка остановились, головной задымил и взорвался. После второго снаряда ни танки, ни пехота никаких признаков жизни больше не подавали.

Немцы наступали по всему фронту, и морякам пришлось отстаивать подходы к своим батареям на суше.

В ночь на девятнадцатое капитан Матушенко получил приказ сформировать роту морской пехоты и поступить в распоряжение командира 8-й бригады морпехоты. На батарее остался сокращенный расчет под командованием лейтенанта Белого.

Рота Матушенко вместе с ротой, которой командовал старший лейтенант Василий Окунев, сформированной на 30-й батарее, образовала батальон морской пехоты. От командира 8-й бригады батальон получил задачу захватить три высоты выше села Мамашай и села Эски-Эли (теперь села Орловка и Вишневое). Высоты были взяты лихой моряцкой штыковой атакой.

22 декабря, когда защитников Севастополя потеснили, немцы окружили 10-ю батарею. Лейтенант Белый, получив приказ, подорвал все пушки и вместе со своим расчетом с боем прорвался к 30-й батарее. Утром 23 декабря на 30-ю батарею был отведен с сопок и батальон морской пехоты, все эти дни беспрерывно отражавший вражеские атаки.

— Когда немцы заняли 10-ю батарею, — рассказывал мне старшина дальномерщиков этой батареи Константин Печкуров, — Матушенко подобрал ударную группу, в которую попал и я, и поставил перед нами задачу.

Пошла наша группа к аэродрому, половину которого занимали немцы. Увидели на берегу минное поле, дзот и противотанковую пушку, которая обстреливала нашу часть аэродрома. Подобравшись к дзоту, мы забросали его гранатами. Уничтожили и пушку. Со мной был краснофлотец Обушок, он попал на мину и подорвался насмерть. Жаль дружка! Прикрывая отход своих товарищей, я был ранен в голову. Свернулся комочком и покатился под обрыв, прямо на пляж. Огляделся и вижу — весь пляж заминирован минами натяжного действия. В это время немцы меня заметили и открыли по мне огонь из пулемета. Что делать? Я отошел под обрыв, пули туда не доставали. Стою и рукавом бушлата вытираю кровь, которая течет из раны на голове. Передо мной бушевало море, накат метра три, вода ледяная, но выхода другого нет. Я разбежался и прыгнул в

море. Пробовал плыть по-над берегом, но меня накрыло гребнем волны, закрутило, только я вынырнул — обрушилась вторая волна, ударила о дно. В голове загудело, чувствую, что ослаб от потери крови.

С трудом удалось мне оторваться от волн и вылезть на берег. Минут пять лежал без движения, пока отдышался. Море отнесло меня в сторону от немецких позиций. Я поднялся и побрел вдоль берега по направлению к Севастополю. Вскоре наткнулся на полевой госпиталь армейской части. Мне предложили лечь на операционный стол, но я не захотел, пошел на батарею. Там мне забинтовали голову и отправили в город, в госпиталь, находившийся в 25-й школе. Ровно через два часа после того, как я туда попал, мне вдруг приказывают эвакуироваться на Кавказ. Я страшно разволновался: как же так? Ведь часть моя остается здесь! Я наотрез отказался эвакуироваться и просил сообщить обо мне на батарею. Просьбу мою удовлетворили, вскоре по ходатайству командира 30-й батареи меня взяли к нему, где я снова стал старшиной группы дальномерщиков…

Заканчивая рассказ, Печкуров так разволновался, будто его, уже здорового, могут оторвать от своей части и отправить на Кавказ. Все раненые, которых я знала, больше всего боялись потери связи со своей частью и отправки в тыл. Никто не хотел оставлять Севастополь.

В дни второго штурма и обстрела 30-й батареи дальнобойной немецкой артиллерией в амбразуру одной из башен попал восьмидюймовый немецкий снаряд. Он невзорвался, но застрял в амбразуре и силой удара перекосил башню так, что она потеряла способность поворачиваться.

Вызванный на 30-ю батарею Евгений Красников вырезал автогеном этот снаряд из башни за одну ночь. Он работал лежа на спине, на лицо и на грудь ему беспрерывно лилось горячее масло.

Сейчас батарея стреляла редко, так как позиции немцев чересчур приблизились, а от корректировщиков, находившихся в тылу врага, донесений было мало.

Однако, как рассказывали при допросах пленные немцы, 30-я батарея одним своим именем вызывала у них панику, и рождала недоуменный вопрос: сколько же у русских тридцатых батарей? Ведь в гитлеровских сводках не один раз сообщалось, что 30-я батарея уничтожена…

Иногда к Наташе заезжал товарищ ее мужа старший лейтенант Василий Окунев. Он был командиром корректировочной группы выносного пункта 30-й батареи, и, так как батарея находилась на передовой, ему приходилось

корректировать огонь, находясь под самым носом у противника или даже в его тылу. Бывали случаи, когда Окунев попадал в окружение и вызывал огонь на себя. Несколько раз он пропадал без вести, и все считали его погибшим, но каждый раз Василий являлся целым и невредимым. Переживания не шли ему во вред: он оставался румяным, никогда не бывал взволнованным или расстроенным. Все восхищались его невозмутимым спокойствием и удачливостью. «Знаете, Окунев опять пропал и, кажется, на этот раз погиб». Такие слова наполняли сердце печалью. Но вскоре приходила радостная весть: «Окунев пришел!»

К нам в городок привезли жен командиров с 30-й батареи, которых вскоре отправили на Кавказ. Они рассказывали, как немцы прорвались к батарее, как автоматчики подожгли ее городок. Спасая женщин, капитан Александер приказал забрать их под массив батареи.

Часть личного состава заняла круговую оборону в заранее подготовленных окопах. Подходы к батарее были минированы. Но все же на ее территорию просочились вражеские пехотинцы. Они лезли вперед, пьяные, остервенелые. Их в упор расстреливали из пулеметов, автоматов, забрасывали гранатами, за пол-часа убили около четырехсот.

Женщинам пришлось немало пережить. Они понимали, что если немцам удастся ворваться на территорию батареи, то это будет смертным приговором для всех, кто находится под ее массивом. В любую минуту капитан Александер может отдать приказ взорвать батарею. Легче все же умирать на вольном воздухе, чем ждать глубоко под землей, когда тебе на голову обрушатся тонны земли и бетона и погребут заживо.

Момент был острый, вражеские автоматчики уже проникли и на Братское кладбище возле Северной бухты, где похоронены жертвы первой обороны Севастополя, и в Сухарную балку. 30-я батарея оказалась полностью окруженной. Но не пришлось еще взрываться капитану Александеру!

К Сухарной балке подошли военные корабли, прибывшие из Новороссийска. На борту их находилась бригада морской пехоты под командованием в то время майора, а впоследствии полковника Алексея Степановича Потапова. Бригада состояла из учащихся военно-морских училищ, моряков Черноморского экипажа и частично армейцев. Хорошо обученная майором Потаповым, защищавшим Одессу и имевшим боевой опыт, бригада была оснащена первоклассным оружием.

Майор Потапов сходу бросил свои батальоны в бой. Пошли в наступление и другие войсковые части, защищавшие Севастополь.

Быстро были очищены от вражеских автоматчиков Сухарная балка и Братское кладбище. Батальоны двигались дальше, а спасенная ими 30-я батарея поддерживала их огнем своих орудий.

Немецкое наступление было остановлено. Гитлеровцев отогнали на их исходные позиции.

Возвращение Бориса

2 января на рассвете мы проснулись от сильнейшей артиллерийской канонады. Я быстро оделась, выскочила на крыльцо и застыла в восхищении. Стреляли все батареи Севастополя, всюду небо полыхало беспрерывными вспышками. Могучий грохот потрясал землю и небо. Война отвратительна. Но когда знаешь, что громят врага, вторгшегося в твою страну, врага-насильника и зверя, когда война с твоей стороны справедлива, то в ее грозных картинах есть нечто величественное. Меня охватило чувство гордости. Жарко было, я думаю, фашистам от нашего огня! Пришлось им и на этот раз распрощаться с мечтой о взятии Севастополя.

После отражения второго штурма, постепенно начали возвращаться оставшиеся в живых наши командиры и краснофлотцы, командование решило восстанавливать вышедшие из строя орудия. Вернулись Рязаев, Коротков, Труфанов, братья Ротенберги и другие. Наконец, 8 января приехал и Борис. На нем была грязная стеганка, у шеи выглядывал уголок тельняшки — «морскои души», на которой едва можно было различить белые и синие полоски. На голове каска, за плечами вещевои мешок, в руках автомат, лицо почернело. Я бросилась к нему. Борис сжал меня в своих сильных объятиях.

— Смотри, я запачкаю тебя, ведь я такой грязный.

— Пустяки, мы тебя сейчас выкупаем и будешь опять чистый. Идем скорей, дома ждут тебя!

Через час мой Борис, переодетый и чистый, сидел за столом. На столе стояла закуска, дымился обед и звенели бокалы все с тем же шампанским. Мы сияли от счастья и радости. Но что-то странное замечалось в Борисе, он был молчалив и замкнут, ни о чем не рассказывал. Я поняла, что сейчас не нужно ни о чем., расспрашивать, пусть сгладится острота переживаний.

— Ты знаешь, какие слухи были о тебе? — и я рассказала, что моей матери несколько раз говорили, будто Мельник тяжело ранен или погиб.

— Ничего нет удивительного, — усмехнулся Борис, — слухи рождаются легко. Впрочем, я был ранен в руку. Маленький

осколок попал в мякоть, он сидит там и сейчас. — Борис взял мой палец, и я нащупала небольшой бугорок.

Я перетянул бинтом руку поверх рукава шинели, вот и пошел слух о моем ранении. Был контужен, но здоровье у меня бычье, скоро отошел. В тот раз я чудом избежал смерти. Стояли мы с одним краснофлотцем в окопе, слышим: мина летит прямо на нас. Если бы ты знала, какой противный звук у летящей мины! Я присел, краснофлотец нагнулся надо мной и прижался к моей спине, мина ударилась прямо в него, превратила в куски мяса, моя шинель вся облита и пропитана его кровью, и у меня хлынула горлом кровь, видно, контузило легкие…

— А почему ты сбрил усы? Мне говорили, что ты их отпустил, теперь ведь у всех моряков усы и бороды.

Были и у меня усы, какие-то противные, почему-то рыжие. Но однажды я пробирался по лесу и не заметил немецкого автоматчика, сидевшего на дереве: он дал очередь, я упал плашмя на землю, в руках у меня была винтовка, пуля ударилась о штык, разорвалась, и осколком опалило один ус. После того я усы сбрил.

— А получил ли ты жареную курицу, одеяло и мандарины, которые я передала тебе через нашего врача? Наташа то же самое передавала Хонякину.

— Нет, где там было ему меня найти! Я врача позже видел, он мне рассказал, что легко раненные съели с превеликим удовольствием ваших куриц и ваши мандарины, а в одеяла завернули тяжело раненных, они дрожали, от холода, пока их довозили до Инкермана.

— Ну, и хорошо, я очень рада.

Разговорившись, я не удержалась и попросила:

— Расскажи, как ты ходил в атаки.

— Нет, позже когда-нибудь, не хочу сейчас об этом говорить…

Наступило молчание, слышно было, как тикают часы…

— Один немецкий офицер крикнул по-русски: «Только не штык!» Я застрелил его. Просьбу его я исполнил, но оставить в живых не мог…

И это все, что рассказал мне муж о своих боевых делах. А ему было о чем рассказать. Недаром командование Приморской армии представило его к награде, званию старшего лейтенанта, назначило командиром роты и упорно не хотело отпускать.

На другой день Борис отправился на батарею. Возобновились звонки по телефону, мои поездки на камбуз и обеды с мужем в комнате Рыбальченко. Кок Рыбальченко тоже прибыл с передовой и снова вступил во владение камбузом батареи. Иногда за

рюмочкой, утерев слезу, он любовно вспоминал своих детей и жену, эвакуировавшихся на Кавказ.

Прошло немного времени, и в кают-компании городка был вечер награждения орденами и медалями личного состава нашей батареи. Приехали к нам многие известные защитники Севастополя: командующий Приморской армией, генерал Петров, командиры бригад морской пехоты Жидилов и Горпищенко, командующий Береговой обороной генерал Моргунов и другие.

С одной стороны возле меня сидел муж, с другой — краснофлотец первой башни Полтавец. Я приколола к форменке Полтавца только что полученную им медаль «За боевые заслуги». Муж протянул мне орден Красной Звезды и попросил: «Жекачка, надень». И я привинтила орден к его кителю,

Восстановление 35-й и 30-й батарей

На нашу батарею перевели некоторых командиров и краснофлотцев с 30-й батареи капитана Александера, прибыло пополнение и с Кавказа.

Красников рассказывал мне, что перед самой войной на 35-й батарее собирались менять тела орудий, но не успели этого сделать. Они остались лежать на пристани Казачьей бухты, от которой к батарее была проведена узкоколейка.

Теперь для восстановления башен нужны были краны и руки специалистов. Но из осажденного Ленинграда специалистов, которые занимались установкой орудий крупного калибра, нельзя было вызвать в осажденный Севастополь. Решили выполнить эту работу силами севастопольских мастерских и личного состава батареи. Проект был одобрен командующим флотом вице-адмиралом Октябрьским и членами Военного Совета.

На батарее стали приспосабливаться к перевозке орудийных тел с пристани. Пришлось переделывать узкоколейку, сократить ее протяженность. Работали без подъемного крана, вручную, подкладывая шпалы, накатывали орудийные тела на вагонетку, затем тащили трактором до батареи. Вытаскивали из башен старые, изношенные тела орудий и на их место опускали новые.

Закончив работы в первой башне, решили восстановить и вторую, в которой в свое время произошел взрыв. Здесь столкнулись с большими трудностями, так как изнутри все сгорело.

За восстановление второй башни взялся артмастер Семен Иванович Прокуда. Впоследствии за эту работу и за смену орудий в башнях 30-й батареи он был награжден орденом Ленина. Были привлечены специалисты артиллерийской мастерской береговой

обороны, где работал Евгений Красников, и электромеханической мастерской военного порта. Пришлось на месте, в Севастополе, выискивать запасные части и детали, обшаривать склады и кладовые, переворачивать тонны металлического лома.

Работа шла быстро, трудились днем и ночью, не замечая усталости. Все с нетерпением ждали, когда восстанет из мертвых и снова заговорит 35-я морская дальнобойная батарея. Мы, мирные жители городка, ждали этого момента с неменьшим нетерпением, чем военнослужащие.

И вот раздались первые выстрелы, потрясшие воздух. Тридцать пятая снова живет!

Но тут опять стряслась беда с 30-й батареей.

Снаряд немецкого танка, обстреливавшего ее с ближнего аэродрома, попал в дуло пушки, и ствол дал трещину. Башня вышла из строя. На батарею были вызваны Красников и другие специалисты.

— Решили срезать автогеном край ствола пушки, где была трещина, — рассказывал Красников. — Я возражал против автогена, ведь от быстрого остывания металл может дать новые трещины, и предлагал резать ствол резцом. Но этот способ требует много времени, пришлось прибегнуть к автогену. Кислород привезли катером, пушку замаскировали, сделав над ней шалаш, чтобы не видно было искр.

Немцы находились на соседнем аэродроме на расстоянии около 1200 метров и считали батарею разбитой, полностью выведенной из строя, так как пока она молчала. Работать можно было только ночью, днем пушка находилась в мертвом положении, ее нельзя было двигать, чтобы враг не догадался о происходящем ремонте.

И вот, когда я начал снизу резать автогеном ствол орудия, искры полетели вверх, подожгли брезент и целым снопом вырвались наружу. Этот фейерверк был замечен противником. Начался артиллерийский обстрел батареи. Я бросил работу и спрятался в башню. Закончил дело в следующую ночь, и сразу же по окончании работы из пушки сделали «пробный» выстрел. Этим выстрелом оторвало от дула новый кусок, почти равный отрезанному. После этого командование решило менять изношенные тела всех орудий тридцатой батареи.

На батарее стоял подъемный кран, сохранившийся ещё со времен ее строительства. Но если пользоваться краном, то немцы все поймут, разобьют бомбами и артиллерийским огнем кран и вообще не дадут работать. Пришлось только по ночам подвозить паровозом к батарее кран, а в основном работать вручную. Работали, не показывая признаков жизни: днем — внутри башен,

ночью снаружи.

Используя опыт, накопленный на 35-й батарее, упростили производственный процесс. В мирное время на эту работу потребовалось бы два месяца, а сейчас она была завершена за шестнадцать дней — и это под самым носом у немцев.

До начала третьего штурма батарея молчала, направив новые дула орудий в сторону противника.

В городе

Мы с мамой часто ездили в город, даже делали это во время второго штурма. Останавливались у приятельницы моей матери Екатерины Дмитриевны Влаковой, так как наш дом в ноябре сильно пострадал от упавшей поблизости морской мины. Влайковой долго пришлось ухаживать за тяжело больным мужем — Степаном Николаевичем, преподавателем математики, приятелем моего отца.

Поднявшись с постели после болезни, Степан Николаевич начал работать в школе, находившейся в подвале одного из домов по улице Ленина. Мой папа не раз заводил с нами разговор о том, чтобы вернуться в город и тоже приняться снова за свою педагогическую деятельность. Его тревожила мысль, что школы опять работают, а он впервые за сорок лет не принимает в этом никакого участия. И маму тянуло в ее насиженное гнездо.

Мама затеяла ремонт нашей квартиры. Сколько я ее ни убеждала, ни доказывала, что это преждевременно, бесмысленно, мама стойко стояла на своем. За свой счет она наняла рабочих, которые лазили на крышу, устанавливали новые стропила, покрывали их черепицей, причем через каждые полчаса скатывались оттудаи бежали в бомбоубежище. Было немало дней, когда они совсем не могли работать из-за воздушных тревог. Ремонт подвигался медленно. Строился карточный домик, а мы из-за него через каждые два-три дня ездили в город. Иногда оставались ночевать в своей полуразрушенной квартире на третьем этаже, в совершенно пустом, покинутом доме. Ночи эти были не весьма приятны.

Мама занималась ремонтом, а я отправлялась по делам в город. При налетах приходилось заскакивать в ближайший подвал какого-нибудь дома или в штольню. За время осады под городом вырыли новые подземные ходы, восстановили старые, давно заброшенные и местами осыпавшиеся, существовавшие со времен первой обороны Севастополя 1854–55 годов. Я побывала в штольне под Краснофлотским бульваром, в штольне,

начинавшейся во дворе кинотеатра «Ударник» (в нее перенесли кинотеатр, здание которого было разрушено). Штольни были укреплены балками, вдоль стен стояли деревянные скамьи, горел электрический свет.

Город в основном ушел под землю. Здесь находились мастерские, где изготовлялись мины, вытачивались части для машин, шилась и чинилась одежда; под землей выпекался хлеб, работали учреждения.

Жизнь не прекращалась и наверху. Очень часто обрывались провода, разрушались трансформаторные будки, прекращалось трамвайное движение, тротуары и мостовые заваливались обломками разрушенных зданий. Но проходило немного времени — опять ходили трамваи, провода висели в воздухе, тротуары и улицы были расчищены, и только необычное зрелище, к которому трудно привыкнуть, являли собой совершенно разрушенные или полуразрушенные дома.

Вот двухэтажное здание. Бомба отхватила его половину, в другой продолжают жить люди. Исчезла середина большого трехэтажного дома, а края его стоят, как две высокие башни. В четырехэтажном доме по улице Ленина сорвана крыша, обрушилась вся передняя стена, потолок верхнего этажа прогнулся, как гамак, на него навалены огромные искореженные балки. Все убранство квартир — как на ладони. В комнате на верхнем этаже стоит целехонькая кровать, застеленная белым покрывалом, на стенах висят картины, в углу шкаф.

Иду по Нахимовскому проспекту (тогда — имени Фрунзе). Это счастливый район, здесь нет ни одного разрушенного дома и даже стекла в окнах целы. На Нахимовском с начала осады упала только одна бомба, разрушившая левое крыло института физических методов лечения им. Сеченова. Затем я шагаю по улице Константина, подхожу к калитке маленького домика, возле которой растет большая акация. И эта калитка, и старенький, облупленный фасад домика знакомы мне с детства. Здесь живут Антонина Ивановна и Дмитрий Григорьевич Мисс — милые старички, впрочем они еще достаточно бодры и даже обижаются, если их назвать старичками. Антонина Ивановна портниха, а Дмитрий Григорьевич работает продавцом в магазине.

Возле их домика был крохотный фруктовый садик, огражденный каменным забором. В садике росли абрикосы, маленькое персиковое дерево, акация, несколько кустов сирени, розы, пестрели цветы.

Низкая стенка отделяла садик Антонины Ивановны от такого же крохотного садика Марии Тимофеевны Тимченко, известной во время обороны Севастополя под именем «Мать». Высокая

худощавая старуха с приятными чертами лица, которое в молодости, видно, было красивым, энергичная общественная деятельница, она организовала у себя на дому и в убежище на Керченской улице прачечную и швейную мастерскую, обслуживавшие двести сорок первый стрелковый полк. Прачечная и швейная работали бесперебойно, несмотря ни на какие бомбежки: женщины шили новое белье, стирали, латали и гладили вороха белья и обмундирования, спрыскивали одеколоном, если он был, и отправляли на фронт. Бойцы перед баней заходили сюда за чистым бельем, а после бани приносили грязное. Иногда Мария Тимофеевна и сама ездила на передовую, встречалась в землянках с бойцами и командирами, призывала их стойко оборонять город.

В те дни так поступали многие женщины Севастополя.

Керчь пала!

Наступило относительное затишье. Я не однажды напоминала комиссару батареи о своем заявлении, но всегда получала один и тот же ответ: «Ждите, вы в резерве батареи». Правда, раза два меня и Хонякину вызывали на ученье в поле, куда мы являлись с санитарными сумками, оказывали бойцам мелкую медицинскую помощь и вместе с ними стреляли по мишеням.

Я сходила на мыс Херсонес, в авиачасть, думала, что там нужен метеоролог, но все специалисты были военнослужащие, и меня не взяли. Тогда я поехала в город и поступила секретарем в школу, которой заведовал Степан Николаевич Влайков. Однако из моей работы в школе ничего путного не получилось. Я постоянно опаздывала или вовсе не являлась: не было регулярного сообщения с городком батареи. А тут в батарейном подсобном хозяйстве начались весенние огородные работы. Я, перестала мучить себя и школу и пошла работать в подсобное хозяйство. Мы сажали картофель, лук, капусту, арбузы и дыни.

Весна была в разгаре. Под ласковыми лучами южного солнца мирно синела по утрам морская гладь. Днем ветер разгонял небольшую волну, бросал ее на утесы обрывистого берега, тихо шумело море.

В один из таких дней мы работали на огороде. Наступил час обеда. Не успели мы проглотить несколько ложек супа, как затрещали зенитки. Мы выбежали из дома и, прикрываясь ладонями от солнца, следили за вражескими самолетами, летевшими с моря звездным налетом. Прошло несколько минут, и в стороне Камышевой и Стрелецкой бухт взметнулись в небо и

заклубились огромные тучи черного дыма. Натворили беды стервятники! Как мы узнали потом, они обрушили тяжелые бомбы на авиамастерские в Стрелецкой бухте и уничтожили их. Силой взрывной волны многих людей сбросило в бухту. Убиты были 200 рабочих, с ними погиб и генерал-майор авиации Н. А. Остряков. Это была тяжелая потеря для нашего фронта. Несмотря на снова начавшиеся беспощадные бомбежки, генерала Острякова торжественно похоронили на кладбище.

И вот однажды вечером мы услышали по радио сообщение: «Наши войска оставили город Керчь». Мы в ужасе замерли… Мне показалось, что ледяной ветер Арктики ворвался в комнату и обдал нас своим дыханием. Все мы понимали, что значит для Севастополя сдача Керчи.

Клянусь, я не за себя испугалась: ведь в Севастополе везде был фронт и каждую минуту я могла быть убита или искалечена. Я испугалась за мой родной Севастополь, за тех, кто мне дорог и близок, а близок и Дорог мне был каждый гражданин Севастополя, каждый боец и командир. Севастополь казался мне живым телом бесконечно родного существа, а все, кто его населяет, — его душой, и нельзя было одно оторвать от другого.

Я побежала к Ане. При виде меня она воскликнула:

— Что с вами? Вы бледны, как смерть!

Я едва могла говорить, нервная лихорадка трясла меня, зубы стучали.

— Аня, Керчь сдана!

Как мы знали, немцы бросили на Керчь огромные силы, массу самолетов. Теперь все эти войска и техника двинутся на Севастополь. Начнется настоящий ад, перед которым побледнеет все, что было до сих пор. Мне вдруг вспомнился день 1-го мая 1941 года на 30-й батарее, нарядная, беззаботно-веселая толпа, в которой мы с мужем бродили в счастливом неведении ближайшего будущего. И вдруг тогда вырвалась из репродуктора и далеко разнеслась по городку 30-й батареи мрачная песня из кинофильма о Чапаеве. Настолько она показалась мне не подходящей к праздничному дню, что я невольно запомнила ее слова:

Черный ворон, черный ворон,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Черный ворон, я не твой!

Теперь этот зловещий черный ворон вьется над 30-й батареей, над нашим Севастополем.

«Но, нет, — думали мы, — Севастополь не сдадут. Отбили два штурма, отобьют и третий!»

В последний раз в своей квартире

А в это время жизнь в осажденном Севастополе протекала обычным порядком. Горсовет начал даже ремонтировать дома, и наш дом теперь восстанавливался с его помощью. Ремонт уже подходил к концу. Мама была чрезвычайно оживлена. Осталось только вставить рамы и оштукатурить стены. На крыше ровными рядами лежала новая черепица. Починены двери, и, — самое главное, что приводит маму в восхищение, — сложена какая-то особая польская печь, о которой мама давно мечтала.

Мы втроем поехали в город и остались там ночевать. Мама с маленьким Женей нашла приют у Екатерины Дмитриевны, а я отправились к Марии Александровне Добржанской, инженеру-химику, моей сослуживице по Биологической станции Академии наук и по Управлению гидрометслужбы.

После того, как это управление перебазировалось на Кавказ, Мария Александровна работала на Павловском мыске в здании Морской обсерватории, в группе гидрометслужбы, оставшейся здесь для обслуживания флота. Жила Добржанская в двухэтажном доме на углу Пушкинской улицы, над самой Южной бухтой. Нелегко было Марии Александровне попадать на работу: надо пройти всю улицу Ленина до Графской пристани и пересечь на шлюпке бухту, а тут бомбежка за бомбежкой. На Павловский мысок, разделяющий Южную и Северную бухты, бомбы сыпались особенно часто.

Добржанская обрадовалась моему приходу. Но эту ночь не пришлось провести спокойно. Не успели мы уснуть, как начался артиллерийский обстрел. Снаряды разрывались совсем близко, казалось, вот-вот разнесут наш дом в щепки. Мы лежали в своих постелях и слушали эту «музыку», вставать и идти прятаться не хотелось. Не помню, прекратился ли обстрел, но в конце концов мы заснули. Утром узнали, что снаряд попал в соседний дом.

По случаю воскресного дня Марии Александровне не надо было идти на работу, и она отправилась со мной. Маму мы застали в прекрасном настроении: она растапливала свою польскую печку, для пробы решила испечь пирожки с яблоками. Квартира приняла более или менее жилой вид. Мы с мамой вынесли всю обвалившуюся штукатурку, помыли полы и даже поставленные в столовой две кровати застелили одеялами. Спальня все еще была завалена нагроможденными друг на друга вещами.

Неожиданно приехал папа. Пока мама возилась с пирожками, мы с Марией Александровной отправились по делам. В этот день с утра немцы снова начали артиллерийский обстрел города. Снаряды с шипением и воем проносились по небу, ухали взрывы.

Вернувшись домой, мы застали на столе блюдо пирожков и взволнованную маму. В наше отсутствие снаряд взорвался в соседнем дворе. От взрыва так страшно затрясся наш дом, что мама с мальчиком в ужасе залезли под стол. Однако это происшествие не помешало маме допечь пирожки.

Вот мы сидим в столовой и пьем чай с пирожками. Пришли Степан Николаевич и Екатерина Дмитриевна. Случайно, впервые за всю осаду, в квартире, как прежде, собралась почти вся наша семья и ее близкие друзья. Мы пьем чай, а в небе, прерывая нашу беседу, шипят и воют вражеские снаряды. Иногда нам кажется, что сейчас снаряд упадет прямо к нам на стол, на блюдо с пирожками. Речь порой прерывается на полуслове, застывает в воздухе рука с пирожком, в ожидании напрягается слух… Нет, пролетел!

Сами того не подозревая, мы справили тризну по нашему дому. В последний раз наша семья была и в городе и в своей квартире.

На передовую за щавелем

В ясный майский день я уговорила краснофлотца, посланного с батареи за щавелем в деревню Кадыковку, взять с собой в помощь меня и Аню. С нами поехал и кучер из подсобного хозяйства. Набрав мешков, мы уселись на телегу и отправились в путь по направлению к Балаклаве. Тряслись километров восемь по проселочной дороге, потом взобрались на горку и понеслись вниз с крутого спуска. Перед нами открылась Золотая балка с ее виноградниками, теперь изуродованными войной и заброшенными. Направо виднелся уголок Балаклавы. Там на скалах все так же стояли чудом уцелевшие от бомбежки круглые генуэзские башни. Но все это не задерживало долго моего внимания. Я искала глазами линию фронта, приставала к краснофлотцу с расспросами, где же знаменитая батарея капитана Драпушко, держащая под огнем своих орудий Золотую балку, через которую гитлеровцы неоднократно пытались прорваться к городу. Краснофлотец указал мне на дальнюю гору, но я, сколько ни всматривалась, не нашла никаких признаков батареи. Золотые лучи солнца освещали, казалось бы, мирную картину весенней земли.

Въезжаем в деревню. Она разрушена и покинута жителями,

Густым бурьяном зарастают развалины домов. Земля во многих местах вспахана свежими разрывами снарядов, но весна берет свое, ярко-зеленая трава поднимается повсюду. В изобилии растет щавель. Мы спрыгиваем с подводы, сбрасываем наземь мешки и рвем щавель. Работа кипит, мешки быстро наполняются. Вдруг неожиданно на тропинке показывается командир-пограничник, подходит к нам и спрашивает:

— Что вы здесь делаете? Откуда взялись?

Мы отвечаем, что приехали с 35-й батареи за щавелем.

— А у вас есть разрешение? — спрашивает пограничник. — Знаете ли вы, что здесь передовая? Вчера эта деревня подверглась ожесточенному минометному обстрелу. Ваше начальство, посылая вас сюда, должно было знать, что здесь передовая, и оформить вам пропуск. Пойдемте со мной!

К сожалению, начальство и понятия не имеет о нашей поездке. Но об этом мы молчим. Делать нечего — пошли. В уцелевшем домике нас допрашивают. Оказалось, что и наш краснофлотец — без документов. У него отбирают автомат и под конвоем куда-то отправляют. Но и нас ожидает не лучшая участь: меня, Аню и кучера сажают на нашу подводу, бросают туда мешки со щавелем, по бокам усаживаются два автоматчика, и мы поворачиваем к дороге, ведущей в город. Не успеваем доехать до конца улицы, как на деревню обрушиваются мина за миной. Наш возница стегает лошадь, и мы мчимся. Нас догоняет противный вой летящих мин. Взрыв справа, взрыв слева, сзади, жужжат осколки.

Автоматчик дернул за рукав кучера и указал в сторону кривого переулка, ведущего подгору. Кучер резко завернул лошадь, возле развалин большого дома привстал и с силой натянул вожжи. Лошадь остановилась, мы спрыгнули.

— Ложитесь под стенку! — крикнул один из автоматчиков. Другой, схватив под уздцы лошадь, стал ее осторожно сводить вниз с крутого откоса.

Мы послушно легли. Мины продолжали рваться. Наконец, налет кончился, и мы поехали дальше. Сопровождавшие нас автоматчики относились к нам добродушно-насмешливо. Но когда мы попали в пересыльный пункт на Балаклавской дороге, где сменили стражу, новые конвойные, не знавшие причины нашего задержания, смотрели на нас сурово. Мы пытались в шутливом тоне разговаривать с ними, но они пресекали эти попытки. Нас привезли на гору Матюшенко к отделению милиции. Здесь нас узнал один из работников милиции, недавно проверявший население батарейного городка. В конце концов мы были отпущены подобру-поздорову, но с грозным

предупреждением:

— Попадетесь в другой раз на передовой — так дешево не отделаетесь!

Мы были рады, что обошлось без неприятностей для командира батареи, и поспешили покинуть здание милиции.

Надо возвращаться обратно, уж солнце склоняется к закату. Выезжаем к больнице. Я думаю о Екатерине Дмитриевне и Степане Николаевиче. В городе трудно с продуктами, какое удовольствие доставил бы Влайковым зеленый борщ! Аня не прочь заглянуть к знакомой, живущей неподалеку. Уговариваем кучера подождать нас, за двадцать минут мы сбегаем туда и обратно. Я с охапкой щавеля бегу вниз по Херсонесскому спуску. На углу Большой Морской, там, где еще недавно было здание школы, зияет огромная яма, а вся улица засыпана камнями, среди которых расчищена дорожка для проезда автомашин. Такие же разрушения напротив — и справа и слева. Во дворе, где живет Екатерина Дмитриевна, та же картина: поломаны кусты цветущей сирени, на ветках куски штукатурки и щепок, битое стекло обсыпало листья и усеяло землю.

Но и здесь, как и в Кадыковке, меня поразила сила жизни. Ярко зеленели листья сирени, благоухали цветы: природа не хотела сдаваться. Так нелегко бывает добить и человека. Живуч он — создание природы!

На веранде за столом сидели Екатерина Дмитриевна и Степан Николаевич, лица их были сумрачны.

— Бомбежки становятся просто ужасны, — пожаловалась Екатерина Дмитриевна. — По всем убежищам ходят политработники, уговаривают жителей уезжать на Кавказ, говорят, немцы скоро начнут наступать.

— И вы думаете уезжать?

— Нет, что ты! Переживем как-нибудь. Ты же знаешь бесстрашие Степана Николаевича, он и в бомбоубежище ходит только ради меня.

Мне надо было передать Екатерине Дмитриевне письмо, полученное мною недавно из Ленинграда от жены ее брата — Каси. Я не прекращала переписки с осажденным Ленинградом, где у меня было много друзей, уроженцев Севастополя. Валентина Андреева — подруга моего детства писала мне, что сделалась донором и своей кровью спасает жизнь раненых, а пайком, получаемым за эту кровь, — жизнь своего маленького сына и мужа, работавшего в порту.

«Золотая Кася», как ее называли за красивые светлые волосы, была моей приятельницей. Все в ней мне нравилось: жизнерадостность, серебристый смех, прямой взгляд карих глаз,

чуткость и отзывчивость, но больше всего она привлекала неподкупной честностью, принципиальностью. Кася не стесняясь говорила правду в глаза и бурно возмущалась несправедливостью. Она работала секретарем в каком-то юридическом учреждении, а ее муж Владимир Дмитриевич Щеглов был преподавателем русского языка.

Степан Николаевич боялся страшных известий из осажденного Ленинграда. Он просил меня в случае, если будет получено такое письмо, ни слова не говорить об этом Екатерине Дмитриевне и передать письмо ему.

Долго не было известий из Ленинграда, да и почта оттуда шла по три месяца, но вот на днях я, наконец, получила письмо.

«…Врачи сказали, — писала Кася, — что спасти Володю может только питание, но где его взять? Поверь, я сделала все возможное, но он слабел с каждым днем, не вставал уже с постели и в конце концов тихо заснул вечным сном. Ты, может быть, осуждаешь меня, скажешь, что не только я, но и дряхлая, больная старуха — мать моя живы, а он умер. У меня цинга, я едва хожу — так распухли ноги, — моя мать еле дышит… У нас не хоронят покойников по целому месяцу, в квартирах мороз, трупы не разлагаются. Но мне повезло: через семь дней мне удалось Володю похоронить…»

Да, в Ленинграде было страшнее, чем у нас. Севастополь ощущал недостаток в продовольствии, но о голоде не было и речи. Работали даже столовые общественного питания. Правда, хождение в часы обеда было часто связано с опасностью для жизни. Бывало и так: выйдет мать из убежища за водой или за обедом и назад к детям не вернется — попадет под бомбежку. Совсем как в доисторические времена, когда люди жили в пещерах, а дикие звери подстерегали их на каждой тропке!

«Голод очень страшен», — писала Кася. Да, она была права, и вскоре многим оставшимся в живых жителям Севастополя пришлось убедиться в этом на собственном опыте.

Я передала щавель Екатерине Дмитриевне и попросила у нее стакан воды. Она ушла в комнату, а я быстро вынула из сумки письмо и сунула его в руки Степану Николаевичу.

— Письмо из Ленинграда, тяжелое.

Он схватил, спрятал его в карман и прошептал:

— Молчите!

Я выпила воду и, рассказав в двух словах о наших приключениях, побежала обратно.

Мрачное впечатление произвел в этот раз на меня город, и я спешила его покинуть.

Было уже совсем темно, когда мы вернулись домой. И все же

на другой день на батарее варили зеленый борщ из нашего щавеля, а мы снова отправились работать на огород.

Третий штурм. Переселение под скалы

Прилетел с фронта наш подбитый самолет. Не дотянув до аэродрома, объятый пламенем, упал возле городка. К самолету подъехала машина скорой помощи, из огня извлекли и уложили на носилки четырех летчиков. К счастью, они были живы и не очень сильно обожжены. Самолет горел целый день, ветер трепал пламя и уносил черный дым. Теперь немцы беспрерывно обстреливали наш аэродром на Херсонесском мысу из 14-дюймовых дальнобойных орудий, поставленных в Каче. Без конца налетали самолеты и засыпали аэродром бомбами, «пахали» его день и ночь, земля гудела от взрывов. Немцы «пахали», а наши с такой же настойчивостью засыпали воронки и ровняли посадочные площадки. Трудно стало летчикам и подниматься и приземляться. Они гибли в воздухе, гибли и на аэродроме.

За спиной немцев был обширный тыл, где они в относительной безопасности могли располагать свои аэродромы. За спиной наших войск, оборонявших Севастополь, находилось открытое море с вражескими подводными лодками и торпедоносцами.

После сдачи Керчи летчики покинули наш городок. До нас дошел слух, что в каком-то сбитом немецком самолете были обнаружены снимки городка, на которых ясно запечатлелись фигуры в летной форме. Теперь летчикам приказали оставить городок, так как имелись сведения, что его будут бомбить. Ожидали начала третьего штурма, более жестокого, нежели предыдущие.

Летчики поселились в казематах заброшенной шестнадцатой батареи, окончательно расчистив их и благоустроив. Там даже горело электричество и работал буфет.

Освободилась моя маленькая комнатка, смежная с большой, где жили родные, я переселилась туда, но не радовало меня это переселение: в воздухе сгустились тучи, надвигалась гроза.

Под высокими скалами обрывистого берега, на котором были расположены батарейные огороды, в маленькой палатке, раскинутой у самого моря, жили рыбаки авиачасти. Часто по окончании работы я спускалась к рыбакам и покупала у них рыбу.

С продуктами дело у нас теперь обстояло хуже: нам давно уже ничего не выдавали в баталерке. Мы, правда, не голодали: магазин городка снабжал нас мукой, вермишелью, а подсобное хозяйство — молоком. Но не хватало жиров и некоторых других продуктов.

Спускаться к рыбакам быдо очень трудно, а с непривычки

даже страшно: Кружилась голова и казалось, что резким порывом ветра тебя подхватит и бросит в эту сверкающую далеко внизу ярко-синюю бездонную глубину моря. В первый раз я шла нерешительно и осторожно по крутой козьей тропке, вьющейся в обрыве. И вдруг, завернув за утес, неожиданно оказалась у края небольшой лощинки, покрытой густым ковром сочной свежей травы и цветов, поросшей высокими деревьями и кустарником. Среди камней доброжелательно журчал ручеек с кристально-чистой водой. Я не ожидала встретить среди голых скал такой чудесный уголок. Отсюда тропинка пошла вверх, и я увидела в скале две больших, смежных пещеры. Там, очевидно, жили овцы, так как пол пещер был покрыт толстым слоем овечьего помета. Мирный уголок, не затронутый войной!

Когда я последний раз была у рыбаков, их осталось только двое — два краснофлотца из авиачасти. Баркаса у них уже не было, рыбаки стерегли оставшееся имущество.

В городок я возвращалась по узкой проселочной дороге, пересекавшей дубовый лесок. И здесь чирикали птицы, цвели цветы и зеленела трава, но война давала себя чувствовать все больше и больше. По краям дороги много воронок, повсюду в леске расположились какие-то воинские части, переселившиеся сюда из города, все чаще и чаще гудит морзаводский гудок: тревога — отбой, тревога — отбой, в чистом прозрачном воздухе далеко разносится его басистый голос. И на сердце тревожно, надо что-то предпринимать.

После переселения летчиков наш городок снова опустел, остались только штаб какой-то армейской части, расположившейся в леске за нижней водокачкой, несколько моряков с 35-й батареи, обслуживающих баталерку, прачечную и водокачку, комендант воентехник Бордюк и мы — немногочисленные гражданские.

Теперь городок уже не казался тихой пристанью, а представлялся судном, потерпевшим бедствие, покинутым командой.

Видимо, дошла очередь и до нас. Надо по примеру летчиков куда-то выбираться.

Я подумала о пещерах в обрыве, поделилась своими соображениями с мамой и папой, а затем пошла поговорить с Дмитрием Григорьевичем Воронцовым. Он одобрил мои планы, сказал, что и его семья, и служащие с подсобного хозяйства, и Наташа, и Аня с матерью переберутся туда.

На другой день мы с мамой и Женей отправились к пещерам с намерением их расчистить и привести в порядок. Дружно втроем взялись за работу: соскребали овечий помет, выносили

мусор и камни. Одна пещера была поменьше, но более закрытая, другая, смежная с ней, глубокая, обширная, но открытая с моря. Когда мы, потные и обсыпанные пылью, в последний раз начисто, подметали первую пещеру, появились три командира в морской форме. По нашивкам на рукавах мы определили, что это какие-то большие начальники. Один из них, высокий сухощавый блондин, вежливо осведомился, откуда мы и что здесь делаем. Мы ему обо всем рассказали. Тогда он попросил предъявить документы, предварительно извинившись.

Мы, конечно, нисколько не обиделись и предъявили документы.

— Я, право, не знаю, разрешить ли вам переселяться сюда, — сказал командир. — Мы вырубаем деревья в обрыве, возможно, что в этих пещерах поставят минометы, здесь будет находиться воинская часть: есть вероятность вражеского десанта…

Потом он немного подумал и сказал:

— Ну, хорошо, пока переселяйтесь.

И уже собираясь уходить, представился:

— Ломан, начальник школы начсостава.

Подойдя к своим спутникам, Ломан стал объяснять им геологическое происхождение этих скал и, отбив кусок породы от скалы у нашей пещеры, рассматривал ее с большим вниманием. Меня заинтриговало: кто же этот человек с такими изящными и вместе с тем энергичными движениями, так живо интересующийся в настоящий момент не только минометами, но и геологией. «По всей вероятности, до войны он был геологом», — подумала я.

Дочистив пещеры, мы пошли домой.

Почти беспрерывно гудел морзаводский гудок. Так было последние дни. Когда мы подходили уже к самому городку, засвистели, завыли летящие с неба бомбы. Клубы дыма поднялись из леска возле нижней водокачки: учуяли стервятники наши части, расположившиеся там!

Это были последние числа мая. Я еще два раза ходила на огороды. Возле дома подсобного хозяйства опять встретила Ломана, но уже не в флотской, а в хорошо пригнанной армейской форме. Он вежливо поздоровался и спросил, когда же мы переезжаем в пещеру… Мне пришлось с ним встретиться в жизни еще два раза, но в каких условиях!

Заведующий подсобным хозяйством Дмитрий Григорьевич Воронцов торопил с Переездом, но нам почему-то не хотелось перебираться в пещеры, и мы все оттягивали время. Наконец, первого июня Воронцов убедил нас ехать.

Солнце огненным шаром садилось в море, когда мы

подъезжали к обрыву. Море было синевато-свинцовое, темное, неприветливое, как и небо, сильный ветер задирал гривы у коней и, казалось, что нас вместе с подводой сбросит в обрыв. Не успели лошади остановиться у самого края обрыва, где начиналась тропинка, как засвистели и разорвались в ближайшем леске две бомбы, лошади шарахнулись и чуть было действительно не свалились вместе с подводой и нами в обрыв. Все это: и багровое солнце, и хмурое море, и ветер, и бомбы, и надвигающиеся сумерки, и взлохмаченные гривы коней, и одинокая подвода на краю отвесного обрыва, и сами мы со своими мрачными лицами — создавало какую-то зловещую, тяжелую картину.

Мама спустилась вниз первая, но вскоре вернулась с сообщением, что пещеры заняты военными, там установили минометы, нам поселиться негде. И сразу будто камень свалился с души, мы все обрадовались и повеселели.

— Едем обратно!

Повернули коней и уже в темноте приехали в городок.

Наутро проснулись рано. Только оделись — тревога. Почему-то на этот раз все выскочили из домов и побежали прятаться в щели, даже мама. Едва мы успели забраться в маленькую щель возле нашего дома, как одна за другой засвистели бомбы. Мы почувствовали, как что-то тяжелое надвигается прямо на нас, какая-то стена воздуха. Я еще ниже опустила голову и крепче закрыла глаза. Обрушилось! Обвалился угол щели и некоторых ушибло камнями, но все живы — пронесло! Бомба упала в полутора метрах от нашей щели.

Бомбардировка закончилась, мы вышли из-под земли. Ни одна бомба не попала в дом, но весь двор был изрыт воронками и засыпан камнями, ни в одном окне не осталось стекол. Пришел, значит, и наш черед.

Слышно было, как беспрерывно бомбили город. Что делать, куда деваться? Кто-то предложил спуститься в подвал баталерки и там отсиживаться. Мы пошли вместе со всеми, но возле ворот две военные девушки предложили нам идти с ними в обрыв против нашего городка. «Там есть пещеры», — сказали они. Мы пошли, захватив с собой только бутылку воды и кусок хлеба. Узенькая дорожка вела по прямой линии от городка, мимо зенитной батареи, к обрыву; всего расстояние не больше километра. Тропинка вниз, к морю, если вообще ее можно назвать тропинкой, была чрезвычайно крута. Кое-где надо было прыгать над обрывом с камня на камень. У самого моря раскинулся как бы каменный амфитеатр с отдельными довольно гладкими площадками, слегка возвышающимися одна над другой. Справа — маленькая закрытая пещерка, над головой тоже пещерка, но до

нее без лестницы добраться нельзя. Весь этот амфитеатр был основательно защищен сверху навесом скалы, но совершенно открыт с моря.

Целый день просидели мы под скалами, а к вечеру вернулись домой.

С этого дня, 2 июня, немцы начали артиллерийскую и воздушную подготовку третьего штурма Севастополя. Город бомбили беспрерывно, круглые сутки, уж не гудел больше гудок Морзавода: отбоя не было. Ночью никто из нас не спал и не раздевался. Я старалась отвлечься, взяла книгу Золя «Париж» и пыталась читать, но это было трудно, нельзя сосредоточиться. Дом шатался, гудела земля, я без конца вскакивала с постели и выходила на крыльцо, казалось, что бомба упала совсем близко, но нет, это бомбили город. Красные вспышки вставали над городом и не успевали гаснуть, как на смену им то в одном, то в другом месте появлялись новые.

Тревожной была эта ночь! Все «гражданское население» нашего городка решило перебраться под скалы. Как только забрезжил рассвет, мы нагрузились узлами и пошли.

Жизнь под скалами

Авиационно-артиллерийская подготовка штурма продолжалась. Бомбы и снаряды тяжелых орудий засыпали город, военные объекты и линии нашей обороны, по всему небу, куда ни глянешь, летали вражеские самолеты. Земля и воздух содрогались от взрывов. 7 июня немецко-фашистские войска по всей линии фронта пошли в наступление. Но враги глубоко ошибались, думая, что они сломят сопротивление защитников Севастополя.

К нам под скалы приходили военные из частей, расположенных в городке и вокруг него, и приносили сводки. Из сводок мы знали, что немцы даже после невиданной авиационно-артиллерийской подготовки смогли продвинуться вперед лишь на северном участке фронта и то ценою тяжелых потерь.

Мы поселились посредине каменного амфитеатра. В скале здесь было маленькое углубление — крохотная пещерка, в которой мама пристроила примус; если ветер дул с моря, она прикрывала примус фанеркой. Итак, у нас была даже кухня. Из городка принесли матрацы, одеяла, подушки, часть вещей и продукты.

Поселились под скалами Дмитрий Григорьевич Воронцов с семьей, Аня с матерью, Наташа, Шура Шевкет, все работники подсобного хозяйства, поварихи, готовившие в городке пищу для

летчиков, живших на шестнадцатой батарее, жена шофера авиачасти с маленьким мальчиком. Здесь же оказалась и жена старшины нашей батареи Ольга Петровна Поморцева с сыном Борисом, ровесником нашего Жени. Она очень долго не покидала город, переезжая из одной разрушенной квартиры в другую, но в конце концов переселилась к нам. Под скалами сразу стало шумно. Каждый пристроил себе в каком-нибудь углублении примус, развернул свое «хозяйство». А Дмитрий Григорьевич поставил даже кровать.

Жизнь наша не была тиха и однообразна. Утром нас будили грохот зениток и взрывы бомб. Начинался день, шумный и полный опасностей. Однако наш лагерь не унывал. Умывались морской водой, кипятили чай, жарили оладьи. Мы продолжали получать свои два литра молока, которые доярки приносили под скалы. Стирали белье и платья в море, сушили их на скалах, а гладить умудрялись в городке. Днем купались в море, как ящерицы, выползали на скалы греться на солнышке. Но каждые пять минут, как те же пугливые ящерицы, скрывались в тень навеса от глаз немецких летчиков. Ночью крепко спали под мерный шум прибоя.

По нескольку раз в день гитлеровцы бомбили зенитную батарею, расположенную над нашими головами, без конца бомбардировали 16-ю батарею — жилище летчиков, крупнокалиберными бомбами «молотили» 35-ю батарею. В маленькой бухточке за скалой скрывался катер, охотник, за ним тоже охотились. Перед нами курсировала подводная лодка, которая иногда всплывала, чтобы набрать воздуха, и тогда в море летели бомбы, взметая к небу фонтаны воды; воздушные волны, залетая под скалы, били нас о камни. Часто наше убежище заволакивало дымом и желтой глинистой пылью. Когда над головой бомбили зенитную батарею, скалы гудели, а мы прижимались к ним и притихали. Как-то прямо перед нашими глазами пролетели две бомбы, сброшенные с самолета на катер-охотник. К счастью, они разорвались за выступом скалы, не причинив ни нам, ни катеру вреда.

Но улетят самолеты — и мы снова выползаем на солнышко. Не успеешь пригреться или выкупаться — опять прячься: с воем проносятся самолеты, в море летят маленькие снарядики из авиационных пушек, рвутся, ударяясь о поверхность, поднимая коротенькие столбики воды, стучат о камни пулеметные пули. Однако опасность смерти заставляла острее чувствовать всю прелесть жизни, каждое ее дыхание.

Надо было ежедневно ходить в городок за водой, хлебом и продуктами. Днем этого делать было нельзя, даже военные

машины ходили в город только по ночам. Теперь фашистские стервятники шныряли по небу, как у себя дома. Каждый человек, замеченный с воздуха немецким летчиком, подвергался пулеметному обстрелу. Нашим самолетам приходилось плохо. Не успевали они подняться в воздух со своего аэродрома и набрать скорость, как со всех сторон на них набрасывались враги, завязывался воздушный бой, выли и стонали виражирующие самолеты.

Лишь солнце склонялось к закату, мы с мамой собирались в поход за водой. Наверх было выбираться лучше: еще светло и идешь увереннее, обернувшись спиной к засыпающему где-то внизу морю. Загудел немецкий самолет, — мы с мамой прижимаемся к скалам и следим за ним. Вот он улетел, наша зенитная батарея выстрелила несколько раз ему вслед. Поднимаемся на край обрыва, дальше гладкое ровное поле, кое-где утыканное невысокими колючими кустами можжевельника. Вот тут-то и начинается наша «фронтовая жизнь». Мы никак не можем оторваться от спасительного обрыва: только сделаем шаг — смотрим, летят по небу с одной, с другой, с третьей стороны вражеские самолеты. Прячемся и ждем. Вот уже солнце опустилось за море, начинают сгущаться сумерки, ну, кажется, в воздухе стало спокойнее. Идем! И мы спешно двигаемся по дороге. Дорога изрыта воронками от бомб и снарядов.

Путь наш лежит мимо зенитной батареи. Это самое опасное место, страшно оказаться здесь в тот момент, когда батарею бомбят. Приближается немецкий самолет — бросаемся на землю и лежим недвижно. Пролетел, не заметил. Поднимаемся и идем дальше.

Снова вражеские самолеты, да много! Мы с мамой прибавляем шагу, пройдена почти половина дороги, возвращаться обратно поздно. Ах, хотя бы не бомбили батарею, мы как раз проходим мимо нее! Ревут моторы, воют пикирующие самолеты, резкий свист бомб — и мы тут же, беззащитные, на открытой дороге в зоне бомбежки. Мгновенно бросаемся к кустам и падаем в них, прямо на ветки колючего можжевельника. Мама шепчет: «Пресвятая богородица, спаси нас!..» и еще какие-то слова. Во время взрывов голос ее прерывается. После каждого взрыва облегчение: этот не задел! Но уже режет сердце свист другой летящей бомбы…

Затихло… Отбомбили и улетели. Мы вырываемся из цепких объятий можжевельника, вытаскиваем из обнаженных рук и ног колючки. Дальше, дальше! Но вот городок — спасительная пристань на нашем пути. Тут все же стены, дома, не открытое

поле.

Вид теперь у городка потрепанный. В комнату Ани попала небольшая бомба, в соседнюю комнату — снаряд. Во дворе к воронкам от бомб прибавились еще и воронки от снарядов. Дом, стоящий рядом с нашим, разбит. На стенах и потолке моей комнаты не осталось и следа штукатурки: вся она лежит на полу.

Если нам удается прийти в городок засветло, то и здесь на каждом шагу подстерегает опасность. Раз десять выхожу на крыльцо, прежде чем улучу момент и пробегу к верхней водокачке. Самолеты вьются над городком, просматривают, что тут делается. Заметят — пулеметная очередь.

Пока наливается вода, разговариваю с краснофлотцами, обслуживающими водокачку, о делах на фронте, — а глаза наши в небе. Летит! Прижимаемся к стене. Пролетел… Беру бутыли и иду скорей под крышу, в свою комнату. Только хочу выйти — как над самым городком завязывается воздушный бой, во дворе взрываются авиационные снарядики, пулеметные пули стучат по земле, как град, кажется, что они летают и по комнате.

Окончился бой. Перебегаю от дома к дому, держась вплотную к стенам: так передвигаются теперь все. Захожу в канцелярию казармы, звоню мужу. Он уже ждет моего звонка…

Однажды Борис мне сказал:

— Жекачка, мои товарищи уговаривают меня, чтобы я эвакуировал тебя на подводной лодке. Согласна?

Я ответила, что поговорю с родными.

Отец и мать не согласились. Муж больше не заводил об этом разговора, не настаивал — и я молчала.

Иду в пекарню, в магазин. Наконец, окончены все дела. Мама берет свой чайник и сумку с продуктами, которую она будет нести до обрыва, у меня в обеих руках бутыли с водой.

Уже стемнело. Обратный путь гораздо спокойней. Однако мы идем медленно и осторожно, теперь взгляд наш обращен на землю, стараемся в темноте разглядеть встречающиеся по дороге предметы. С немецких самолетов разбрасываются противопехотные мины, наступишь — и конец. Но вот и спасительный обрыв, наше верное убежище, наш родной дом.

Тяжелый поход окончен, перед нами целые сутки «спокойной жизни». Свалиться в обрыв не боимся, это «мелочь». С половины дороги я начинаю свои цирковые упражнения: стоя на камне, осторожно протягиваю ногу и нащупываю другой камень, затем прыгаю на него, балансирую обоими бутылями. Мама, придерживаясь левой рукой за выступы скалы, осторожно спускается. Наконец, вздох полного облегчения: мы у себя дома. Папа радостно нас приветствует, каждый раз он с тревогой

ожидает нашего возвращения. И так каждый день.

Некоторые жители возвращаются раньше, другие позже, ходят в одиночку или группами по два-три человека, не больше. Как-то пошли сразу человек пять, их заметил самолет и обстрелял из пулемета, к счастью, никого не задело.

Поужинав, придвигаемся ближе друг к другу и ведем тихие беседы. Если кто-нибудь вздумает закурить и начинает высекать огонь с помощью кремня и куска стали, а потом не прикроет рукой папироску — жена Воронцова кричит:

— Что вы делаете? Спрячьте папиросу, самолет может увидеть!

Светомаскировку приходилось соблюдать самую строжайшую.

Но вот слышны орудийные выстрелы на море. Это наши боевые корабли возвращаются на Кавказ и на ходу, до последнего предела досягаемости, продолжают стрелять по немецким позициям. Когда эскадра, огибая мыс Херсонес, проходит в море мимо нашего убежища, мощные вспышки огня слепят, гром выстрелов оглушает еще сильнее, чем взрывы бомб. Кажется, что нас сейчас, как мух, расплющит воздух. Но нас это не пугает. Мы рады: корабельные орудия бьют по врагу.

Первые жертвы в городке

Под наши скалы начали переселяться раненые: целый госпиталь какой-то части перебрался сюда.

Раненым приносили еду, но из-за бомбежек не всегда регулярно. Иногда до ночи невозможно было доставить пищу, и мы, чем могли, делились с ранеными. Врачи делали обход, сестры тут же производили перевязки. Участвовали в этом и мы с Наташей. Работы на огородах прекратились, и теперь сама жизнь призвала нас к работе медицинских сестер.

Мы старались помочь раненым всем, что было в наших силах: перевязывали, поили чаем, угощали молоком, оладьями, лапшой. Часто днем читали вслух книги. Я достала «Морские рассказы» Станюковича, пользовалась вниманием и книга «Париж» Золя. С продовольствием становилось все туже, и чтение этой книги вызывало восклицания: «Нет, вы послушайте, как он описывает колбасный магазин! А сыр!.. А паштеты!..»

К пещере над нами соорудили деревянную лестницу. Там поселился начсостав хозяйственной части. Перебрались под скалы и многие командиры и бойцы тыловых подразделений пехоты. «Жилплощадь» была занята, стало тесно, но ведь свежего

морского воздуха хватало на всех.

Иногда по вечерам к обрыву подходили машины и увозили раненых в Камышевую бухту на корабли, а под скалами появлялись новые раненые. Теперь в Севастополе и около него фронтом была каждая пядь земли.

Пекарню в нашем городке несколько раз разрушали, и тогда нам выдавали муку. Но краснофлотцы восстанавливали пекарню и опять пекли хлеб. Работавшие в городке военные и гражданские сделались истерзанными и замученными людьми. Однажды после бомбежки городка к нам под скалы прибежала буфетчица авиачасти. Из раны на лбу текла по щекам и заливала грудь алая кровь. Захлебываясь рыданиями, буфетчица рассказа. — ла, что едва успела добежать до скал.

— Жутко бомбят городок! Бомба попала в кают-компанию, обрушилась стена, которая погребла под собой вашего мужа, он убит, — говорила она, обращаясь к поварихе.

Мы с Наташей промыли буфетчице рану и убедились в том, что она не опасная. Смазали йодом, забинтовали, дали валерьянки, и буфетчица постепенно успокоилась.

Она была первой из пострадавших жителей нашего городка. С этого началось.

Через некоторое время приковылял чудом оставшийся в живых муж поварихи. Воздух со свистом и хрипом вырывался из его легких, на подбородке была глубокая рваная рана, забитая песком. Он выжил, но нам с Наташей пришлось долго с ним повозиться.

У нас под скалами жила старушка с двумя внучатами — девочкой лет шести и четырнадцатилетним мальчиком. Дочь ее работала поварихой в авиачасти и приходила под скалы только ночевать, зять — командир, находился со своим подразделением в леске за нижней водокачкой.

И вот эта старушка, придя под вечер в городок, встретила девушек, работавших в батарейной прачечной, и стала звать в поле: там, мол, лежат два красивых лакированных чемоданчика, перевязанных цветными ленточками. Прачки отправились с ней (недаром говорят, что любопытство — порок!), но к их счастью стемнело и, пройдя немного, они решили вернуться. В ту ночь старушка осталась ночевать в городке и, видимо, чемоданчики не давали ей покоя. Едва забрезжил рассвет, как она отправилась в поле, подобрала эти чемоданчики, принесла их в столовую и положила на окно. Потом, желая, видимо, похвастать находкой, она позвала из кухни всех, кто там был: свою дочь, двух поваров и кухонного рабочего, и никто из них не оказался умнее этой

старушки. Пять взрослых с любопытством окружили подоконник, маленькая дочь поварихи держалась за юбку матери. Старушка взяла один чемоданчик и развязала ленточку… Мгновенно под действием пружины подскочила крышка, и раздался оглушительный взрыв, вслед за ним от детонации взорвалась вторая противопехотная мина.

Столовую заволокло едким дымом. Сбежавшиеся на взрыв люди увидели в рассеявшемся дыму в огромной луже крови пять искалеченных трупов и среди них живую и невредимую маленькую девочку. Бедная девочка лишилась сразу и бабушки и матери. Она осталась жива благодаря своему маленькому росту и тому, что стояла под самым подоконником, осколки и воздушная волна прошли над ней. Сиротка продолжала жить у нас под скалами, мы все о ней заботились. Мальчика отец взял к себе в окопы.

Теперь почти все работавшие в городке на ночь приходили под скалы. Как-то под вечер, хромая, пришел чабан, пасший овец подсобного хозяйства батареи. На обеих ногах у него оказались небольшие осколочные раны. Каждый день мы с Наташей лечили и перевязывали «своих» раненых, они были исключительно на нашем попечении.

Пришла еще одна печальная весть: был найден в поле убитым пулеметной пулей в затылок мальчик Коля, четырнадцатилетний помощник чабана. Пася овец, он ложился на траву и стрелял из винтовки по пролетавшим вражеским самолетам. Один «мессершмитт» заметил Колю, и посылал в него пулеметные очереди до тех пор, пока не убил. Как сейчас вижу задорное курносое лицо мальчика и пряди белых, как лен, волос, выбивающихся из-под бескозырки.

Ночная поездка в город

Теперь, когда мы появлялись над обрывом, чтобы идти за водой, перед нами открывалась картина, чрезвычайно похожая на панораму Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Плотной сплошной стеной высоко в небе стоял белый дым, окружая город полукольцом. Над городом вздымались в небо и плыли по ветру густые тучи черного дыма, они клубились, переплетались, смешивались с белым, окрашивались розоватым цветом пламени. С наступлением темноты красное зарево стояло над городом, то там, то тут оно ярче вспыхивало и шире растекалось по небу. Город горел с начала третьего штурма.

Мы видели ясно, что кольцо белого дыма сжимается и придвигается ближе и ближе… Отдельные взрывы на

Балаклавском направлении стали переваливать через последние горы и появляться на краю нашей равнины. Такая картина не могла не наводить на грустные размышления. Мы лихорадочно ждали прихода капитана, приносившего последние сводки с фронта. При его появлении все, от мала до велика, бросались к нему: «Что нового?» Сводки были неутешительные: наши части после ожесточенных боев отступают на новые рубежи. Но никто из нас не приходил к мысли о том, что Севастополь будет сдан. Если появлялись по временам сомнения, каждый старался их отогнать. Ведь отбили два жестоких штурма, почему же не будет отбит и третий? Все мы, начиная с капитана и кончая маленьким Женей, говорили: не сдадут никогда, ни за что не сдадут!..

С тех пор, как начался третий штурм, нас не оставляла мысль о Екатерине Дмитриевне и Степане Николаевиче. Живы ли они? Мы с мамой решили поехать в город.

Майор из хозчасти, жилец маленькой верхней пещерки, согласился взять нас с собой в автобус, который отправлялся за продуктами. Мы запаслись буханкой хлеба и большим чайником с водой. Шоферы рассказывали, что люди в городе мучаются без воды, так как водопровод разбит. Они подбегают с посудой к машинам и просят воды у шоферов.

Мы надеялись, что удастся разыскать Влайковых и привезти под скалы. Но надежды не оправдались.

И лишь впоследствии Екатерина Дмитриевна рассказала нам о происшедшем. Она и Степан Николаевич сидели в убежище под домом, когда бомба попала прямо в их столовую, пробила пол и взорвалась в подвале. На счастье, они находились в другом конце убежища. Степану Николаевичу, лежавшему на кушетке, перебило осколками обе ноги, Екатерину Дмитриевну не затронуло. Убило семь человек, среди них была старая караимка Эрак со своей дочерью Нюсей, которых я помнила с самого раннего детства. Одну девушку придавило камнями, она страшно кричала, пока ее не вытащили. Степан Николаевич не захотел, чтобы его несли, и сам на локтях выполз по лестнице из подвала. Обессиленный, он лежал во дворе, и в это время возле него упала зажигательная бомба. Екатерина Дмитриевна тушила ее землей и песком и не заметила, как обожгла себе ногу. Потом пришли люди с носилками из санитарного пункта и отнесли Степана Николаевича в подвал Покровской церкви, а на другой день отвезли в Камышевую бухту. 7 июня его эвакуировали на Кавказ.

Екатерина Дмитриевна с соседями перебралась в небольшое бомбоубежище в скале под Пролетарским спуском (ныне Суворовская улица), напротив нашего дома. Ей удалось перетащить туда кое-какие вещи из своей разбомбленной

квартиры.

— Если бы ты знала, — рассказывала позже Екатерина Дмитриевна, — что мы пережили, когда загорелся весь город! Дымом и огнем нас, как сурков, выкурило из бомбоубежища, почти все мои вещи, оставленные Там, сгорели. Я схватила чемодан, и мы бросились бежать, со всех сторон дым, жар нестерпимый. Добежали до дома портного Рожанского, заскочили к нему, но не успели посидеть и пяти минут, как и его дом загорелся… Я побежала на горку, бросила чемодан за какую-то стену — представь, он там сохранился. Это был ад. Мы метались по улицам, как безумные: горят дома, развалины, телеграфные столбы, провода, деревья, пламя сходится над головой, лица обдает жаром, глаза разъедает дымом, дышать нечем, всюду клубы черного дыма и языки пламени, и в это же время со свистом и грохотом летят и рвутся фугасные бомбы, а зажигательные все падают и падают, как огненный дождь, с неба. Куда бежать, где спасаться?..

Но вернусь к рассказу о нашей поездке в город.

Ночь была безлунная. В черном небе шарили голубые прожекторные лучи, то там, то тут взрывались бомбы. Бомбежка была уже не так сильна, но над головой все время гудели моторы вражеских самолетов.

Подъезжаем к больнице, едем по Херсонесскому спуску вниз. В бледном свете звезд стоят, куда ни глянешь, как черепа с зияющими глазницами, полуразвалившиеся и сгоревшие дома. Сворачиваем вправо к костелу: Херсонесский мост разбит, проезда нет. Нам надо попасть к складам на Гоголевской улице, за Историческим бульваром, где начинается дорога на Балаклаву. Едем дальше — все то же, выдвигаются из темноты мрачные, безжизненные остовы домов. Проезжаем мимо уцелевшего костела, и мне кажется, что этот костел стоит теперь не в городе, а на большом погосте… Но вот мы у цели. Автобус лезет на гору в какие-то ворота, черные силуэты шныряют перед нами, кто-то бежит к машине и кричит:

— Стоп! Дальше ехать нельзя, там неразорвавшаяся тонная бомба.

Шофер сдает назад и разворачивает машину. Наши военные спутники во главе с майором убегают и поглощаются мраком, оттуда доносятся лишь отдельные слова. По небу медленно и низко, тарахтя, пролетают «кукурузники». А в это время совсем близко рвутся снаряды, осколки разлетаются по камням мостовой, горя голубым светом, как град, стучат по крыше автобуса. Широким потоком летят, догоняя друг друга,

разноцветные трассирующие пули вражеских автоматических зениток, едва не смешиваясь с более узкими струями наших. До чего же приблизился фронт! Кажется, что он проходит по городу.

И все же город не умер, еще жива его душа. Это видится в энергичных движениях черных силуэтов, перебегающих по двору, куда-то спешащих и чем-то занятых, это слышится и в беспрерывном громе пальбы, грохоте рвущихся снарядов. Сражение продолжается.

К автобусу подбегает майор, остальные тащат мешки с продуктами, все спешат. Майор обращается к нам:

— Если хотите, мы подъедем к дому ваших друзей, только вряд ли вы кого-нибудь найдете. Видите — все разрушено и сгорело. Жители сейчас скрываются в разных штольнях, пещерах и убежищах в скалах. Кроме того, тогда нам придется ехать через базар, а этот район сейчас обстреливается сверхтяжелой артиллерией.

Но мы и сами поняли, что нам никого не найти. Глухой ночью вернулись в городок. В нервном напряжении меряем с мамой шагами нашу комнату. Выходим на крыльцо и вглядываемся в горизонт. По временам сильный взрыв потрясает землю и дом. Ждем первых проблесков рассвета. Нам есть о чем беспокоиться: ночью идти мимо зенитной батареи нельзя, хождение воспрещено. Надо выйти с первыми проблесками рассвета и попасть к скалам до начала бомбежки.

Но вот появилась едва заметная светлая полоска на горизонте, и быстро, как это бывает на юге, стала рассеиваться темнота ночи. Пора… До скал километр, успеем ли мы проскочить? Мы идем с мамой быстро, несем, как обычно, бутыли с водой. Знаем, папа не спал всю ночь, с тревогой в сердце ожидая рассвета «и нас. Проходим зенитную, отчетливо в синем воздухе вырисовываются тонкие стволы пушек, направленных в небо. Уже слышится далекий гул вражеских самолетов. Но вот и спасительные скалы, мы напрягаем силы и еще ускоряем шаг. Приятное чувство охватывает нас, когда мы благополучно достигаем скал, словно тяжесть свалилась с плеч. Быстро спускаемся вниз. Побледневшее тусклое море еще не подернулось золотом восходящего солнца. Папа поднимается навстречу, будто чья-то невидимая рука стерла с его лица тревожно-угрюмое выражение. Радостно блеснули его темно-карие глаза. «Наконец-то!» — он крепко обнимает и целует маму и меня. В это время над нашей головой нарастает пронизывающий свист первой утренней бомбы.

Бомбежка госпиталя в Камышевой бухте. Гибель 30-и

батареи. ПОДВИГ Девитярова

Кто-то принес известие, что ранен Шевкет и находится в госпитале в Камышевой бухте. Не так давно Шевкет перешел на военную службу, переоделся в краснофлотскую форму и принял передвижной магазин на автомашине. Наш магазин в городке он передал новой заведующей — Лиде Приходько.

Шевкет и двое краснофлотцев стояли у передвижного магазина, кагда начали бомбить Камышевую. Один краснофлотец был убит наповал, другому оторвало ногу, а Шевкета, успевшего упасть на землю, ранило осколком в ногу. Его перенесли в госпиталь на третий этаж, положили на полу возле койки, так как не было свободных мест. Прошло не больше часа, как начали снова бомбить госпиталь. Раненые, кто только в силах был подняться с койки, поспешили спуститься вниз. Одни шли по лестнице, придерживаясь за перила, другие ползли, скатывались со ступенек. Кто совсем не мог подняться, остался лежать. Шевкет залез под койку.

Его трясло и качало на полу, как на палубе корабля, попавшего в сильнейший шторм. Свистели и взрывались бомбы. Сверху что-то с грохотом рушилось — штукатурка, камни, балки. В клубах дыма и пыли раненый едва не задохнулся. Под кроватью стало вдруг темно, как будто наступила ночь. Шевкет потерял сознание.

Внезапно наступившая тишина вернула его к действительности; охватил страх — заживо погребен! Шевкет протягивал руки — натыкался на камни. Лихорадочно стал разгребать их… Вскоре блеснул дневной свет. Шевкет выполз наружу. Все было исковеркано и разрушено; под тяжестью камней и обломков дерева лежали убитые на своих кроватях раненые. Шевкет стал кричать и звать на помощь. Наконец, во дворе кто-то его услышал, к окну приставили лестницу, по которой взобрался краснофлотец..

— Ты жив? — спросил он, появившись в пустом проеме окна. — А мы думали, что здесь никого в живых не осталось.

С большими трудностями спустили Шевкета с третьего этажа разрушенного здания госпиталя и перенесли в одну из пещер, где лежали оставшиеся в живых раненые. Здесь и нашла его Шура. Ночью Шура вернулась. Вслед за ней с раненым Шевкетом на плечах, низко согнувшись под тяжелой ношей и осторожно переступая с камня на камень, шел его друг — краснофлотец Файтанджи.

Все больше и больше прибывало под скалы раненых. Все чаще по вечерам подходила к обрыву машина и увозила их в

Камышевую бухту для эвакуации. Но число раненых не уменьшалось, а увеличивалось.

Нам рассказывали, — да и сводки об этом говорили, — что по всей линии фронта идут беспрерывные ожесточенные бои. Десять, пятнадцать немецких атак в день сменяются нашими контратаками: блиндажи, окопы, высоты по нескольку раз в день переходят из рук в руки. В кровавых боях фашисты завоевывали не километры, а метры севастопольской земли.

Тридцатую батарею капитана Александера немцы засыпали снарядами сверхтяжелой артиллерии. Поврежденные за день орудия ночью починялись краснофлотцами, и наутро батарея снова стреляла. Но когда наши части стали постепенно отходить, 30-я батарея оказалась окруженной.

Капитан Матушенко рассказывал, что до 22 июня к нему на батарею возле Константиновского равелина, которой он теперь командовал, приходили отдельные прорвавшиеся бойцы. Они говорили, что на 30-й батарее оставалось человек четыреста (вместе с морскими пехотинцами и бойцами Приморской Армии). Помкомбат Василий Окунев погиб на командном пункте батареи, который немцам удалось забросать гранатами.

Немцы поставили у выхода из-под массива танк, думая запереть гарнизон. Но по ночам моряки группами в пятьдесят-шестьдесят человек со страшным шумом, стрельбой, криком, бросая гранаты, пробивались сквозь блокаду. Десять-двадцать человек прорывались живыми, остальные были убиты или попадали в плен ранеными. Тогда гитлеровцы стали лить бензин в щели, бросать дымовые шашки. Наконец на 30-й произошло два больших взрыва. Мы слышали грохот, видели огонь и дым. Стало ясно, что оставшиеся на батарее моряки и пехотинцы взорвали себя.

Бесчисленное множество подвигов совершали в те дни защитники Севастополя. Весть об этих подвигах быстро разносилась, передавалась из уст в уста.

Как-то перед рассветом к нам под скалы принесли раненых с передовой, среди которых находился сержант Ахтиаров. Днем, в перерыве между бомбежками, он рассказал нам о подвиге связиста его части Девитярова.

— Мы сидели в окопах, ждали немецкой атаки, — говорил Ахтиаров, — пятой или шестой в этот день, точно не помню. Перед окопами валялись трупы убитых нами фашистов. От взрывов бомб и снарядов земля дрожала. Наша артиллерия молчала — берегли снаряды. Вот замолкли и пулеметы: кончились ленты. Прервалась связь с соседней частью. Внезапно вражеский огонь был перенесен в глубь обороны. Мы увидели

немецких солдат. Они бежали к нашим окопам: пьяные полуголые, озверелые, что-то орали, беспорядочно стреляли из автоматов. Психическая атака! Этим нас не запугаешь. Но немцев было много, гораздо больше, чем нас.

Я слышал, как в этот момент наш командир отдал приказание Девитярову: восстановить связь с соседней частью.

В предыдущей атаке мы истратили почти все автоматные и винтовочные патроны, били теперь редко, наверняка. Приходилось без выстрела подпускать немцев почти вплотную к окопам. Приготовив гранаты, ждали команду. Вот уже совсем близко… Командир крикнул: «За Родину! За Севастополь!» и бросил гранату. Не давая немцам опомниться, едва не попав под осколки собственных гранат, мы выскочили из окопов… Во время штыкового боя я упал, был ранен в бедро. Хотел вскочить, но от боли потемнело в глазах, и я снова упал.

Приподнявшись на локте, я оглянулся: наши теснили немцев в сторону от окопов. Вправо увидел Девитярова. Пригнувшись, он бежал через поляну: хотел восстановить линию связи. Вдруг я заметил, что вслед за ним от куста к кусту перебегают немецкие автоматчики, стремятся его окружить. Девитяров же ничего не замечал. Я опять попытался вскочить и чуть не потерял сознание. Видел, как охотятся за товарищем, но ничем, ничем не мог ему помочь! Я стал орать: «Девитяров! Обернись, черт! Обернись, дьявол!» Он, конечно, не слышал меня, но внезапно обернулся, заметил автоматчиков и бросился в кусты.

Автоматчики сжимали кольцо. Но вот пошатнулся и упал один из них, сраженный пулей Девитярова. Через минуту свалился второй. Третий выронил из рук автомат, схватился за бок и побежал назад. Остальные попятились и скрылись.

Вдруг я увидел немецкий танк. Он-то и высадил в нашем расположении десант автоматчиков. Танк помчался по поляне туда, где скрылся Девитяров. В это время невдалеке разорвался снаряд, взрывной волной меня подхватило и ударило о землю. С минуту я не мог пошевелиться, скованный страшной болью, потом опять приподнялся.

Ветер рассеял дым, и я увидел Девитярова. Он стоял возле куста и подвязывал к поясу гранаты. Я все понял!..

Потом он вскинул голову и ринулся навстречу танку… Блеснул огонь, раздался взрыв. Подбитый танк остановился…

Ахтиаров умолк. Потом тихо заключил:

— А сколько есть таких, как Девитяров, о подвигах которых могут рассказать лишь земля да обгоревшие камни…

Мы с Наташей занялись перевязкой раненых. Я все украдкой поглядывала на Ахтиарова: он полулежал, прислонившись к

скале, его глаза были устремлены на море, туда, где синела линия горизонта. Плотно сжатые, резко очерченные губы и темные брови, сдвинутые к переносице, придавали болезненно изможденному лицу суровое выражение. Нога, похожая на колоду, была прибинтована к шине. Рана причиняла Ахтиарову большие страдания, но он переносил их стоически — так как и другие. Постелью раненым служили скалы да солдатская шинель. Только одно преимущество было здесь перед Инкерманским госпиталем — это свежий, чистый морской воздух.

Запоздалые попытки эвакуироваться

Почти, месяц, как немецко-фашистские войска штурмуют Севастополь, и все же он жив, и мы привыкли к вечному грохоту, орудийной пальбе, постоянной опасности. Теперь я знаю, что это были последние дни Севастополя, но тогда… Тогда мы ничего не знали и не хотели знать. И если я говорю — мы, то имею в виду не только нас, но решительно всех, кто находился на территории осажденного Севастополя и его окрестностей. Однако сводки были все более неутешительными. Теперь каждый день наши части оставляли то одну, то другую позицию. По всему чувствовалось, насколько серьезно положение.

Если раньше 75-я тяжелая зенитная батарея над нашей головой стреляла, не жалея снарядов, даже по одному самолету, то теперь, когда вражеские самолеты налетали стаями и засыпали ее бомбами, зенитки молчали. Только одиночные выстрелы говорили о том, что батарея жива и не сдается, но стрелять ей нечем.

В Севастополе было два аэродрома: на мысе Херсонес и на Куликовом поле, у самого города. Фашисты засыпали эти аэродромы снарядами и бомбами. И все же в этом аду наши героические летчики умудрялись поднимать в воздух свои самолеты. Не успевал летчик набрать высоту, как на него набрасывались вражеские стервятники. Но летчики не отступали, дрались один против десяти, даже прорывались, летали на линию фронта и за нее, бомбили немецкие позиции и тылы!

Но в неравных боях гибли самолеты и летчики, не было им замены, а гитлеровцы все получали и получали подкрепления…

Во время третьего штурма корабли не могли поддержать огнем нашу оборону, как это бывало раньше. Тут сыграли роль преимущество немцев в воздухе, большая протяженность пути от кавказских берегов в Севастополь, нападения вражеских торпедоносцев, подводных лодок и торпедных катеров, что создавало для нас угрозу потери военного флота.

В последнее время снаряды и горючее подвозили в основном подводные лодки. А много ли можно так подвезти?

Мысли об эвакуации посещали нас все чаще. Жена шофера с маленьким ребенком решила улететь на самолете и стала собираться в путь. Думала было улететь и повариха с раненым мужем и взрослой дочерью, да никак не могла принять решения и провозилась со своим отъездом до последнего дня. Я позвонила Борису и спросила, нельзя ли нам эвакуироваться на самолете. На 35-й батарее теперь жило немало летчиков. Борис сказал, что узнает.

Наш Женя постоянно бегал с детьми к бухточке, где стоял катер-охотник. Капитан возил детей на лодке на катер, показывал им свое хозяйство и угощал обедом. Я попросила Женю позвать к нам капитана.

Капитан пришел. Увидя папу, он радостно воскликнул:

— Петр Яковлевич, и вы здесь!

Оказалось, что капитан был курсантом училища Береговой обороны, в те годы, когда папа там преподавал. Я стала просить капитана, чтобы он забрал нас на катер и отвез на Кавказ. Капитан ответил:

— Кого-нибудь другого я бы не взял, но Петра Яковлевича с его семьей возьму обязательно. Только сейчас я иду по очень опасному заданию, если вернусь целым, то через два дня заберу вас на катер и отвезу на Кавказ.

Папа согласен был уехать. Но катер-охотник не вернулся с задания.

28 июля мы узнали о смерти доярки Фроси, ездившей со мной в Инкерманский госпиталь к своему раненому мужу. Фрося была убита в поле недалеко от обрыва осколком бомбы. Краснофлотцы ее похоронили.

Потрясающий удар

29 июня мы вышли из-под скал и отправились за водой, когда уже совсем стемнело. Но что это? Откуда-то с моря, со стороны Кавказа, начали лететь чередой один за другим огромные транспортные самолеты. Они резко снижались и выбрасывали белые парашюты с каким-то грузом (как мы узнали позже, это были снаряды и продукты). Затем поворачивали к Херсонесскому мысу, делали круг и летели обратно на Кавказ.

Набрав воды в городке, мы пошли обратно. Поток самолетов не прекращался. Я никогда в жизни не видела такого «воздушного движения», небо как будто превратилось в московскую улицу, по которой одна за другой проносятся автомашины.

Позже мы узнали, что эти транспортные самолеты должны были приземлиться на аэродроме и провести частичную эвакуацию раненых, войск и населения, но из-за бешеного обстрела аэродрома четырнадцатидюймовыми снарядами получили приказ не снижаться.

На другой день, 30 июня, мы вышли в свой рейс в густые сумерки. Когда подходили к городку, нас поразили шум и крики на дороге. Приблизившись, увидели темные силуэты повозок, конных и пеших людей, которые лавиной двигались по направлению мыса Херсонес. Что это может быть? Но мысль о том, что наступает конец, не пришла мне в голову.

В магазине застали Воронцова и прачек. Лида Приходько отпускала продукты. Когда дошла до нас очередь, мы взяли то, что нам было нужно, расплатились, и, выйдя из магазина, почти столкнулись с комендантом городка воентехником Бордюком.

— Товарищ Мельник, — сказал Бордюк, обращаясь ко мне, — ваш муж просил меня привезти вас на батарею. Моя машина уйдет через двадцать минут, даю вам двадцать минут срока.

Я остановилась, оглушенная и онемевшая.

— Севастополь оставляют, вы понимаете? Мельник просил, чтобы вы эвакуировались вместе с ним. Помните — я жду вас не больше двадцати минут. Не теряйте времени!

Если бы земля разверзлась у моих ног, это, наверное, не поразило бы меня сильнее. Севастополь сдают! Отчаяние захлестнуло волной, словно чья-то безжалостная рука сжала сердце. Что же делать?

Мои любимые отец и мать останутся одни под скалами, под властью ненавистного врага. А маленький Женя?

— Пусть маленький Женя останется с нами, — сказала мама.

Я не протестовала: знала, что будет собою представлять последняя эвакуация…

Надо решать немедленно; документы под скалами, нужно их забрать, а я понимала, что за двадцать минут мне не успеть.

— Мама, что делать?

— Иди… Иди к Борису, уезжай.

— Что же делать? Ну а вы, как вы останетесь одни, что будет с вами?

— Не думай о нас, если суждено — останемся живы, а ты иди к Борису, уезжай.

Мы говорили громко, на весь двор, а в ушах настойчиво звенят слова Бордюка: «Даю вам двадцать минут срока».

Я бросилась к маме на шею.

— Прощай!

Материнское сердце! На какую жертву не способно оно ради

счастья своих детей!

В последний раз мы обнялись. Я побежала, остановилась, обернулась… Темный силуэт матери медленно удалялся, и мне показалось, что мать тает, как видение, в легком голубоватом тумане, поднявшемся с моря.

Я бежала полем по темной пустынной дороге. Стоны вырывались из моей груди, глаза были широко открыты, но я бежала, не глядя под ноги, спотыкаясь о камни, забыв о существовании противопехотных мин, с гнетущим сознанием того, что бросаю беспомощных стариков и ребенка… Как поступить правильно, "как неправильно? Я знала только одно — последняя эвакуация в создавшейся обстановке — огромный риск для жизни даже самой молодой и самой сильной.

Последний поворот — и я под скалами. Рыдания душили меня.

— Севастополь оставляют! — крикнула я, и слезы потоком хлынули из глаз.

Подошел ко мне папа. Я бросилась к нему на шею, но долго прощаться нет времени. Схватив свой рюкзак, приготовленный еще с начала осады, с помощью папы надела его на плечи, лихорадочно искала сумку, где у меня хранились почти все документы.

— Не оставляйте моих родных, помогите им выйти из-под скал, прощайте! — крикнула я всем.

К последнему оплоту

Нагрузившись вещами, уходили и наши девушки прачки. Я бросилась их догонять. На машину Бордюка мы давно опоздали, в этом нет сомнений. Направились прямо к 35-й батарее.

Не помню, как мы прошли поле и вышли на шоссе.

Что творилось на дороге! Крик, шум, ругань. Возницы настегивают лошадей, красноармейцы с факелами в руках освещают дорогу. И эти коптящие факелы, желтым светом прорезающие ночную тьму после года строжайшей светомаскировки, говорили о многом без слов.

Кучками ковыляют раненые с перевязанными головами, руками, ногами, с темными пятнами, свежей крови, проступающей сквозь бинты. Одни опираются на винтовки, других поддерживают товарищи, третьи вместо костылей приспособили палки. На развилке дорог нас остановила группа раненых.

— Где дорога в Камышевую бухту?

Мы им указали вправо, а сами свернули влево — на проселок, ведущий к 35-й батарее.

Мы шли по краю дороги вместе с отступавшими войсками. Все неслось к последнему оплоту — 35-й батарее. Местность мне показалась изменившейся и незнакомой, будто в каком-то диком танце заплясало все: люди, машины, лошади, пушки, дома и даже сама земля.

Наконец взобрались на гору и подошли к массиву батареи. Здесь я еще никогда не была. Огромная толпа военных запрудила вход. Мы протиснулись к двери.

В узком коридоре, ярко освещенном электричеством, взад и вперед ходили моряки из дивизиона береговой обороны. Я сделала несколько нерешительных шагов и обратилась к кому-то:

— Где Мельник? Позовите, пожалуйста, Мельника!

— Мельник в башне, сейчас позову.

Прачек увели куда-то их друзья краснофлотцы, а я осталась. Через пять минут Борис был возле меня. Он повел меня узким, похожим на корабельный коридором, уходящим в глубь земли. Везде горел яркий электрический свет, по стенам в несколько рядов протянулись провода разной толщины. Помню до блеска начищенную, как на корабле, медь и под ногами деревянный переплет настилов. У меня было такое ощущение, будто я попала на корабль, и это чувство не уходило до тех пор, пока батарея жила.

Борис ввел меня в комнату, стены и потолок которой были выкрашены голубой краской цвета утреннего моря, вдоль стен в два яруса расположены койки; и называлось это помещение не комнатой, а каютой.

— Сегодня идет эвакуация в Камышевой бухте, — сказал Борис, — завтра будет последняя эвакуация отсюда, с нашей пристани. Ложись отдохни на этой койке.

Я его перебила:

— Борис, давай все же возьмем Женю. Можно ведь отвезти его к твоему дяде в Казахстан. Пошли кого-нибудь за ним!

— Я и хотел тебе сказать, — ответил Борис, — что сейчас отправлю за ним краснофлотца.

Вошедший в это время капитан Цветков из дивизиона береговой обороны попросил привести и Наташу.

Я осталась одна, легла на койку и уставилась глазами в потолок. Как рваные мрачные тучи, гонимые осенним ветром, проносились обрывки мыслей, я не могла их собрать вместе и не могла еще ясно ничего осознать, кроме одного: произошла страшная, непоправимая катастрофа, брошены черной ночью под скалами старики-родители… О, какая это была пытка!

Не выдержав душевной боли, я застонала и всхлипнула. Потом снова обратила свой взгляд к потолку, и мрачные мысли опять возникали откуда-то из пустоты и уходили в пустоту.

Иногда забегал ко мне муж.

— У нас осталось три снаряда, — говорил Борис, — все подготовлено к взрыву, мы выпустим их по врагу и взорвем батарею.

Часа в четыре ночи краснофлотец привел маленького Женю, а Наташу отвели на правый командный пост, где находился друг ее погибшего мужа — капитан Цветков. Жениных вещей краснофлотец не принес, так как не мог ждать, пока бабушка их соберет. Женя был оживлен, почти весел, его десятилетнее сердце воспринимало все происшедшее, как занимательное приключение.

— Ложитесь, засните, — сказал Борис, — и я тоже попробую немного вздремнуть, я давно уже не спал, меня просто валит с ног.

Я видела, что Борис истерзан нравственно и физически.

Борис и Женя заснули, а я лежала с открытыми глазами и спать не могла. Через полчаса Борис поднялся, подошел к моей койке, нагнулся и поцеловал меня в губы. Это был наш последний поцелуй.

Затем пришли прачки, и мы отправились бродить по батарее.

Приоткрыв дверь в одну из комнат, я увидела там капитана Матушенко.

— У меня осталось всего пятнадцать снарядов, — говорил он какому-то майору, — я выпустил их прямой наводкой и начал отступать.

В другой комнате я встретила командира бригады морской пехоты полковника Горпищенко. Его армейская форма была залита кровью. Раненый в бедро, он держался молодцом. Только через два года я узнала, что Горпищенко удалось добраться до Кавказа, но позднее во время нашего наступления он был убит.

Позади себя я услышала, как кто-то сказал охрипшим голосом:

— Из бригады морпехоты Потапова…

Я обернулась и увидела сидящего на ящике краснофлотца в армейской форме и бескозырке, сдвинутой на затылок. Голова и правая рука были у него перевязаны грязными бинтами с алыми пятнами свежей крови, у ног лежал автомат. Его окружили моряки нашей батареи, он что-то рассказывал. Я подошла ближе.

— Немцы высадили десант с Северной стороны, — говорил он, — мы медленно отступали, защищая Суздальскую гору. Нас окружали, а боеприпас кончался.

Скоро пулеметчики, прикрывавшие отход, стали отбиваться гранатами. Потом прекратились взрывы и раздались крики: «Рус, сдавайся!» Мы все видели, как наши пулеметчики подпускали немцев почти вплотную к себе, завлекали их на поле, где были вкопаны противотанковые мины. Думали, гады, живыми в плен матросов взять, да не тут-то было! Немцы подбежали, а пулеметчики все поле в воздух подняли, сами взорвались и фрицев за собой потянули…

— А вот они, — раненый кивнул в сторону морских пехотинцев, примостившихся в углу, — держали круговую оборону на Сапун-горе. Мы штыками прорвались к ним. Счета я, конечно, не вел тем снарядам, что падали на горе, но могу сказать, что не было и метра земли, где бы не взорвался снаряд. Потом мы прорвались к Малахову кургану и встретили там свою часть…

Слушая, я смотрела в угол, где сидели морские пехотинцы, никак не реагировавшие на слова рассказчика. Разрезая ветчину финскими ножами, они делали бутерброды с белым хлебом и с жадностью их поедали. Почти у всех были перевязки, но один из них сидел, прислонившись к стене, и ничего ни ел, только часто подносил к губам флягу с водой. Сквозь разорванную тельняшку виднелась забинтованная грудь. То один, то другой из товарищей протягивал ему бутерброд, но он отрицательно качал головой и снова брался за флягу. Остальные тоже много пили воды, видно, их всех мучила неутолимая жажда.

Как бы отвечая на мои мысли, раненый потаповец, задыхаясь, сказал:

— Я вот тоже пять фляг выпил… а напиться не могу… Дрались мы и без воды и без еды… Немцы заняли водопровод, а колодцев в тех местах нет… солнце палит… даже горло промочить нечем…

Я вернулась в каюту первой башни. Вскоре пришел Борис со своими товарищами. Среди них был старшина Лысенко, переведенный после второго штурма с 30-й батареи на 35-ю. У него мы были в гостях перед войной на майском празднике, когда над 30-й батареей разносились слова песни: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой».

Борис принес шампанское, хлеб, ветчину и шоколад. Он сделал несколько бутербродов и заставил меня и Женю есть. Налил и стакан шампанского.

— На, Женечка, пей, только осторожно. Немного выпить хорошо, но кто сейчас хлебнет лишнее, — предупредил Борис, — тот погибнет. Помни об этом!

Я молча слушала разговоры, которые, закусывая, вели его друзья.

Говорили о гибели 30-й, беспокоились о том, что с 18-й батареи до сих пор никого нет. Я слышала рассказ о командире артдивизиона капитане Постоеве, попавшем в окружение на командном пункте вместе со своими разведчиками и вызвавшими на себя огонь всех батарей дивизиона. Постоев и разведчики были ранены, но пробились к своим.

Рассказывали, что бойцы и командиры других батарей поступали так же — занимали круговую оборону, дрались до последней пули и последней гранаты, вызывали на себя свой артогонь, пробивались штыками или погибали.

Не получая больше ни снарядов, ни продовольствия, ни воды, части Приморской армии и батальоны морской пехоты медленно отступали, защищая каждый метр севастопольской земли, имея лишь пули да штыки против артиллерии, авиации, танков…

Но немногие километры, отделявшие линию нашей обороны от города, достались гитлеровцам дорогой ценой, заставили многих из них смешать свои кости с полуистлевшими костями англичан, французов и турок, штурмовавших Севастополь в прошлом веке.

Прощание с мужем

С рассветом началась бомбежка батареи. Бомбили до темноты. Слышались глухие удары о землю, с потолка сыпалась краска. Казалось, что находишься в каюте корабля, когда огромная океанская волна обрушивается на палубу и сотрясает судно.

Немцам удалось пробить массив батареи в двух местах. Рассказывали о том, что глыбами обрушившегося бетона завален какой-то отсек, где находились политрук Коротков и другие моряки. Никто не знал, погребены ли они заживо или убиты, сдвинуть тонны бетона и земли было невозможно. Сильно контузило командира батареи капитана Лещенко и помощника комбата старшего лейтенанта Вадима Ротенберга.

Стало известно, что в три часа дня город был полностью занят гитлеровцами и отдельные автоматчики уже проникли на мыс Херсонес. Части морской пехоты и Приморской армии отступили и заняли круговую оборону у 35-й батареи. Дальше было море.

Всех, у кого были автоматы и патроны, послали наверх — обороняться. Бориса решили оставить для взрыва батареи.

В этот день 35-я стреляла учебными болванками по своему

городку, занятому немцами. Больше стрелять было нечем.

Явился на батарею начальник водокачки старшина Гайдачук.

— Ночью, — рассказывал он, — немцы заняли лесок за нижней водокачкой. Мы стреляли из окон домов городка. Немцы подтащили огнеметы, подожгли дома.

Небо над нами полыхало, как мартеновская печь, крыши плавились от жара. Мы задыхались в дыму. Городок горит…

Днем Гайдачук побежал полем к батарее. Его преследовали автоматчики, прижали к обрыву, думали взять живым.

— Эх, была не была! — решил Гайдачук и ласточкой метнулся в море. На такой прыжок в мирное время не решился бы даже спортсмен, а Гайдачук и спортсменом-то не был.

Оглушенный старшина выскочил, как пробка, на поверхность и поплыл к батарее. Плыть было тяжело, одежда тянула ко Дну. Но батарея все приближалась. Волна вынесла Гайдачука на берег, к нему подбежали краснофлотцы. Не взяли немцы старшину!..

Вошел Борис. В голосе его чувствовалось сильное нервное напряжение.

— Жекачка, приготовься так, чтобы без промедления, в одну секунду ты смогла идти за мной, когда я скажу, что надо идти. Тебе, наверное, придется самой садиться на корабль. Я не знаю, как и когда смогу эвакуироваться. Я тебе объясню, куда идти и что делать.

Я коротко ответила: «Хорошо». Решила, что сейчас должна беспрекословно подчиняться каждому слову мужа. Я больше ничего не понимаю, а он знает, что надо делать. Теперь он принадлежит только Родине и совсем не принадлежит мне. Мое дело молчать и все исполнять. Я подумала о том, что он будет садиться последним на последний катер и предпочла бы быть с ним… Но ему поручено последнее боевое задание, и не дело жены в такую минуту цепляться за мужа.

По совету Бориса я сшила нечто вроде кошелька с тесемками, положила туда паспорт, трудовую книжку, брачное свидетельство, несколько фотографий и деньги. Затем привязала кошелек к талии. Целый день заучивала адрес дяди Бориса, жившего в Казахстане. Этот адрес был залогом будущей встречи с мужем, если мы потеряем друг друга.

Наконец, наступили сумерки этого страшного дня 1 июля 1942 года, когда немцы уже взяли Севастополь и наседали на Херсонесский мыс. В подземельях 35-й батареи, залитых ярким электрическим светом, можно было догадаться о наступивших сумерках только по прекратившейся бомбежке.

Но вот и ночь опустилась на землю. Старшина Лысенко на клочке бумажки написал мне адрес своих родных.

— Там вам будет хорошо, — говорил он, — поезжайте обязательно к ним.

На всякий случай я спрятала адрес. Мы с Женей сидим в каюте и, приготовившись, ждем… Ах, если бы это была в самом деле каюта на корабле, если бы уже плыть на Кавказ и слышать плеск волны, ударяющей о борт!.

Вдруг я вскочила, как подброшенная электрическим током: в дверях появился Борис:

— Скорей, идем! Настало время взрывать батарею!

Он схватил рюкзак, надел его мне на плечи, я взяла сверток. Молча мы с Женей вышли из каюты вслед за Борисом. Он привел нас в какое-то помещение и остановился. Я стояла против него. Как в тумане, видела его лицо, помню только, что оно было невероятно напряженное.

— Что я могу тебе сказать, — произнес Борис, я не имею права быть с тобой, я должен взрывать батарею… Иди туда, куда будут идти люди…

И он указал мне на люк, из которого виднелись медные поручни трапа.

Смутно вспоминаю я эту сцену. Кажется, мы с ним не попрощались, я коротко ответила «хорошо» так, как если бы получила приказ от командира, повернулась» пошла к трапу, и, не обернувшись больше на мужа, начала спускаться вниз вместе с маленьким Женей.

Я не понимала того, что это последнее наше прощанье. В моих ушах звенели слова: «Иди туда, куда будут идти люди».

Ночь последней эвакуации

Мы спускались с Женей по металлической лестнице в какой-то глубокий, освещенный электричеством колодец. Местами встречались маленькие площадки, на которых можно было отдохнуть. Но вот колодец окончился, и мы попали в потерну — узкий подземный ход. Увидели в стене потерны какую-то маленькую дверь, возле которой шумело и волновалось много моряков.

«Иди туда, куда будут идти люди». Люди хотят войти в эту дверь, значит, и я должна постараться туда проникнуть. Ко мне подошли прачки. Кто-то нам сказал, что отсюда начинается ход к морю, к пристани, где будут пришвартовываться корабли.

Дверь приоткрылась, показалось лицо нашего батарейца старшины Орлова.

— Не волнуйтесь, товарищи, — сказал он, выходя, — всех пропустим на берег моря.

Большие черные глаза старшины грустно и понимающе глядели на нас.

Какая-то женщина тащила, держа за рукав, командира 35-й батареи капитана Лещенко. Китель на капитане был расстегнут. Лещенко шел как-то странно, боком. Я схватила его за край кителя и взмолилась:

— Лещенко! Лещенко! Помогите мне попасть на корабль!

Заглянула в его голубые глаза — они были пусты, взгляд неосмысленный… Моя рука разжалась, я поняла, что Лещенко не слышит и не видит меня, как эта стена потерны: ведь он контужен бомбой. Мгновенная надежда вспыхнула и погасла.

Одна из прачек предложила: «Давайте выберемся из батареи наверх, на пристань». Остальные согласились с этим. Не все ли равно, подумала я, каким путем попасть на пристань? Лишь бы попасть!

Мы пошли дальше и увидели другой колодец, темный, ведущий вверх. Прачки полезли первыми, я пропустила маленького Женю впереди себя, он покорно полез. Трап здесь был уже снят, приходилось подниматься, хватаясь за металлические скобы, вбитые на порядочном расстоянии друг от друга в отвесные стены колодца. Женя, хоть и маленький, но быстро карабкался, а я с тяжелым рюкзаком за плечами и свертком, измученная бессонницей и переживаниями, чувствовала с каждой скобой, как силы покидают меня. Сердце колотилось, я задыхалась. А в это же время какие-то люди спускались вниз. В темноте мы сталкивались, расходились, ежесекундно рискуя сорваться вниз. Казалось, сорокаметровому колодцу не будет конца. Вдруг я почувствовала, как начали холодеть и неметь мои руки и ноги, кровь медленно отливала от лица. Я отчаянно закричала: «Теряю сознание! Я теряю сознание!»

Чья-то рука рванула меня кверху, и я ощутила под своими ногами площадку. Но рюкзак, этот ужасный рюкзак, казалось, вырывал сердце из груди. Еще мгновенье — и я полечу в эту черную пропасть. Я снова отчаянно закричала: «Снимите с меня рюкзак! Я теряю сознание!»

Кто-то, спускавшийся вниз, сорвал с меня рюкзак. Сознание мое прояснилось. Повесив рюкзак на руку, едва отдышавшись, я снова полезла вверх.

Наконец, над головой блеснули звезды, я увидела последние три скобы. Но теперь мускулы отказались мне служить. Сделав невероятное усилие, подтянулась вверх на одну скобу. Вижу над головой сидящих возле люка людей, кричу им, потому что чувствую, что сейчас сорвусь, но сверху доносятся шум и крики, люди меня не слышат, напрягаюсь до предела и подтягиваюсь

еще на одну скобу, осталась последняя. Но пальцы мои разжимаются, в припадке отчаяния кричу: «Помогите!»

Чьи-то сильные руки хватают меня, выволакивают из колодца, и я, хрипя и задыхаясь, падаю возле люка.

Передо мной сидит старшина Лысенко, на нем маскировочный плащ, он протягивает свою руку и берет мою, но его рука такая же вялая и бесчувственная.

Он молча держит мою руку, а я не в силах произнести ни слова. Наконец, сердце начало биться ровней, и я кое-как отдышалась.

Лысенко встал: его глаза полузакрыты, он пошатывается, голос его глух и слаб.

— Чем я могу вам помочь? Я совершенно болен. Я был все время на обороне и сейчас без сил. Вот краснофлотец, — он указал на сидевшего рядом с ним, — он поможет вам… Это все, что я в силах сделать для вас.

Я молчала. Что я могла ответить, ведь я не знала, куда идти и что делать. Ах, почему он не сказал мне тогда: «Выбросьте к черту все свои вещи, сбросьте с себя пальто, возьмите за руку мальчика и бегите за мной, авось удастся спастись и мне и вам!»

Лысенко исчез, больше я его не видела.

Товарищ Лысенко! Вы тогда ничего не могли для меня сделать, так как сами не знали, что попадете на катер в числе немногих счастливчиков. Но я думала о вас и вспоминала о вас все эти страшные для меня годы. Я боялась, что вы погибли. Вы стояли перед моими глазами — пошатывающийся, в маскировочном плаще, с полузакрытыми глазами, и я ощутила настоящую радость, когда впоследствии узнала, что вам удалось эвакуироваться, что вы опять пошли в бой.

Я поднялась на ноги и осмотрелась. Всюду горели костры, освещая красноватым светом многотысячную толпу вооруженных бойцов. Где-то совсем близко проносились снаряды и ухали взрывы. Откуда же костры? Оказалось, что догорало множество машин, примчавшивхся к батарее и подожженных дневной бомбежкой.

Опять местность мне показалась совершенно незнакомой: овраг слева почудился какой-то бухтой, у берегов которой в неверном свете костров мечутся черные силуэты. Где же будут приставать корабли?

Немцы подтащили орудия и пулеметы и взяли под перекрестный огонь все дороги и подходы к Камышевой и Казачьей бухтам, 35-й батарее, поставив стену заградительного огня для тех, кто еще не успел проникнуть к оконечности мыса Херсонес.

Вдруг по холму с невероятной быстротой растеклось море огня, оно неслось прямо на нас. Что это, начали взрывать батарею? Все вскочили и побежали вниз. Я тоже в ужасе помчалась вместе с Женей вслед за всеми. Спотыкаясь о камни, падая в воронки, мы бежали и бежали. Потом все, кто сидел возле люка правого командного поста, видя, что огонь погас, вернулись на старое место. И мы с Женей вернулись, и краснофлотец, которого мы было потеряли, сел рядом с нами. Несколько человек подвели к люку совершенно голого обожженного и стонущего кока Рыбальченко и спустились вместе с ним в колодец. Краснофлотец убеждал меня тоже спуститься вниз.

— Там будет вас искать муж.

Но меня ужасала мысль об этом страшном колодце. Кроме того, я боялась, что батарея вот-вот взлетит в воздух, и отвечала:

— Вы хотите, чтобы я взорвалась вместе с батареей?

Нет, я ни за что туда не спущусь, ни за что!

Вдруг снова гору охватило пламя, и новый вал огня понесся на нас. Я без промедления бросилась бежать. Женя споткнулся и оторвался от моей руки с отчаянным криком: «Мама, мама!» Я приостановилась, поймала его руку, мы помчались дальше. Внезапно что-то с силой схватило меня за ногу. Это были провода. Я рванула ногу, но провода еще крепче затянулись вокруг нее, поймав меня, как в капкан. За спиной растекался огонь, я неистово стала рвать ногу. Женя, которого я отпустила, побежал вперед. Провод все же соскочил, оторвал лишь каблук. Я нагнала Женю и с этих пор крепко держала его руку, не отпуская ни на секунду. Меня ужасала мысль, что ребенок может потеряться в толпе. Его крик потряс меня до глубины души. Мы опять потеряли своего краснофлотца, но не стали его искать.

Сквозь толпу мы пробились к пристани. Вся она после бомбежки была засыпана огромными камнями. Подходят ли корабли, идет ли посадка на них, нельзя было определить. Мы снова выбрались на гору. Потом повстречались с краснофлотцами нашей батареи, присоединились к ним и вернулись на берег. Чтобы легче было туда попасть, один из краснофлотцев опустил с невысокого обрыва автомат, а мы, держась за него, соскальзывали вниз.

Остановились на узком пляже маленькой бухточки, с одной стороны омывающей высокие скалы 35-й батареи, с другой — отгороженной пристанью.

Я с завистью смотрела, как влево от пристани воины, раздевшись до трусов, садились верхом на длинные бревна, гребли руками и уплывали в море. Другие связывали плоты. О, что бы я дала за место на таком плоту!

Командир бригады морской пехоты полковник Потапов рассказывал мне впоследствии о том, как он с одним полковником спасался вплавь. Потапов и его товарищ завернули свои партбилеты и ордена в бинты из индивидуальных пакетов, привязали их на шею и бросились в море. Плыли долго. Полковник, предусмотрительно взявший с собой иголку, беспощадно колол и себя, и товарища, когда хватала судорога. Наконец, они увидели силуэт тральщика и шлюпку, на которую подбирали с моря людей. Напрягая последние силы, полковники стали кричать. Когда они, обессиленные, были подняты на борт тральщика и упали на палубу, то увидели, что вся палуба усеяна едва живыми, почти голыми людьми. Не прошло и пяти минут, как тральщик двинулся к берегам Кавказа.

В море людей подбирали на катера-охотники и подводные лодки. Одним везло, другим не везло: многие, не встретив в море никакого судна, возвращались обратно. Волны выбрасывали на берег полуживые и мертвые тела.

Я предложила своему спутнику-краснофлотцу:

— Давайте разденемся и поплывем.

Можно попробовать, — ответил краснофлотец нерешительно.

Я тоже колебалась. Плавала я как рыба, но сейчас, когда за мое плечо будет держаться мальчик, понимала, что далеко не уплыву….

В эту ночь я впервые поняла, что такое зависть. Я завидовала тем, кто садился на бревна, кто плыл на плотах, даже просто тем, кто сильнее меня. Это чувство до сих пор не было мне знакомо.

При помощи краснофлотцев, держась за их автоматы, мы поднялись на обрыв. Подходили катера или нет, так и не видели. Море и небо были черны, а толпа не давала приблизиться к пристани.

Очень хотелось пить, в горле пересохло. Несколько раз я просила воды, но фляжки у всех были пусты. Наконец, я увидела какого-то армейского командира с фляжкой на боку, пробегавшего мимо.

— Дайте глоток воды! — крикнула я ему. Он остановился, приложил горлышко фляжки к моим губам.

— Пей, но немного. Нам предстоит далекий путь!

Его глаза горели живым огнем, лицо было возбуждено. Эту фразу — «Нам предстоит далекий путь» — он произнес с чувством веры.

Часто потом я вспоминала его. Какой путь предстоял этому человеку? Удалось ли ему сесть на корабль, доплыл ли он до Кавказа или потонул в морской пучине? А, может быть, он навеки остался лежать в подземельях 35-й батареи или погиб, защищая

ее? Привел ли его далекий путь в партизанский лес или за колючую проволоку немецкого лагеря? Остался ли он жив? В эту ночь много разных путей и дорог предстояло всем. Но в этом командире было столько глубокой веры в хорошую дорогу, столько энергии! И я хотела бы знать, что он не ошибся.

Ночь проходила, а мы все продолжали метаться. Я понимала, что мужу никогда не найти меня среди этой толпы. Не знала того, что выход из батареи через заветную дверь вел не на пристань, а под скалы, куда в эту ночь приставал катер. Но не всем удалось на него попасть.

Постепенно мрак начал рассеиваться. Тусклое пламя костров бледнело и таяло в быстро наступающем рассвете. И только теперь я увидела, что там, где обрываются в бухту скалы, протянута колючая проволока, а за ней все камни усеяны фигурами моряков,

Под массивом взорванной батареи

Рассветает. Все кончено, корабли ушли, а мы их даже не видели.

Мы валимся в огромную песчаную воронку. Песок как мягкая перина, но лежать не совсем удобно — ноги внизу, а голова высоко. Только теперь мы с Женей почувствовали, как безумно устали. Кажется, нет такой силы, которая заставила бы встать. Но это только кажется.

Мы пролежали в воронке не больше десяти минут. Почти совсем рассвело, и кто-то произнес: «Сейчас начнут бомбить, надо спускаться вниз, в батарею…»

Бредем к мрачному черному отверстию люка правого командного поста. Делаем то, что делают все, — погружаемся в мрак. Наша случайная компания пристраивается на первой площадке колодца. Я растягиваюсь на спине, чувствую боками острые углы каких-то ящиков, под спиной — широкую щель в железных плитах площадки, но мне все равно. Не пытаюсь даже ощупать, на чем лежу и не провалюсь ли вниз. Корабли ушли, все кончено!

Отчаяние охватило меня, и я зарыдала. Краснофлотец-автоматчик, сидевший рядом со мной, начал молча гладить меня по голове и плечам, но я не шевельнулась, слезы скатывались, текли по щекам, я их не вытирала, руки неподвижно лежали вдоль тела.

Говорят, уже совсем рассвело и надо спускаться дальше. Какое мучение!

Мы спустились на сорок метров под землю, пробирались

куда-то по узким потернам в поисках свободного места, но так его и не нашли. Батарея была взорвана, с электричеством покончено, потерны освещались тусклым красноватым светом огарков, мерцавших в руках беспрерывно проходивших взад и вперед людей. На полу потерны сидели, скорчившись и тесно прижавшись друг к другу, армейцы и моряки. Кто-то потеснился и освободил для нас с Женей крохотное местечко на полу, где мы уселись, сжавшись в комок так, что коленями упирались в подбородок; сидеть иначе было нельзя.

Проходили минуты, часы… Затекли руки, ноги, все тело ныло, хотелось лечь на минуту, но малейшая попытка вытянуть ногу кончалась тем, что кто-нибудь на нее наступал. Протекали вторые бессонные сутки. Ждали наступления темноты в надежде на то, что еще придут корабли. Я хватала проходящих за руки и в отчаянии спрашивала: «Вы не видели Мельника?» Даже не задумываясь над тем, знают ли они, кто такой Мельник. И каждый отвечал: «Нет, не видел».

Несколько раз мимо меня прошел Ломан, к которому я обращалась с тем же вопросом и в ответ получала неизменное: «Нет, не видел».

Меня это тревожило. Где Борис? Жив ли? А, может быть, ему удалось эвакуироваться?

По потернам ходили командиры, собирали оружие и патроны, посылали здоровых и легко раненных держать оборону. Значит, мыс Херсонес еще сражался! Кто-то откапывал продукты, заваленные взрывом; принесли банки с мясными консервами и ящики с изюмом. Нам с Женей дали банку консервов и горсть изюма, мы поели и еще больше захотели пить. Все ходили пить из бака уборной — единственного места, куда еще поступала вода из батарейного, взорванного теперь водохранилища. Пошли и мы с Женей, кто-то напоил нас водой. Идя обратно, заблудились в лабиринте потерн и вдруг наткнулись на заветную дверь. Возле нее столпилось еще больше народа, чем раньше. Здесь, наконец, сообщили мне, что Мельник сел на последний катер вместе с контуженным старшим лейтенантом Ротенбергом, которого тащил на спине. Говорили, что Борис искал меня: выскакивал из люка правого компоста, кричал во всю силу своих могучих легких, но где было мне его услышать!

Мы брели по потернам, сами не зная куда и зачем. Вдруг я увидела на полу Наташу. Она сидела рядом с одним из старшин нашей батареи. С рыданиями я бросилась к ней, Сидевшие потеснились и освободили для нас место. Я рыдала до тех пор, пока сердце еще чувствовало боль. Наконец притупилась боль, иссякли слезы, высохли глаза. Исчезли мысли, остались одни

физические страдания. Я громко вскрикнула:

— Нет я больше не могу, я лягу, пусть ходят по мне!

Я упала лицом на пол и тотчас же на мою руку кто-то нечаянно наступил. Поднялась и поджала ноги.

Мимо нас прошел краснофлотец, носивший мои вещи. Он остановился и стал объяснять, что бросил их на первой площадке правого компоста.

— Какие там вещи, кому они нужны!

Временами начинал горько плакать Женя: «Мама, я не могу больше, я устал, мама, мне душно!» Что я могла сделать, что я могла сказать ему? Он клал свою голову ко мне на колени и на время затихал.

Многих лет жизни стоят эти дни, проведенные в подземельях и под скалами 35-й батареи!

Все сидели в глубоком молчании. Но не совсем еще ушла надежда из этого подземелья, она тлела слабой искрой. Все ждали наступления темноты.

Говорили, что наверху идет жестокий бой. Здесь же тишина могильного склепа. Но вот тихо зазвучали слова, прошел слух: откапывают рацию, пытаются ее починить; тогда сообщат в Новороссийск, что здесь осталось еще много народу, что на мысе Херсонес продолжают защищаться.

Если и могло теперь что-нибудь вывести меня из апатии, — то это было магическое слово «корабли». Чем ближе подвигалась стрелка часов к десяти вечера, тем больше оживали люди. Многие поднимались, куда-то шли. И нас с Женей, будто магнитом, потянуло к заветной двери, за которой, нам казалось, было спасенье. Здесь мы встретили и прачек. За дверью собрался начсостав, принявший на себя командование людьми, оставшимися на 35-й батарее. Говорили о штабе, который руководит обороной и посадкой на корабли.

Приближался вечер. Вентиляция давно не работала, становилось нестерпимо душно, жарко, все лица покрылись капельками пота. Но выпускать людей под скалы до наступления темноты было опасно. Тогда открыли заветную дверь. За ней мы увидели какую-то комнатушку — отрезок потерны, в противоположной стене вторую, тоже настежь открытую дверь, а за нею мрак уходящей куда-то потерны — спасительный выход к морю. На маленьком столе горел огарок свечи, вокруг стола — много командиров. Какой-то голубоглазый полковник в армейской форме был, видимо, главным.

Шли разговоры о том, что удалось наладить только передатчик, но неизвестно, слышат ли нас, приема нет. Многие воспылали надеждой, что корабли обязательно пришлют.

Говорили, что на одну «Парижскую коммуну» поместится черт знает сколько народа, а если прибавить крейсера — тогда вывезут всех. Но никто не знал или не хотел знать того, что крейсера и тем более, громоздкий линкор не могут больше прорвать блокаду, пересечь Черное море от Новороссийска до Севастополя и подойти к мысу Херсонес, где шла жестокая борьба за каждый метр земли. Человек надеется даже тогда, когда эта надежда почти беспочвенна!

Искали сигнальщиков. Долгожданная ночь, наконец, спустилась на землю, и в море были видны какие-то огни. Нашли и сигнальщиков, но корабли все не появлялись. Как только стемнело, штаб обороны решил выпустить всех к морю под скалы.

Старшина Орлов подошел ко мне и прачкам и повел нас к двери. Шли долго и медленно, сжатые со всех сторон густой массой людей, казалось, никогда не будет конца этой потерне. Не удивительно, что воздух не поступал через нее под массив: слишком длинен и извилист был путь..

Вдруг неожиданно пахнуло свежим воздухом, блеснуло звездное небо; мы подошли к массивной железной решетке, и через такую же решетчатую дверь попали в пещеру, открытую с моря. Небольшой обрыв, из пещеры вниз спущена веревка. Мы следуем за всеми и попадаем на огромные глыбы камней. Здесь натянут провод: скользим, придерживаясь за него, и ступаем на каменистый узкий берег. Море — как чернила; ничего не видно и не слышно в его волнах, только тихо, монотонно плещется вода. Вдыхаю прохладный морской воздух, умываю лицо и руки. Женя полощется возле меня, мы оба боимся потерять друг друга.

Так проходит остаток ночи. Мы чувствуем некоторое физическое облегчение, но не моральное. Здесь легче дышать, но надежда на приход кораблей погасла окончательно, а с ней — и надежда на спасение.

Уже светало, надо было забираться обратно в нору. Заветная дверь теперь потеряла всю свою притягательную силу и никем не охранялась. Но все так же, только в совершенном мраке, беспрерывно двигались люди в одном и в другом направлениях, шарили руками по полу потерн — искали боеприпасы и оружие.

Все потерны были забиты ранеными. Многих доставили сюда с поверхности земли еще 1 июля, когда бомбили батарею. Теперь количество раненых все увеличивалось: там, наверху, продолжался бой.

Душно… Мы с Женей решили вернуться в пещеру у выхода. Здесь был слышен шум продолжавшегося над головой боя. Под пристанью в маскировочном халате с капюшоном, вытянувшись и, казалось, прилипнув к свае, стоял наш автоматчик и посылал

куда-то очереди.

В потерне и в пещере оказались наши с 35-й батареи: Наташа, прачки, политрук Паршин, краснофлотец, бегавший со мной на пристань, и многие другие. Они сейчас же потеснились и освободили нам место возле кооператорши Лиды Приходько. Дневной свет проникал сюда. Возле меня лежал обожженный кок Рыбальченко. Мы сидели в каких-нибудь двадцати шагах от выхода, и все же было душно. Рыбальченко бредил, и каждый раз, когда кто-нибудь проходил по потерне, всем своим грузным телом наваливался на мои плечи, пытаясь встать и отдать честь. Сначала я помогала ему, пока не поняла, что он бредит, а потом удерживала, не давая подняться. К моим мучениям добавилась еще борьба с Рыбальченко.

Подошел политрук Паршин и протянул мне маленький кусочек сала — граммов десять. Я отдала сало Жене. Больше суток мы ничего не ели, но меня лишь терзала жажда.

Прачка Даша собиралась идти пить воду, я решила присоединиться к ней. Женя пить не хотел и не хотел идти со мной. Я колебалась, боялась оставить мальчика и в то же время не могла побороть жажды. Сняла с Жени бушлат, подаренный Лысенко, свернула, положила на пол, усадила мальчика возле Наташи и прачек и велела сидеть, пока я вернусь.

Но мне не надо его уговаривать, я знаю, что он боится меня потерять и не двинется с места.

За последние сутки у меня начались галлюцинации. Не успели мы с Дашей погрузиться в темноту, как раздвинулись передо мной стены потерны, осветились тусклым красноватым светом, я увидела по сторонам ряд пустых темных комнат. Куда идти — не знаю… Я приостановилась, протянула руки в стороны и тотчас же достала пальцами стены.

— Даша, Даша, — закричала я, — подожди! Я не могу идти одна.

Даша взяла мою руку, положила ее на хлястик своего пальто и сказала:

— Держись крепко и иди за мной.

Мы двигались медленно, приходилось нащупывать место на полу, чтобы поставить ногу и не наступить на раненого. Вдруг возле меня послышался стон, я споткнулась, упустила дашин хлястик и опять закричала:

— Даша! Подожди! Вновь Дашины руки и голос:

— Держись крепко, я не оставлю тебя!

Так мы добрались до уборной. Даша остановила меня и сказала:

— Не сходи с этого места, я тебе принесу воды.

Я покорно стояла и ждала. Галлюцинации продолжались: мне показалось, что я вижу большую комнату, заставленную какими-то электрическими машинами, черные силуэты людей, озаренные красноватым дьявольским светом, передвигались между ними. Я боялась шелохнуться, мне представилось, что меня убьет током, если я прикоснусь к этим машинам.

Напившись воды, мы благополучно вернулись на свои места.

Как мучительно хотелось упасть и заснуть! Но даже задремать невозможно, все время поднимаешься и садишься, пропуская идущих по потерне. Откуда брались силы терпеть все это? А что же делать? Хочешь или не хочешь, можешь или не можешь, а терпишь. Из глубины потерн доходит слух о том, что застрелился какой-то командир, потом второй… третий… Вяло, как черепаха, проползает мысль: «Хорошо было бы застрелиться», но стреляться не из чего. О кораблях давно забыто, последняя искра надежды ушла, мы живы еще физически, но заживо погребены.

Неудачный прорыв

Но вот и этот бесконечный день Пришел к концу, солнце село. Наступила ночь — четвертая ночь без сна.

Мы вошли с Женей в пещеру, там собралось много людей. Не в силах больше держаться на ногах, я падаю на глыбы глины и острые камни и закрываю глаза. Это не отдых, так лежать может только труп, а не живой человек. Впоследствии, оставшиеся в живых батарейцы говорили, что видели труп жены Мельника, лежавшей при выходе из потерны. Слух о моей гибели даже дошел до Бориса.

Недолго пролежал мой «труп» без движения, каких-нибудь пять-десять минут. Я услышала решительные и смелые слова о прорыве: выбраться из-под скал, прорваться сквозь вражеский огонь к Балаклаве, в лес!

Можно несколькими словами мгновенно вдохнуть жизнь в человека. Я поднялась, схватила Женю за руку и протиснулась в гущу толпы. Посреди нее стоял политрук Паршин и объяснял план прорыва:

— Чтобы выйти, надо ползти на животе по узкой щели в обрыве, а дальше снова спуститься к морю…

Тут же стояла Наташа. Я ее спросила, — они идут на прорыв?

— Да.

— А мне можно идти?

— Спроси Паршина.

Я протиснулась к Паршину и спросила:

— Паршин, возьмите меня с собой на прорыв!

— Идите, — ответил Паршин.

Ко мне подошла Лида Приходько, только что вошедшая в пещеру.

— Лида, они идут на прорыв в горы, к партизанам, идем вместе с ними!

— Идем, — сразу согласилась она.

Я сбросила с себя черный жакет, надетый под светлое летнее пальто, и отбросила его в сторону. Какая-то девушка в морской форме подняла его и спросила.

— Вы совсем бросаете жакет, можно мне его надеть?

— Надевайте, мне он не нужен.

— Девушка натянула на себя жакет и сразу утратила военный облик.

Пальто я оставила на себе, так как оно было легкое, серого цвета — прекрасная маскировочная одежда для ночи. В это время группа во главе с Паршиным, вооруженная автоматами, начала быстро спускаться по веревке вниз, лишь мелькали фигуры людей, беззвучно исчезая в ночном мраке. Мы втроем — Лида, Женя и я — с лихорадочной поспешностью спускались последними: сначала Лида, за ней Женя и затем я. Какой-то командир, оставшийся в пещере, попробовал удержать нас:

— Как, на прорыв с ребенком?

Испугавшись, что он нас задержит, я ответила резко:

— Разве здесь лучше умирать?

Довод был веский, командир, не нашелся что ответить, и больше не пытался удерживать нас.

Спустившись, мы бросились бежать вслед за всеми по каменистому узкому берегу. Но сил совершенно нет, я бегу последней, все время спотыкаюсь, падаю и умоляю тихим шепотом (на верху немцы могут услышать):

— Лида, подожди!

Между мной и Лидой бежит маленький Женя, в темноте он теряет туфли, но не пытается их найти и дальше бежит босиком. Когда я падаю, маленький Женя возбужденно шепчет:

— Мама, скорей, скорей!

А вдали совсем уже затихают едва различимые звуки топота многих ног. Я бегу, падаю, поднимаюсь и снова бегу. В душе не страх, нет, но безнадежное отчаяние. Не нужно быть военным, чтобы понять: мухе и той трудно вылететь из-под обрыва. Наверху стоят немцы с пулеметами, всюду к выходам из батареи подведены танки…

Мы побежали куда-то вверх по узкой дорожке в обрыве и…

дальше нет дороги: отвесная стена. Мы остановились. Что делать? Нигде нет лазейки. Возвращаться обратно, искать в темноте путь? Но бойцов нам уже не догнать, куда же мы побежим?

Осмотревшись, увидели, что стоим возле крохотной пещерки в скале, и сразу решили — забьемся в эту пещерку и будем здесь сидеть, в душную темноту потерн не тянуло. Длина пещерки позволяла лечь и вытянуться. Женя свернулся возле меня калачиком и положил на меня голову. Какое блаженство лежать, если вообще могла идти речь о блаженстве!

Не знаю, когда и как мы погрузились в сон, впервые за четверо суток. Но не сладок был этот мертвый, тяжелый, без всяких сновидений сон, скорее похожий на бесчувственное состояние. Вскоре я открыла глаза. Мне казалось, что я и не спала, острые камни, выстилавшие пол пещеры, впились в голову, плечи, бока. Весь остаток ночи пришлось без конца ворочаться.

Под батарейными скалами

Не помню, как рассвело. Я чувствовала себя умираю-, щей. Веки налились свинцом, мне стоило больших усилий слегка их приподнять. Когда они снова падали, то в ту же секунду я проваливалась в какую-то пустоту, где не было нравственных пыток, сжигающей жажды, ужасов, 35-й батареи, выстрелов и стонов раненых. Но увы, все эти мучения вскоре возвращали меня снова к жизни без надежды, к ужасной жизни, которая была хуже смерти.

С наступлением утра скалы ожили. Везде, во всех пещерах и щелях, куда только можно было забиться, сидели бойцы и командиры. С восходом солнца все расползлись в разные стороны по прибрежным камням Многие подходили к морю, черпали касками соленую воду и пили. Когда я возвращалась из небытия, у меня невольно вырывался стон — пить! Солнце палит, искрится под его лучами обманчивое море, нежно и спокойно, как ни в чем не бывало, бьются ленивые волны о прибрежные скалы, воды много, но что это за вода!

Нет сил больше терпеть, губы покрылись сухой коричневой коркой. Только одно желание: пить, пить…

— Мама, я пойду напьюсь и принесу тебе воды.

— Хорошо, только осторожно… Смотри, чтобы тебя не убили…

Женя бежит к морю и через пять минут возвращается с каской, наполненной морской водой. Я проглатываю один глоток — мерзость, все равно, что пьешь английскую соль; пробую проглотить второй и чувствую сильную тошноту. Передаю каску

Лиде, но и у нее горько-соленая вода вызывает гримасу отвращения.

И все же время от времени Женя бегает пить морскую воду и приносит ее нам. Жажда не только не утоляется, но еще больше усиливается.

Наверху находятся немцы, мы это знаем по тому, что всю ночь мимо пещерки проносились пули, падали сверху и взрывались гранаты, вспыхивали и зажигались осветительные ракеты, а утром мы увидели много трупов на камнях. Посреди них навзничь, вытянувшись во фронт — руки по швам, — с запекшейся кровью на виске, лежал в своей зеленоватой форме убитый немецкий автоматчик. Он распрощался с жизнью за попытку проникнуть туда, где не смел показаться фашист, пока жив здесь хоть один советский боец. Это был первый немец, которого я увидела.

Днем, временами потрескивали наверху автоматные и пулеметные очереди, иногда падала вниз граната. Гитлеровцы считали, что из-под скал никому не уйти. Увлекаемые предательским течением, начали возвращаться с моря и приближаться к берегу маленькие плоты. На них по два-три человека. Это те самые плоты, на которые я когда-то смотрела с такой отчаянной завистью. Уже отчетливо видны фигуры и лица людей, — и вдруг наверху резко и неумолимо затрещал пулемет…

Я не поднимаю головы и не открываю глаз, не хочу ни видеть, ни слышать, но, помимо моего желания, приходится слышать. Кто-то сидящий поблизости произносит: «Убьют, будут стрелять до тех пор, пока не — убьют».

Прекращается стрельба. Я опять погружаюсь в небытие, а когда с трудом удается открыть глаза и приподняться, — вижу, как бьются о прибрежные камни плоты и окровавленные трупы.

Пока я спала, немцы невдалеке от нас подорвали кусок скалы. Она с грохотом обрушилась вниз и погребла людей, скрывавшихся под нею. Но я ничего не слышала, никакие звуки не могли теперь меня разбудить, пока я сама не просыпалась. Женя все время сидел, прижавшись ко мне, или сворачивался клубком и клал на меня свою голову.

Как-то Лида посмотрела на меня и сказала совершенно спокойно, как будто речь шла о самой обыденной вещи:

— Ты уже совсем доходишь.

Я даже не открыла рта, чтобы ей ответить, мне все было безразлично.

Иногда кто-нибудь из батарейцев, проходя мимо и видя меня лежащей в пещерке, говорил:

— Как же Мельник мог оставить жену и сына!

Тогда я приподнималась и отвечала:

— Мельник не виноват — так получилось… Он спас Ротенберга.

Другие сообщали все то же:

— Мельник искал вас, кричал и звал. А потом мы видели, как он с контуженным Ротенбергом на плечах прыгнул в последний отходящий катер…

Таких очевидцев оказалось немало, и все они говорили одно и то же. Значит, это правда, что Борис спасся. Но доплыл ли он до Кавказа? Конечно, доплыл!

Солнце в зените, накаляются камни. Жажда заставляет людей рыть ямки в прибрежном песке в надежде достать менее соленую воду, но это самообман, вода — все та же морская, горько-соленая, вызывающая тошноту. О, как мучительна жажда! Жене кто-то дал несколько изюмин, он принес их мне, но я не стала есть. Снова погрузилась в сон, и на этот раз это был приятный сон. Приснилось мне, что немцев прогнали из Севастополя. Мы идем с Женей, взявшись за руки, по широкой прямой улице, которая вдали упирается в ярко-голубое море. По сторонам улицы дворцы из чистого и прозрачного хрусталя. Возле них цветут каштаны, красуются какие-то необыкновенные цветы, похожие на орхидеи, белые, желтые, красные, сиреневые. И всюду — на домах, деревьях, на земле и в воздухе масса белоснежных голубей. Они что-то клюют у наших ног, вспархивают, перелетают, кружатся над головой. И на сердце вдруг стало спокойно и радостно.

Сквозь прозрачные стены домов мы видим людей в своих квартирах: вот мать наклонилась над спящим ребенком и бережно прикрывает его одеялом: моряк-пехотинец входит в комнату, снимает с себя автомат и ставит в угол, к нему подбегает жена… Да ведь это ют самый, что лежал раненым рядом со мной. Сейчас он здоров, силен — значит, поправился, и это несказанно радует меня. Вдруг мы видим маму и папу, они сидят за круглым столом, покрытым белой скатертью, и пьют чай. Мы вскрикнули от радости и бросились к ним. И вот мы все вместе сидим за круглым столом и пьем чай. Какое счастье! Опять дома, вернулись к человеческой жизни. Вокруг радостные лица, покой и мир. Но как все еще хочется пить! Я не могу напиться, и мама наливает мне вторую чашку чая с молоком — напиток, который кажется мне вкуснее всего, что я пила в своей жизни. Я протягиваю руку, беру чашку, подношу ее к губам… и просыпаюсь.

Все мгновенно вернуло меня к действительности: жажда,

сжигающая внутренности, пещерка, скалы, трупы — мышеловка, из которой нет выхода. С новой силой отчаяния я ощутила весь ужас нашего положения.

— Лида, если бы ты знала, какой сон приснился мне. Зачем я проснулась, зачем?! Лучше бы не просыпаться больше никогда!

И я рассказала Лиде сон, который на некоторое время вывел меня из состояния апатии.

— Лида, как нам выбраться из этой мышеловки?

Если пойти налево к батарее? Но там отвесные скалы и бухточка, через которую надо плыть, — неминуемо будем убиты. Днем нас и так видно, а ночью немцы бросают осветительные ракеты, даже щепка на море выделяется еще резче, чем днем. А если пойти вправо? Там ночью надо ползти по-змеиному в узкой щели обрыва, а потом опять осветительные ракеты и град пуль.

Ведь все, кто шел на прорыв, или погибали или возвращались обратно. Говорят, что погибли политрук Паршин и многие другие. Словом, куда ни пойдешь, везде смерть — выхода нет!

Еще одна попытка прорыва

На батарее организовался штаб обороны. В него входили капитан Цветков, капитан Ломан и другие, — мне их фамилии неизвестны. Штаб создал из бойцов и командиров отряды, которые должны были прорваться из-под скал к Балаклаве, а затем в крымские леса, к партизанам.

Вернулась Наташа. Она рассказала мне, что не успели бойцы отряда Паршина завернуть за выступ скалы и выйти к низкому участку обрыва, как на них обрушился ураганный пулеметный огонь, мгновенно скосивший передних. Пробиться, казалось, не было никакой возможности; задние повернули и побежали обратно. Думали, что Паршин убит, но ему удалось каким-то чудом прорваться сквозь огонь и дойти до расположения нашего городка, где он был схвачен и взят в плен. Об этом я узнала только после войны, когда Паршин вернулся; до тех пор все считали его погибшим.

Говорят, что отдельные бойцы, которых не задели пули при прорыве, все же добрались до предгорных татарских деревень, где вылавливались фашистской жандармерией.

Наташа, оказавшаяся рядом с Градуном, работником особого отдела нашей батареи, забилась вместе с ним и несколькими бойцами во встретившуюся по пути пещеру, где они улеглись и заснули, а позже вернулись на батарею.

Потерпев неудачу под скалами, группа бойцов и командиров решила идти на прорыв через главный вход под массив батареи.

Но эта попытка оказалась еще неудачнее предыдущей. Шофер нашей батареи Полуянов и с ним несколько человек выбежали из-под массива и были все, как один, скошены перекрестным пулеметным огнем.

Какой-то гитлеровский автоматчик, расхрабрившись, решил пробраться под массив. За взломанной дверью, при сумрачном свете, едва проникавшем сквозь щели в обвале, Столкнулись безоружный краснофлотец и вооруженный немец. Борьба была жестокая, но короткая. Краснофлотец задушил автоматчика. Позже немцы подвели к входу под массив танк и в щели начали бросать гранаты.

Капитан Цветков, Наташа, Градун, старшина Орлов, какой-то комиссар, военврач и медсестра по прозвищу «Белка», которые тоже собирались бежать на прорыв из главного входа под массив, вернулись обратно в боевую рубку. В это время краснофлотцы вытащили из-под развалин мешок риса. Сварили кашу на морской воде. Уселись на ковре, нарвали кусочков бумаги и разложили порции каши. Вдруг комната быстро начала наполняться удушливым дымом: немцы бросили под массив дымовые шашки.

Все вскочили с мест, каша была забыта. Бросились бежать по потернам, спускаться в люки, подниматься, опять опускаться. Дым густел, нечем стало дышать, щипало глаза. Наташа чувствовала, что задыхается и вот-вот потеряет сознание. Она услышала, как вскрикнула Белка:

— Комиссар, возьмите мой партбилет, я сейчас буду стреляться.

— Стреляйся, Белка, с партбилетом, если ты слабодушная! — ответил ей комиссар. Белка стреляться не стала.

Военврач на бегу пристраивал к виску пистолет, но кто-то толкнул его, пистолет выпал. Тогда он пытался убить себя из автомата. Раздался выстрел, пуля поцарапала висок, но военврач остался жив. Позже он и Белка при помощи надутых резиновых подушек попытались плыть к Балаклаве, надеясь уйти в горы, но были выловлены немецким катером и попали в плен.

Наташа споткнулась, упала и потеряла сознание. Когда пришла в себя, вокруг были мрак и тишина. Она поняла, что все убежали, не заметив ее отсутствия. Дым продолжал наполнять потерны. Наташа попыталась встать и не смогла. Сквозь звон в ушах она услышала звуки приближающихся шагов. Кто-то быстро шел по потерне и споткнулся об нее. На мгновение блеснул свет ручного фонарика, и чей-то голос произнес:

— Это мертвая Хонякина.

Наташу охватил страх. Она застонала. Два краснофлотца нагнулись к ней и подхватили под руки.

— Хонякина, попробуйте хоть немного двигать ногами, надо подняться по трапу.

Наташа прилагала все силы, но ей это почти не удавалось. С трудом краснофлотцы тащили ее вверх по трапу. Они доставили Наташу к выходу из потерны, и там она окончательно пришла в себя. Здесь были и девушки-прачки, так же, как и Наташа, принесенные сюда краснофлотцами в бессознательном состоянии. Вскоре пришел и капитан Цветков, искавший Наташу. А Градун и Орлов застрелились.

В нашу пещерку постепенно набилось много народа. Все спрессовались, как сельди в бочке, какой-то политрук, сидевший рядом со мной, закрыл глаза и уронил голову ко мне на плечо. Мне не хотелось его тревожить, я знала, что он измучен и устал, как и я, как все, но с каждой минутой тяжесть его головы увеличивалась, я больше не в силах была ее удерживать, встала, взяла Женю за руку и сказала Лиде, что мы спустимся к морю выпить воды. Проходя мимо кучки Людей, я остановилась. Какой-то военврач с жаром развивал перед слушателями свой план спасения:

— Когда наступит ночь, — говорил военврач — мы пойдем на прорыв. Лишь бы вырваться отсюда, а там проберемся к Георгиевскому монастырю — к восемнадцатой батарее, где в пещерах над морем хранятся лодки, мне это место известно. Немцы не могли их найти, они хорошо спрятаны и замаскированы. Мы завладеем лодками, поднимем паруса и уплывем на Кавказ…

Этот план, достойный пера Фенимора Купера или Майн-Рида, был тотчас же единогласно и безоговорочно принят.

— Доктор, возьмите и нас с собой! — взмолилась я. Доктор обернулся, и не задумываясь, ответил:

— Хорошо.

Общая трагическая участь не только сплотила всех воедино. Она превращала старого в малого, а малого в старого. Маленькому Жене разрешили бежать под перекрестным огнем на прорыв, а пожилой мужчина-доктор фантазировал, как десятилетний мальчик.

Мы с Женей возвратились в пещерку, и я рассказала Лиде о новом проекте прорыва. Но в массе людей я потом доктора не нашла.

Много самых разнообразных проектов создавалось в те поистине ужасные дни. Основным желанием было прорваться в горы, к партизанам. Кавказ превратился уже во что-то очень, далекое, недостижимое. Каждую ночь группы шли на прорыв к Балаклаве, но везде, где были выходы из-под скал, расположились

вражеские пулеметчики, стояли танки.

А наверху, в немногих очагах, еще продолжалось вооруженное сопротивление.

Впоследствии краснофлотец Бибик, работавший на водокачке городка, рассказал мне о том, как ему и двум морякам удалось спастись:

— Нас было много в обширной пещере. Она находилась посреди обрыва, туда вела одна из потерн. Само собой получилось, что главным стал какой-то полковник. В помещениях батареи мы нашли сахар, муку и другие продукты. Спускались за морской водой и пили ее, смешивая с сахаром и какао. Так просидели четырнадцать дней. Но вот однажды вражеский корабль обнаружил с моря нашу пещеру и дал по ней три орудийных выстрела.

Первый снаряд попал в середину пещеры, убил полковника. После взрыва третьего снаряда в живых осталось только четыре моряка. Мы стояли среди груды трупов, надо было уходить. Ночью мы решили карабкаться вверх по отвесной скале. Если бы мне сказали раньше, что я смогу взобраться по такой скале, я посчитал бы сумашествием подобную мысль. До сих пор не понимаю, за что мы цеплялись ногтями, как не сорвались и не полетели вниз. Впрочем, выбрались только трое, четвертый упал и разбился о прибрежные камни. Когда вспыхивала осветительная ракета, мы прижимались к скалам и застывали без движения, напрягая все мускулы, чтобы удержаться. Наконец, мы взобрались на край обрыва. Тут, при свете вспыхнувшей ракеты, я увидел пачки новеньких денег, не меньше, чем тысяч шесть. Одну минуту я колебался, а потом зафутболил их в море. Ночь, на счастье, была темная, моросил дождик. Мы шли полем без дороги, так и пришли в Севастополь, нигде не столкнувшись с немцами. Нам повезло: я нашел своих знакомых, они переодели нас в штатское, — закончил свой рассказ Бибик.

Теперь я знаю, что правильно поступали те, кто шел на прорыв или, как Бибик и его товарищи, карабкался по отвесным скалам. Надо и жить и умирать в борьбе. Самый страшный враг человека — это пассивность, которая обрекает его на гибель.

Мы покидаем батарею…

Как только солнце потонуло в море, все поспешили забиться в пещеры и щели. Мы лежали в своей пещерке, стиснутые со всех сторон. С наступлением темноты над обрывом начали взлетать одна за другой осветительные ракеты. Гитлеровцы пулеметным и автоматным огнем прочесывали скалы. Иногда летели вниз и

взрывались гранаты.

Проходила пятая ночь, но казалось, что мы провели долгие мучительные годы здесь, где смешались в одну кучу живые, умирающие и мертвые. Наконец, наступило утро пятого июля. Безоблачное небо, синее море. Жгучие лучи солнца накаляют камни, высасывают последнюю влагу из человеческих тел и заставляют быстро разлагаться трупы. Зловоние стравило чистый морской воздух.

Снова люди роют ямки, пьют морскую воду.

Вдруг наверху над обрывом послышалась громкая немецкая речь. Все подняли головы и застыли на месте. Что это могло означать? Мы с Лидой и Женей поднялись и вышли из пещерки. На краю обрыва стоял немец, вниз был спущен толстый канат, достигавший прибрежных камней. Немец что-то громко и беспрерывно кричал, сопровождая слова энергичными жестами: нагибаясь вниз, он как бы подхватывал воздух обеими руками и взметал их вверх, выше головы. По его жестам и висящему канату можно было понять, что он предлагает всем подниматься на обрыв и сдаваться в плен. Но никто не шевелился и не произносил ни слова. Вдруг раздался револьверный выстрел, стрелял какой-то комиссар. Немец отбежал от обрыва и скрылся. Сразу нарушилась тишина, посыпались ругательства. Но немец сейчас же вернулся обратно, держа в руках пистолет, а возле него появился пленный красноармеец. Опять под скалами наступила тишина. Красноармеец, крича истошным голосом и обильно пересыпая речь бранью, начал убеждать всех сдаваться в плен. Вдруг его взгляд упал на нас, тогда он взревел еще громче:

— Женщины! Чего вы погибаете? Выбирайтесь наверх, сдавайтесь в плен…

Тут он начал изощряться в брани, считая, очевидно, что, чем виртуознее брань, тем больше сила убеждения. Но на нас это произвело обратное действие: мы возмутились и поспешили спрятаться под скалы.

Никто не подходил к веревке и, наконец, утомившись, немец и пленный исчезли, оставив ее свисать с обрыва.

5 июля утром бои на мысе Херсонес закончились, последнее сопротивление было сломлено, боеприпасов не оставалось. Сегодня и немцы прекратили стрельбу, знают, что и так все у них в руках. Мы посоветовались с Лидой и решили попробовать пойти вправо, к оконечности мыса Херсонес, в ту сторону, куда все бежали на прорыв. Попадем к немцам? Убьют они нас? Ну что же, если и так.

Мы пошли медленно: впереди Лида, за ней Женя и сзади я. Шли мимо пещер, забитых ранеными и здоровыми, перебирались

через груды глины и нагромождения камней, в некоторых местах обходили скалы по колено в воде, не думая даже о том, чтобы снять туфли.

В выемке скалы вдруг наткнулись на груду трупов, лежавших один на другом; все они были обращены головами в ту сторону, куда мы шли, как будто и сейчас еще стремились на прорыв. Трупы валялись везде на камнях. Очевидно, выемку простреливал немецкий пулемет.

Мы прошли мимо кучи брошенных кем-то денег, красноармеец, который шел сзади, остановил меня и указал на них:

— Возьмите, может быть, вам пригодятся.

Я посмотрела безучастным взглядом на эти тридцати— и пятидесятирублевые бумажки. На что мне деньги? Задержавшись на секунду, медленно побрела дальше.

Но вот мы добрались до щели в отвесной скале: действительно, она была настолько узкой, что даже я при всей своей скелетной худобе смогла проползти в ней, лишь вытянувшись во весь рост, прижимаясь к камням и по-змеиному извивая тело.

Постепенно обрыв стал понижаться. Перед нами открылся широкий пляж из мелкого бархатистого песка, здесь обрыв почти сходил на нет. Наверху стояли немцы. Мы подошли к этому месту. Сразу же двое гитлеровцев уцепились за мою тонкую, как палочка, руку, на которой беспомощно болтались часы. Каждый из них хотел первым расстегнуть ремешок, но это им никак не удавалось, они мешали друг другу. Наконец, они сорвали часы, отошли на шаг в сторону и с жадным любопытством стали рассматривать добычу. Таким же точно образом была «обработана» и Лида двумя другими солдатами.

Я шагнула вперед, но один из мародеров, ограбивших Лиду, потянул меня сзади за пальто. Я зашаталась и чуть не упала, так как едва держалась на ногах.

Он похлопал меня по бокам, ощупывая, не скрыто ли что-нибудь под платьем, и, к моему счастью, не наткнулся на пакет с документами и деньгами, которые были привязаны к талии.

Убедившись, что содрать больше нечего, гитлеровцы толкнули нас вперед и отвернулись.

Люди с батареи постепенно попадали в плен или гибли в ее подземельях и пещерах под скалами.

Наташа позже рассказала мне о судьбе Цветкова.

Это было к вечеру 10 июля. Начало темнеть, когда пленных построили возле батареи. Перед строем стал немец и спросил по-русски:

— Есть среди вас капитан Цветков?

Он тут же назвал еще двух человек: военного инженера и комиссара, фамилии которых Наташа не запомнила. Она стояла между капитаном Цветковым и военным инженером. Все молчали.

— Меня, оказывается, здесь знают, — тихо сказал Цветков, а затем заявил громко: — Я капитан Цветков.

Назвали себя и военный инженер и комиссар. Их вывели из строя, посадили в машину и увезли. Наташа, попавшая в Бахчисарайский лагерь, снова встретилась там с Цветковым, который сказал ей:

— Меня без конца допрашивают. Очевидно, расстреляют.

Больше Наташа его не видела. Через две недели ее освободили как гражданское лицо.

Так погибла гвардейская 35-я тяжелая морская батарея — последний оплот Севастополя — и с нею многие из тех, кто его защищал.

С именем этой батареи тесно сплелись прошлые годы моей жизни. Здесь я была на волосок от смерти, но зато суровые испытания дали мне силу ненависти, волю к борьбе. Отсюда начался трудный путь — дорога к подполью, возврат к Родине. И на всем этом пути мне часто приходилось слышать имя 35-й батареи: фашисты повторяли его со злобой и не могли понять «бессмысленной», как они считали, борьбы ее защитников. А в крымских городах и деревнях имя 35-й батареи являлось синонимом стойкости и мужества, оно вызывало восхищение.

Если вы подойдете к молчаливому холму на мысе Херсонес, где тишину теперь нарушает лишь плеск волны да крики чаек, — остановитесь. Снимите фуражку и склоните голову… Здесь сражались герои!

Часть вторая
ИЗ СЕВАСТОПОЛЯ В БАХЧИСАРАЙ

Бегство из лагеря

Шагах в пятидесяти от обрыва, среди уцелевших деревьев, были раскинуты палатки немецкого лагеря. Первое, что привлекло внимание, это снижавшийся самолет: белый с черной свастикой, похожий на огромного комара. Он садился на наш аэродром. Тошно было смотреть, я отвернулась.

Как только мы приблизились к лагерю, немец, сидевший возле палатки, знаком приказал подойти. Он взял у Лиды портфель, вытряхнул на землю все содержимое и стал медленно и деловито перебирать вещи. Лиде отдал катушку ниток, губную помаду, остальное взял себе. Мы молча стояли перед ним. Покончив с «сортировкой», немец махнул рукой: мол, идите.

Мы бродили между палаток, не зная, что же делать дальше. Но это продолжалось не более пяти минут: солдат с автоматом на ремне начал бегать по лагерю и с остервенением, ударами сапога сгонять всех военнопленных в одно место. Мы с Лидой и Женей

поспешили туда же — к военнопленным.

Нас согнали на открытое место перед лагерем. Мы легли на горячий, мягкий песок, из которого торчали пеньки виноградных кустов. Только по ним и можно было судить о том, что здесь недавно зеленел виноградник подсобного хозяйства батареи. Часовой уселся на маленьком холмике, поставив автомат между ногами. Очень молодое белое и румяное лицо его было хмурым, он бросал вокруг злобные взгляды и походил на цепного пса. Равнодушная и апатичная, я сама не замечала, что где-то в глубинах сознания запоминается все: вражеский самолет на нашем аэродроме, удары сапога, жестокая ненависть фашистского солдата к военнопленным… И это только начало!

Во время обеда принесли несколько мисок с чечевичным супом и немного сухарей. Маленький Женя с жадностью поел, а я с трудом проглотила две-три ложки и отдала мальчику остальное. Мне все еще не хотелось есть, а только пить, без конца пить.

Здесь же с нами в лагере находилась годовалая девочка. Бойцы нашли ее под скалами сидящей между трупами убитых отца и матери. Она была слишком мала и ничего не понимала, а потому не плакала.

Ко мне подошел какой-то пленный и тихо сказал:

— Не сидите здесь, бегите. Вы женщины, вам это сделать легче. Через ту горку уходите в город.

Чужая воля, чужой разум толкали меня к действию, пробуждали к жизни. Я встала и подошла к пригорку, где сидел часовой. Жестами объяснила, что мы хотим пойти к Соленой бухте умыться. Гитлеровец резко мотнул головой в знак отказа. Я отошла и снова улеглась на песок. Через некоторое время часового сменили, я обратилась с той же просьбой к новому, имевшему менее свирепый вид, но и он отрицательно покачал головой, сказав:

— Оффицир, оффицир.

Однако на этом я не остановилась, как не останавливается в своем полете камень, брошенный чьей-то рукой. Подождем, пока сменят и его.

Вдруг я увидела сослуживца моего мужа, старшину Хренкина. Совсем недавно мы обедали на камбузе 35-й батареи. Тогда Хренкин много и оживленно говорил, был любезен. Конечно, теперь не до любезностей, однако Хренкин и сейчас чрезвычайно оживлен: он и какой-то краснофлотец лебезят перед немцами, прислуживают им, чистят их оружие, куда-то свободно уходят.

Невольно мне вспомнились рассказы Хренкина о том, как богато жили когда-то в деревне его родители. В ту пору слова эти прошли мимо моего сознания, но сейчас я подумала: наверное,

Хренкин из кулацкой семьи. Старшина Хренкин меня не узнает. Разве я так изменилась, что и узнать нельзя? Глядя на Лиду, вижу себя, как в зеркале: коричневые запекшиеся губы, слой грязи покрывает худое, землистое лицо, А мое легкое, прозрачное платье в оборках — оно похоже, на кусок тряпки для мытья пола. Трудно Хренкину узнать жену своего бывшего сослуживца Бориса Мельника, однако остальные-то меня узнают! Узнают герои, защитники Севастополя, а не такие, как Хренкин. Он тоже не замечает соотечественников, думает, что это собаки, с которых скоро сдерут шкуру, а Хренкин и его помощник не хотят на живодерню! Они изо всех сил стараются доказать, что относятся к породе послушных псов и могут еще пригодиться новым хозяевам…

Сменился второй часовой. Я подошла к нему и тем же порядком объяснила свою просьбу. Он утвердительно кивнул головой.

Очень медленно пошли мы по дороге мимо лагеря, чтобы не вызвать подозрений в бегстве. Возле Соленой бухты — воронки, наполненные зеленоватой мутной водой. По краям воронок трупы. Но Мы припадаем к воде и пьем. По дороге нашли кусочек мыла и губку. Что только на земле не валялось! Подойдя к правому берегу бухты, возле холма, через который собирались удрать, мы решили в самом деле выкупаться, выждать время. Выкупались в теплой воде, постирали одежду, разложили ее на песке. С противоположного берега почему-то все время стрелял пулемет, пули взбивали воду посреди бухты. Видно, немцы развлекались. А может быть, для развлечения поднимут чуть выше ствол и пройдутся очередью по нас? Кто их знает.

Просохла одежда, мы оделись, осмотрелись по сторонам и быстро начали взбираться на холм, скрываясь за разбитыми грузовыми машинами, перелезая через кучи обломков. Благополучно скрылись с вражеских глаз. Теперь идем по степи, среди развороченных пустых окопов.

— Знаешь, Лида, — говорю я, — лучше выйдем на дорогу, а то еще подорвемся на мине.

Дорога ведет в город, она вся забита немецкими солдатами, машинами, фургонами, пушками. Мы идем по обочине дороги навстречу потоку, никто на нас не обращает внимания. Проходим мимо камбуза нашей батареи; все разбито, сгорело. Вокруг валяются трупы краснофлотцев. Больно? Нет. Я потеряла способность испытывать боль. Мне тошно и до того тошно, что не хочется ни видеть, ни слышать. Но куда ни бросишь взгляд — везде одно и тоже.

Неужели это та самая дорога, по которой я столько раз

ходила и ездила, на камбуз? И этот камбуз, и эти камни, и эта степь… Душа ушла, души нет!.. Уныло бредем по дороге — я, Лида и мальчик.

Вот городок 35-й батареи — дома сгорели, высоко торчат трубы. Заходим во двор. Вдали видны фигуры немцев, хозяйничающих во дворе казармы. Я поднимаюсь по ступеням крыльца, вхожу в свою комнату: четыре обгорелых стены, зияющий, как пустой глаз, прямоугольник окна. Под ногами слой мусора и черепков. Вот и все.

Ну что ж, делать больше нечего. Выхожу на крыльцо.

— Теперь пойдем искать моих родных, — говорю я Лиде.

Проходим мимо разбитой 75-й зенитной батареи. И здесь могильная тишина. Над головами низко проносится самолет с черной свастикой — «хозяин воздуха». Над самым обрывом разбросаны палатки: здесь расположилась немецкая часть. Как только мы подошли, нас со всех сторон окружили немцы, зашумели, залопотали. По тону, злобным взглядом и жестам мы поняли, что, кажется, попали в плохую историю. Особенно злился и кричал один черноглазый офицер, видно, главный у них.

Мы говорили, что здесь внизу, под скалами, скрывались от бомб мои отец и мать. «Фатер» и «муттер» вдруг вспомнила я два немецких слова.

— Комиссар, комиссар! — взревел гитлеровец.

Показалось: сейчас расстреляют.

По распоряжению черноглазого солдат побежал к палаткам и через минуту подошел другой офицер, который спросил нас по-русски:

— Зачем вы хотите туда идти?

— Там скрывалось от бомбежки гражданское население из города, — сказала я, боясь упоминать о городке 35-й батареи, — внизу мои отец и мать — старики. Мой отец учитель, старый учитель.

Немцы о чем-то посовещались. Потом офицер обратился ко мне:

— Там сидят комиссары, они сказали, что убьют каждого, кто станет спускаться. Пойдете?

— Пойду, — ответила я.

Окруженные немцами, мы подошли к узенькой тропинке, ведущей вниз под скалы. Лида осталась на обрыве. И правда, зачем ей рисковать? Я начала спускаться, за мной побежал маленький Женя. Немцы сгрудились у края обрыва. На их лицах отражалось живейшее любопытство.

И здесь, на тропинке, те же следы войны: в беспорядке валяются каски, патроны, бумаги, медикаменты, бинты.

Я спустилась до половины дороги, где тропинка круто заворачивала вправо. Опустилась на колени и перегнулась вниз с обрыва, пытаясь заглянуть под навес скал.

— Мама, папа! — закричала я громко и протяжно, — Мама!.. Папа!..

В ответ — ни звука. Только по тоненькой струйке черного дыма можно было понять, что внизу еще есть живые люди.

— Мама!.. Папа!.. — крикнула еще раз.

В ответ раздался револьверный выстрел, как грозное предупреждение — и опять настороженная тишина. Мне вдруг представились безмолвные, никому не нужные трупы отца и матери, валяющиеся на камнях. Я вздрогнула и закрыла лицо руками. Вдруг почувствовала, что за моей спиной кто-то есть. Не слышно было ни звука, но что-то заставило обернуться, и я увидела немецкого солдата в одних трусах и мягких тапочках, держащего на животе автомат, направленный дулом под навес скал. Он крался неслышными кошачьими шагами, осторожно переставляя ноги, будто подстерегая добычу. Моментально все стало понятным: я — приманка, которая должна выманить «комиссаров» из-под скал, автоматчик их перестреляет. Не поднимаясь, я отползла от обрыва, и села на тропинке. Сверху послышался окрик, черноглазый офицер махнул рукой мне и автоматчику, чтобы возвращались обратно.

Поднявшись на обрыв, я взяла Женю за руку, и мы пошли медленно, не оборачиваясь. Никто не остановил нас.

«Или моих родных нет под скалами, или они убиты, — думала я, — иначе никакие силы не заставили бы их молчать в ответ на мой зов».

Мы вернулись к городку. Оттуда шли две дороги: одна в город, другая к 18-й батарее — мысу Феолент, где были огороды нашего подсобного хозяйства. Я хотела повернуть в город, но Лида с упреком сказала:

— Значит, твоих родных мы искали, а моих не надо?

— Извини, Лида, я забыла… И мы пошли к мысу Феолент.

По краям дороги валялись вспухшие трупы людей и лошадей.

В сумерках мы подошли к бывшему подсобному хозяйству. Над обрывом, где мы когда-то хотели поселиться, расположилась какая-то небольшая немецкая часть. В стороне виднелась палатка, возле которой стояла женщина. Она рассказала нам, что вчера все гражданское население вышло из пещеры, но куда угнали людей — неизвестно. Ей с тремя детьми разрешили пока остаться здесь в своей палатке. Через десять минут мы спали, свернувшись, клубочками на голой земле. Я без конца просыпалась: вспышки ракет проникали сквозь тонкую ткань палатки, озаряя ее то

белым, то красным светом временами строчили автоматы и пулеметы: значит, убивали наших людей.

На рассвете в палатку вошел молодой высокий немец, с пестрой шелковой косынкой на шее. Он обратился ко мне по-русски:

— Когда вы вышли?

— Вчера.

— Почему так Долго не выходили, боялись?

Я молчала.

— Мы убиваем только комиссаров, — сказал немец.

Я вспомнила картины, которые только что видела на 35-й: груды трупов под скалами, возвращавшиеся с моря плоты, протяжный крик… Что ж, видимо, все советские люди в глазах гитлеровцев были комиссарами!

Немец отпустил нас.

Мы проходили мимо огородов, на которых когда-то немало потрудились. Свежие кустики картошки, кому теперь они достанутся? Если отец и мать в городе, им нечего есть, подумала я и предложила Лиде и Жене накопать картошки. Мы нашли саперные лопатки и без всякого сожаления стали выкорчевывать кусты с мелкой, как вишня, картошкой. Оглянулись, подняли кем-то брошенную гимнастерку, завязали рукава и сделали — из нее мешок.

Когда мы проходили мимо восемнадцатой батареи, немцы везли туда тяжелые, длинные пушки. Теперь эта батарея будет служить врагу. Как мучительно видеть такое!

По проселочной дороге вышли на Балаклавское шоссе. Небо затянуло тучами, начал накрапывать дождик. Везде валялись снарядные и ружейные гильзы, разбитые ящики от боеприпасов. Женя все время вскрикивал: «Мама, посмотри!» Но я не могла ни на что смотреть, меня тошнило от вида войны.

У дороги нам встречались немецкие могилы с крестами и надписями. Быстро, как грибы, выросли они на нашей земле!

Подошли к английскому кладбищу — памятнику обороны 1854–55 годов. Полил мелкий густой дождь. Я уже давно едва тащилась, теперь силы совсем оставили меня.

— Не могу, Лида, больше идти, полежу немного.

Я легла навзничь на мокрую траву, дождь лил мне прямо в лицо, вода тонкими струйками скатывалась по шее. Лида и Женя молча стояли надо мной и терпеливо ждали, когда я отдохну. Минут через пятнадцать я поднялась.

Кажется, стало легче. Я даже снова взялась за мешок с картошкой, который Лида уже давно несла одна.

Опять картины разрушения: пустынные развалины дач,

сломанные деревья. Из руин с отчаянным криком выбежал маленький дымчатый котенок.

У подножия Рудольфовой горы мы расстались: Лида пошла искать своих родных, а мы с Женей отправились дальше, к центру.

Среди камней и развалин

Мы шли по Севастополю. Еще недавно, месяц назад, это был город, разбитый, исковерканный бомбами, снарядами, минами, но город. Он был жив, его лицо узнал бы каждый. А сейчас? Камни, камни и камни… Зияющие дыры окон в остатках стен, ни мостовых, ни тротуаров — груды камней и толстый слой пыли от измельченного инкерманского камня. Обгорелые балки и бревна, лохмотья железных крыш, свисающие с остатков стен, изломанные, поваленные деревья, черепки, щепки, погнутые самовары — почему-то их было особенно много. Город черный, покрытый сажей. Город мертв!

Мы вышли на Большую Морскую. Вот и ворота нашего дома. Я заглянула во двор. Первое, что бросилось в глаза, — это большие камни, докатившиеся до самых ворот, и среди них наш ведерный медный чайник, весь избитый и обгоревший. Высоко в небо возносятся полуразрушенные остовы двух стен. Дома, в котором отец и мать прожили почти сорок лет, не существует.

Мы поднялись по лестнице возле единственного сохранившегося на Большой Морской дома — здания почты, вышли на улицу Володарского и повернули вправо. Вот и место, куда выходил фасад нашего дома, теперь это обрыв, заваленный камнями.

Напротив в белой пыли видны человеческие следы, это что-то вроде тропинки. Мы пошли по ней, и вдруг перед глазами предстал двор, в котором копошилось несколько худых, почерневших человеческих существ. Я сразу заметила Екатерину Дмитриевну Влайкову, печально сидевшую на камне.

— Женечка, ты!

Екатерина Дмитриевна узнала меня.

— Ты жива! Как будет рада мама, она, бедняжка, пошла искать тебя и Женю на 35-ю батарею.

— Мама и папа здесь? — радостно воскликнула я.

— Да, они вчера пришли в город.

— Зачем, зачем мама пошла меня искать! Что с ней будет!

Ничего, Женечка, мама, наверное, не найдя тебя, скоро вернется. Посиди немного со мной. Мама и папа живут не здесь, они поселились в доме, где жила прачка Ксения: ее в последний

день убило осколком снаряда. Домик Ксении разрушен, мама и папа живут во дворе, в курятнике.

Я обратила внимание на то, что у Екатерины Дмитриевны забинтована нога.

— Что у вас с ногой?

— Меня обожгла зажигательная бомба, — и Екатерина Дмитриевна вкратце рассказала о ранении Степана Николаевича и о том, как горел город. — Вещи, Женечка, все сгорели: и твои, и мамины, и мои. У меня сохранился только один чемодан…

Итак, вещи сгорели во всех квартирах, осталось только то, что надето на нас. Но я теперь ни о чем не думала. Сгорели, ну и сгорели, мне ничего не жаль! Вдруг Екатерина Дмитриевна придвинулась ко мне и зашептала:

— Знаешь, Женечка, сегодня утром гнали военнопленных с Херсонесского моста, и один командир в кубанке сбежал. За ним гнались, стреляли. Он завернул за угол и заскочил к нам в развалины, мы его спрятали в камнях. На счастье, немцы не заметили, куда он скрылся. Когда все стихло, мы его переодели в штатское. Я в своем чемодане нашла кое-какие вещи Степана Николаевича, дала ему кепку, вон та женщина — пиджак, ботинки дал старичок — видишь, сидит у стенки и дремлет. Потом мы напоили командира чаем с сухарями, и он ушел, куда — не знаю, но оставаться у нас не хотел, поблагодарил за все и ушел. Не выходит он у меня из головы. Как ты думаешь, спасется он от плена?

— Раз убежал из колонны, значит, и от плена сбежит, — уверенно ответила я.

Простившись с Екатериной Дмитриевной, мы пошли с Женей искать за костелом Георгиевскую улицу и на ней дом № 35. Здесь начиналась Рудольфова гора, застроенная маленькими домишками, уже не так жестоко пострадавшими от бомбежек и обстрелов, На Рудольфовой горе, На Корабельной стороне и на Зеленой горке, главным образом, и обитали теперь уцелевшие жители Севастополя. В трех полуразваленных домиках на Георгиевской улице жили люди. На ветхой, покосившейся калитке даже сохранился номер дома. — цифра 35. Я толкнула калитку, перешагнула через порог и остановилась, держа Женю за руку. В маленьком дворике на кучке, камней сидел папа.

— Папа сидит…, — сказала я тихо.

Наши взгляды встретились: я стояла молча, не шевелясь, у калитки, а папа застыл на камнях и смотрел на меня, как на привидение. Вдруг из полуразвалившегося курятника, возле которого сидел папа, расставив руки, как крылья, с отчаянным криком: «Женечка! Женечка!» — вылетела мама. Она обхватила

мою шею руками и с рыданиями повисла на мне. Я гладила ее голову, целовала лицо, хотела заплакать, но не смогла. Тогда папа, освободившись от своего оцепенения, подошел ко мне, обнял и стал целовать. Так со слезами обнимали они и целовали то меня, то маленького Женю и не могли прийти в себя от счастья.

— У тебя блуждающий взгляд, и ты похожа на выходца из могилы, — сказала, наконец, мама. — А Борис? Что с Борисом, он сел на корабль?

— Борис, сел на последний катер с раненым Ротенбергом на плечах. Я в этом уверена, многие говорили мне одно и то же. Он не виновен в том, что мы потеряли друг друга.

Мама и папа обрадовались, что Борис спасся и не попал в плен.

— Сейчас я Вас накормлю, мои бедные, — и мама начала возиться возле допотопной сложенной из камней печки. Быстро был готов роскошный обед: яичница из одного яйца и два тоненьких кусочка ветчины. Мы с Женей ели с удовольствием, хотя я все еще ощущала не голод, а жажду. Вдруг на доске, положенной на камни и заменявшей стол, появился чай с молоком. Чай с молоком! Сон сбылся наяву, но как сбылся! Только и того, что мы выбрались из могилы, нашли родных живыми, да этот чай. И, наслаждаясь им, я выпила чашку, мама налила мне вторую.

— Где ты взяла молоко?

— Два яйца, пол-литра молока и немного сухарей дала папе мать его ученика — помнишь, Ломоносова? У нее каким-то чудом уцелела корова, и домик ее уцелел, она живет недалеко отсюда.

Я отлично помнила Алешу Ломоносова. Одно время он бросил учиться. К папе пришла мать Алеши и очень просила заниматься с ним математикой.

— Может быть, вам удастся, Петр Яковлевич, — говорила она, — повлиять на Алешу, заставить его учиться, а то мальчишка отбился от рук…

И вот Алеша стал приходить к нам. Я помню, как папа его убеждал учиться. Вначале Алеша держался дикарем, но постепенно увлекся математикой, понял, что ему действительно нужно учиться, подготовился к вступительным экзаменам и сдал их блестяще в Ленинградском арктическом институте. Перед войной он так же блестяще закончил институт, приехал в отпуск в Севастополь и явился к папе, которого глубоко полюбил. Это был уже не бука, не дикарь, а цветущий парень, веселый, образованный, энергичный. Папа радовался, глядя на него. Мать Алеши каждый раз говорила при встрече: «Это вы, Петр

Яковлевич, так на него повлияли, вы сделали его человеком».

Нельзя, конечно, все приписать моему отцу, здесь большая заслуга и самого Алеши, который обладал сильным характером и незаурядным умом. Отец просто помог ему найти себя.

— А где сейчас Алеша?

— Воюет, — ответила мама.

— Зачем ты шла меня искать, разве ты нашла бы меня? Хорошо, что вернулась.

— Ты не знаешь, в каком отчаянии были мы с папой! Что делать, как жить, кому мы нужны? Я искала тебя по всем лагерям, — туда меня не пускали, хотя я умоляла солдат и офицеров. Нигде тебя не было. Только в последнем, большом лагере сжалился надо мной румынский офицер, пошел искать, вернулся и сказал:

— Мама, дочки нет.

Сегодня утром я решила идти к 35-й батарее, разыскать вас живыми или мертвыми. Папа очень ослабел, едва ходит. Я оставила его дома. Неслась, как ветер, и нигде не встретила ни одного живого существа. На дороге одни трупы да сгоревшие машины, страшная, мертвая тишина вокруг… Но я решила найти вас во что бы то ни стало, эта мысль подгоняла меня. Так шла я, пока не наткнулась на немецкую заставу. Дальше меня не пропустили. Обратно я уже не шла, а плелась… И вот сидели мы здесь с папой…

— Мама предлагала повеситься, — сказал папа.

Мама его перебила:

— Я в отчаянии лежала в курятнике — и вдруг услышала твой голос!.. И папа прошептал: «Женя»… А у меня уже не было надежды…

— Когда и как вы вышли из-под скал? — спросила я.

— Ты ушла, — сказала мама, — а мы с папой почувствовали себя несчастными и одинокими, сидели и думали: что с нами будет? Под скалы набилось еще больше военных. Второго числа горел городок, над головой шел бой, мы слышали, как гремели и скрежетали танки, рвались снаряды. Потом затихло, и немцы начали бросать вниз гранаты. От осколков мы закрывались перинами и подушками. Многие пытались прорваться, но их перебили немцы. Они душили нас дымом, бросали зажигательные бомбы. Некоторые военные стрелялись тут же на наших глазах. Жаль мне одну молоденькую медсестру, она все следила за своим доктором, чувствовала, что он хочет застрелиться, но так и не уследила. Потом и сама застрелилась. Третьего числа мы видели далеко в море маленький катерок, который быстро продвигался к 35-й батарее. Немцы били по катерку снарядами. Мы просили у

судьбы удачи для него. Но фашисты, проклятые, подбили его или перебили всю команду: катерок остановился и долго потом болтался на волнах, как щепка.

На рассвете четвертого числа немцы пригрозили подорвать скалы динамитом и предложили сдаваться. Многие решили выходить. Мы с папой растерялись. Я дала ему бушлат — он со злостью швырнул его на камни, протянула часы, — он тоже их бросил. Я взяла только два одеяла и маленькую корзинку с посудой.

Когда мы вышли, немцы тотчас же отделили гражданское население от военных. Целый день мы просидели на солнцепеке. Бедный папа не захватил фуражки, и нечем было прикрыть ему голову.

Какой ужас мы пережили! Немцы привели десять наших командиров и объявили, что расстреляют их за то, что они защищались до последнего патрона и не хотели сдаваться в плен. Немцы посадили моряков лицом к колючей проволоке, которая ограждает городок. Один из пленных выхватил из кармана бритву, крикнул: «Умираю за Советскую Родину!» — и перерезал себе горло. Другой вскочил, выхватил у солдата винтовку и ударил прикладом немецкого офицера. Гитлеровцы всадили в него несколько пуль. Остальных стали бить сапогами и прикладами так, что они ударялись о колючую проволоку, и кровь струилась по их лицам. Я закрылась руками и стонала. Казалось, что я схожу с ума, не знаю, как только выдержала. Раздались выстрелы… Немцы схватили убитых моряков за ноги и оттащили в придорожную канаву.

Мама умолкла, а я долго думала, кто же были эти десять моряков-командиров. Не с нашей ли они батареи? Никто не знает имен погибших героев. Не о них ли неизвестно кем сложена Песня на мотив «Раскйнулось море широко»? И хотя эту песню я услышала позже, но именно сейчас мне хочется привести ее слова:

…
За нами холодное море,
И рвутся снаряды вокруг,
Дымится в развалинах город,
Сжимается вражеский круг.
Не в силах мы город родной отстоять.
Мы ходим в крови по колено.
Подкошенный пулей, свалился мой брат,
Никто не прибудет на смену.
Так значит, товарищ, нам здесь умирать,

Умрем же в бою, как герои!
Ни шагу назад, нам нельзя отступать,
Пусть нас в эту землю зароют.
Мы долгие месяцы дрались в кольце,
За свой Севастополь сражались,
Дома эти, улицы, камни его
Недешево немцу достались!
Прощай, Севастополь, наш город-боец!
Прощайте, орлята-ребята!
Патронам в обойме подходит конец,
Одна лишь осталась граната.
Пускай мы погибнем в неравном бою,
Но братья победы добьются,
Взойдут они снова на землю свою,
С врагами сполна разочтутся,
Пусть знают враги и запомнит весь мир —
Россия горда и сильна.
Как в море никто не достанет до дна,
Так не будет здесь власти врага.
Так яркое солнце нельзя потушить,
Так шторм успокоить нет силы!
Не будут враги в Севастополе жить,
Он станет им только могилой!

Пророческие слова у этой песни, родившейся в фашистском плену!

На пепелище

На нищем ложе из камней, досок, старых подушек и лохмотьев, подаренных знакомыми, — теперь почти такими же нищими, как и мы, — лежала я день за днем в курятнике, уставив глаза в серые, корявые, покрытые пылью стены. О чем я думала? Тяжелые мысли бродили в моей голове, я все еще не могла уйти с 35-й батареи и в думах своих находилась там. Чувствовала себя мертвой среди живых. Где-то на далеком Кавказе существует жизнь, туда ушла моя Родина. Что делать с собой, куда себя девать, как жить?

Во дворе на камнях увидела книгу — рассказы Станюковича, наугад раскрыла и попробовала читать. Переживания офицера, его любовная история с какой-то туземкой показались непонятными, ничтожными. Я закрыла книгу. Нет, не могу читать! И опять мысли: как жить в атмосфере, отравленной

вражеским дыханием? А сколько же надо терпеть?

Сейчас наши отступают, потом соберутся с силами и начнут наступать. Отбирать обратно все, что заняли немцы, будет нелегко. Два года, — решила я. И надо запастись терпением, большим терпением, ведь только началось. Умереть, не дождавшись освобождения, было бы ужасно.

Я встала, вышла во двор и сказала маме и папе:

— Думаю, что терпеть придется не меньше двух лет. Надо уходить из Севастополя, иначе мы умрем от голода. И я не хочу находиться здесь в осаде вместе с немцами!

А небо над Севастополем как будто рыдало: его затянуло черными тучами, потоки дождя обрушились на землю.

Мы спали в курятнике. Мама начала проявлять хозяйскую энергию: соорудила постели, положив доски на пустую бочку и подставку из камней. В бочку она складывала старье, подаренное знакомыми. Раздобыла иголку, нитки и принялась за шитье одежды для маленького Жени.

Мы сразу упали на самое дно нищеты: ни гребешка, ни куска мыла и даже крыши над головой нет. Целую неделю лили дожди, мы тонули в своем курятнике. Пришлось заняться крышей и уложить получше кое-как наброшенные друг на друга ржавые листы железа.

Водопровод в Севастополе был разбит. За водой ходили на Гоголевскую улицу или на вокзал. Мы вставали еще до рассвета, брали у соседки ведра и шли в очередь, где простаивали по шесть часов. Иногда я опускалась в колодец, наливала и подавала людям воду, за что получала право через двадцать ведер наполнять свои. Вылезала мокрая с ног до головы. Я все еще пила много воды, но чувство мучительного голода не оставляло теперь ни на одну минуту. Мы голодали. Ломоносова продолжала поддерживать нас: то даст немного сухарей или муки, то нальет поллитра молока. Мы делили пищу на такие порции, которые можно было бы взвешивать на аптекарских весах. Единственное, что в Севастополе было в изобилии, — это топливо: щепки, обугленные балки, перегоревший антрацит на местах бывших сараев. Топливо рядом, только варить нечего!

Оставшиеся в живых жители Севастополя были похожи на выходцев с того света: худые, оборванные, грязные, голодные, с потухшим взглядом глубоко ввалившихся глаз. Начались желудочные заболевания. Мы тоже переболели, а некоторые умирали. Очень многие жители были обожжены или ранены. Истощенные организмы отказывались бороться с болезнью: простой волдырь на пятке, царапина на пальце мокли, гноились,

не заживали.

Как-то я встретила краснофлотца с нашей батареи, переодетого в штатское. Он сказал, что решил с двумя товарищами пробираться на Украину и дальше к линии фронта, предлагая и мне идти с ними. Если бы я была одна!

Где достать пищу? Я ходила с Женей к морю, залезала по горло в воду и с остервенением обрывала ногтями мидии, крепко приросшие к подводным скалам, пока окончательно не замерзала. Крупные ракушки давно содраны такими же «рыбаками», как я, да и маленьких осталось немного. Улов был невелик. Крохотные, нежные тельца моллюсков казались нам необычайно вкусными, как курятина. Мама варила из них суп, но этого супа было чересчур мало.

И опять я часами лежала на спине в курятнике, глядя все на те же серые, запыленные камни.

Как-то вспомнила об Антонине Ивановне и ее муже. А Мария Тимофеевна Тимченко, по прозвищу «Мать»? Что с ними, живы ли? Надо найти их.

Когда я пришла на улицу Константина, меня удивил высокий забор из свежеоструганных досок. Он тянулся откуда-то с горки, закрывая входы во дворы и улицы, примыкающие к базару и Артиллерийской бухте. Забор оканчивался за домом Марии Тимофеевны, на углу Керченской улицы. Вокруг все было завалено домашним скарбом, среди которого метались растерянные люди. Ничего не понимая, я зашла за забор в истерзанный садик. Антонина Ивановна бросилась ко мне:

— Милая Женечка, нас выселяют, сделали запретную зону и за один день построили этот забор. Пришли немцы, крикнули «вэг!» и в пять минут выгнали всех. Сюда больше нельзя заходить. Некоторые все же пошли за своими вещами и были убиты… Сейчас у немцев обед, но они могут вернуться каждую минуту…

Я взялась помогать. Минут за десять мы перешвыряли через забор все мягкие вещи, вынесли даже кровати, и трюмо, хотя Антонина Ивановна и протестовала:

— Бросьте, Женечка, бог с ними, с этими вещами!

— А где же Мария Тимофеевна? — спросила я.

— Скрылась, — ответила Антонина Ивановна, — сказала, что уходит из Крыма на Украину. Она активистка, и немцы могут ее расстрелять…

Через несколько дней Антонина Ивановна поселилась совсем близко от нас, в домике своих хороших знакомых. Дмитрий Григорьевич от нервного расстройства и голода серьезно заболел; он так ослабел, что не вставал с кровати.

Теперь в городе за деньги ничего нельзя было купить.

Приезжали татары и меняли продукты на вещи.

Потом гитлеровцы «расщедрились»: выдали жителям по 200 граммов неободранного проса, которое годилось только для кур. Я поджаривала его на печке, растирала бутылкой, дула на него, пересыпая с ладони на ладонь, пытаясь отвеять шелуху, но ничего не получалось, пришлось варить его так. Даже наши голодные желудки не выдерживали такой пищи.

Иногда в городе возникал пожар; говорили, что кто-то поджигал уцелевшие здания.

Однажды на улице меня обогнал немец, рядом с которым шли научный работник Галаджио и библиотекарь Александра Николаевна Шаврова — мои бывшие сослуживцы по Биологической станции Академии наук СССР. Шли быстро. Выражения лица Галаджио я не заметила, он находился в середине, Александра Николаевна шла с краю, лицо ее было бледным и взволнованным. Проходя мимо меня, она шепнула;

— Идите рядом!

Я прибавила шагу.

— Нас подозревают в поджоге Биологической станции, ведут в гестапо. Найдите жену доктора Смирнова и скажите ей об этом, она живет на улице Ленина, номер 86.

— Хорошо, — тихо ответила я и отстала.

Часа два бродила я по развалинам улицы Ленина, безуспешно ища жену доктора и то место, где находился ее дом. В каких камнях, в каких щелях она жила — не знаю. Было разрушено лишь одно крыло биологической станции, остальное здание уцелело. Научный работник Галаджио и библиотекарь Шаврова старались спасти богатейшую библиотеку и ее экспонаты, упаковывали и прятали их. Но пришли немцы и поселились в уцелевшей части здания. Галаджио и Шаврова не сумели все скрыть и остались на станции ради спасения ее имущества. Два дня тому назад станция сгорела. Их подозревали в поджоге, арестовали, но через три дня все же выпустили. Оказалось, что медленно тлевшая крыша станции разгорелась сама без чьей-либо помощи.

Вступив на севастопольскую землю, гитлеровцы начали свое владычество с опубликования такого приказа.

> «Жители города Севастополя!
>
> Сегодня доблестные немецкие войска и союзные с ними румынские заняли сильнейшую крепость Севастополь.
>
> Жители города Севастополя, отныне кончились ваши страдания!

Всем красноармейцам, краснофлотцам, командирам, и комиссарам, оставшимся в городе, необходимо завтра в 5 часов утра явиться на площадь Арсенала. Кто не явится и будет найден в городе, будет считаться партизаном и расстрелян.

Всем жителям города с детьми завтра к 7 часам утра явиться на площадь III Интернационала для отправки в концлагеря до установления порядка в городе. Кто не явится и будет обнаружен в домах или на улице, будет расстрелян на месте».

Действительно… «отныне кончились ваши страдания»!

И все приказы, которые позже в изобилии развешивались на остатках стен, неизменно оканчивались словами: «тот будет расстрелян». Евреев заставили нашить себе на одежду шестиконечные звезды.

Вскоре части жителей было приказано «имея при себе вещей не больше 25 килограммов, явиться на стадион «Динамо».

Страшно было этим несчастным людям являться на стадион, они не знали, что им делать. Ходили слухи, что их собираются уничтожить, но многие этому не верили. В самом деле, как можно уничтожить ни за что беззащитных людей — детей, стариков и женщин?

Пошли все же люди на стадион «Динамо», со страхом, но пошли. А что было делать, где скроешься, куда спрячешься?

На другой день фашисты разрешили жителям растаскивать со стадиона вещи убитых. Вещей никто не брал. С возмущением рассказывали друг другу о том, что гитлеровцы сажали свои жертвы в машины-душегубки и увозили; одних душили газами, других расстреляли на бывшей даче Максимова.

Нормальному человеку просто невозможно понять этих гнусных садистов. Они хладнокровно, аккуратно спланировали массовое уничтожение людей! На виселицу выродков человечества, только на виселицу, им нет места на земле!

На улице я встретила немного мне знакомую женщину — бухгалтера из Ялты, ставшую теперь переводчицей в гестапо. Таких в народе стали называть «немецкими овчарками».

— Почему же вы не пошли на стадион и не набрали себе брошенных вещей? — спросила «овчарка». В ее тоне слышалось даже осуждение. — Ведь люди брали, — прибавила она, — надо было не упускать такую возможность!

— Люди? Вы говорите, люди брали? — повторила я, делая ударение на слово «люди». — А мне рассказывали, что люди-то и не хотели брать!

Но объясняться более откровенно с «овчаркой» было небезопасно, и я больше ничего не сказала.

Переводчица отошла от меня с таким видом, который говорил: «Ну и пропадай, черт с тобой, раз ты такая дура!» Вспомнив что-то, она остановилась и окликнула меня.

— Да, кстати, как звали вашего мужа?

— Борис.

— Ну, хорошо, что Борис, а то к нам в гестапо попал Михаил Мельник, за ним числятся всякие дела…

На этом мы и расстались.

Через несколько дней «овчарка» пришла в наши развалины и повела такую речь:

— Когда мы с вами разговаривали на улице, вас увидел наш главный повар из гестапо, вы ему очень понравились, он говорит, что в вас есть что-то экзотическое. Он просил меня передать, что предоставит вам целую комнату с настоящим потолком, через который не проникает дождь. Вы будете сыты, он оденет вас… Только, чтобы вы одна жили… Без родных.

— Я не продаюсь!

На этом наш разговор закончился, и «фрау Марина», как теперь она называлась, ушла.

В этот день, под вечер, я сидела на камне возле подземной «квартиры» Екатерины Дмитриевны и молча слушала, как она вслух размышляла: эвакуировали Степана Николаевича или нет?

— Как ты думаешь, Женечка? — наконец, обратилась она ко мне, — успели его эвакуировать?

— А какого числа?

— Я получила от него записку, что седьмого июня.

— Да, думаю, что успели.

— Но ведь знаешь, говорят, много раненых там перебито бомбежкой…

Я вспомнила Шевкета, но промолчала.

— А многих не успели увезти, и они мертвые так и лежат на своих кроватях, в пещерах, куда их перенесли в последние дни обороны.

Я слушала рассеянно, так как напряженно думала о письме, о том самом письме из Ленинграда, которое я тогда передала Степану Николаевичу. Теперь оно лежало у меня на груди, спрятанное от Екатерины Дмитриевны. Только что у входа меня перехватила бывшая ее соседка по квартире и обратилась с такими словами:

— Когда ранило Степана Николаевича, он дал мне исьмо и сказал: «Тут написано о смерти брата Екатерины Дмитриевны, когда будет подходящий момент, тдадите ей». Вы более близкий

для нее человек, отдайте сами.

Момент настал, именно сейчас надо отдать его, когда столько несчастий обрушилось на голову, когда нервы притупились и сила любого удара ослаблена многими предыдущими. Однако трудно было мне решиться нанести этот удар, будто воткнуть нож в сердце, и я все сидела, слушала и молчала.

Разговор, который и так был довольно немногословным, совсем заглох. Сгущались сумерки. Надо, наконец, решаться. Я поднялась, вынула письмо и протянула его Екатерине Дмитриевне. Мне тяжело и трудно было выжать из себя слова:

— Это письмо из Ленинграда, от Каси. Я давно его получила и отдала Степану Николаевичу, когда его ранило, он передал его вашей соседке, а она мне.

Я больше ничего не прибавила, и Екатерина Дмитриевна ни о чем не спросила, она сразу, без всяких слов поняла, что в нем написано.

Не было даже коптилки. Екатерина Дмитриевна пошла в пустынные развалины и там в темноте на груде камней с письмом в руках, просидела всю ночь, обливая письмо слезами. Только когда рассвело, она его прочла.

Пленные вместо лошадей. Встреча на улице. Почему я пошла в горуправу

Отца вызвали в городскую управу и предложили место заведующего каким-то «культотделом». Отец ответил категорическим отказом. Городской голова и его помощник «господин» Белецкий, который фактически и вершил всеми, делами, уговаривали его.

— Нам известно, что ваша семья осталась нищей и огибает от голода. Мы дадим вам квартиру, обстановку, вещи, вы будете получать паек.

Но отец упорно стоял на своем:

— Нет, я решил уехать в Ялту, там у меня дочь.

— Большевик! — закричал Белецкий.

Когда отец вернулся из управы и рассказал обо всем, мы в один голос ответили:

— Правильно поступил!

Немцы объявили всеобщую регистрацию населения и трудовую повинность: «Тот, кто отработает двадцать восемь дней и пройдет регистрацию, сможет получить пропуск из Севастополя». Голод бродил по городу, полоненный врагом Севастополь потерял теперь для жителей свою притягательную силу, все стремились его покинуть.

Трудовой повинности, по возрасту, подлежала из нашей семьи только я. В первые дни я не шла, продолжая созерцать серую пыль на камнях курятника. Надо уходить из Севастополя. Но без пропуска не выпустят, как же быть?

Однажды я увидела на улице девять пленных, запряженных вместо лошадей в телегу. Телега была нагружена толстыми и длинными бревнами, концы которых волочились по мостовой. Оборванные, худые пленные, напрягаясь изо всех сил, едва ее тащили. Пораженная, я остановилась. И вдруг услышала, как кто-то тихо окликнул меня: «Товарищ Мельник!» Я вздрогнула. Все было так неожиданно: и слово «товарищ», и чей-то знакомый голос, мгновенно вернувший меня к прошлому…

Я быстро обернулась и увидела широкоплечего, смуглого человека в поношенном штатском костюме, как говорится, собранном с бору по сосенке, в помятой кепке. В общем, вид у него был обычный для жителя Севастополя тех дней. Я его сразу узнала, несмотря на полную перемену наряда, сильную худобу и какое-то новое выражение глаз, раньше всегда веселых, слегка насмешливых, а теперь строгих. Это был один из командиров части, располагавшейся в леске возле нижней водокачки.

Несколько минут мы стояли молча и провожали взглядом телегу. Потом он слегка дотронулся до моего локтя и сказал:

— Идемте куда-нибудь, поговорим.

Я повела его в наши развалины, где он мне рассказал, что был легко ранен в плечо и потерял много крови, когда плавал, надеясь встретить в море корабль.

— Вот смотрите, — гость расстегнул рубашку, под которой я увидела почерневший от грязи бинт.

— Что ж делать, надо вас перевязать, но чем?

Я растерянно оглянулась, как будто в нашем курятнике могла обнаружить что-что похожее на перевязочный материал.

— Заживет, как на собаке, — усмехнулся командир, — рана уже затягивается. Вы не волнуйтесь, бинт не такой уж грязный, я его стирал в море и сушил на солнце.

— Вы на тридцать пятой не были?

— Нет. Когда меня выбросило на берег, я едва дотащился до воронки от бомбы, смутно помню, что покатился вниз и упал на дно. Потом был без сознания, таким меня и взяли в плен. Когда колонну военнопленных вели через город, мне удалось бежать. Какая-то женщина спрятала меня в развалинах, потом принесли эту вот штатскую одежду и переодели меня. Люди наши остались советскими и в беде всегда помогут!

Я посмотрела на его кепку и вдруг ясно представила себе

кубанку, которую он всегда носил. Не о нем ли рассказывала мне Екатерина Дмитриевна?

Это был непокоренный советский человек, который жил одной мыслью: вырваться из вражьего кольца и снова начать бороться. Но меня поразило его предложение.

— Евгения Петровна, идите в горуправу и постарайтесь в порядке трудовой повинности попасть на легкую работу, — сказал мой собеседник. — Скажите, что вы истощены, больны, попросите, чтобы вас посадили переписывать и регистрировать оставшееся в Севастополе население… Между прочим, городская управа ищет женщин для такой работы…

— Не пойду! — вспыхнула я.

— Зачем горячиться? Вы поймите, что, проникнув в горуправу, сможете спасти чьи-то жизни. Может быть, жизни пленных, что везли, телегу с бревнами. Может быть, спасете меня и моих товарищей от плена, возможно, еще кому-то понадобится ваше содействие. И семье вашей будет легче.

— Но что я смогу там сделать?

— Поверьте мне, случай представится. А что делать — я тогда скажу.

Я подумала и согласилась.

Наш гость был так же голоден, как и мы. Мама угостила его обедом, если вообще можно было назвать обедом похлебку, состоявшую из воды, едва приправленной мукой.

Уходя он сказал:

— Не ищите меня, я приду сам.

Он ушел, а я еще долго сидела на камне и думала… Может быть, он действительно прав… Я окажусь полезной не только своей семье, но и другим… И я опять вспомнила картину, которую видела днем: телегу и пленных, запряженных в нее.

На другое утро мне помогли принять решение… полицейские. Собрав в ближайших развалинах человек десять жителей, еще не отработавших трудповинность, они отвели нас в городскую управу.

В управе получилось все так, как предполагал мой советчик. В конце концов я оказалась за регистрационным столиком: писала, ставила в паспортах номера несуществующих домов. А голова кружилась, и в глазах темнело от голода.

Через несколько дней меня перевели в полицейскую канцелярию — мой почерк понравился начальнику — и засадили за книгу, в которой я должна была регистрировать все паспорта, выдаваемые сроком на один месяц, без права выхода за черту города. Иногда я усмехалась при мысли о том, что сказал бы мой

Борис, если бы узнал, что его жена работает… в полиции! Чего стоит одно это слово!

Мне стали выдавать 300 граммов хлеба в день и тарелку бурды в столовой. Я брала с собой котелок и в обеденный перерыв относила хлеб и суп домой. Мама делила пищу на четыре части, и это было почти все, что мы съедали за целый день.

Ломан или фон Ломан?

Прошло несколько дней, и в комнату, где выдавались паспорта, вошел человек в штатском. Старенькие обтрепанные брюки, пиджачок. Фигура его была далека от изящества. На белокурых волосах нелепо сидела помятая кепка. Это был капитан Ломан. Он сразу узнал меня, я поняла это по беглому взгляду, который он бросил в мою сторону. Однако он почему-то решил не признаваться и повернулся ко мне спиной.

Ломан жив, как я рада! Я была уверена в том, что он погибнет, и еще в лагере говорила Лиде:

— Кого мне особенно жаль, это Ломана. Он живым оттуда не выйдет, а если и выйдет, то немцы сразу же его расстреляют за активную деятельность в штабе обороны батареи…

Очевидно, решила я, Ломану удалось бежать из лагеря, он, наверное, скрывается. Сделаю вид, что его не знаю…

Ломан получал паспорт, следователь задавал ему какие-то незначительные вопросы, я исподтишка наблюдала. Через десять минут ко мне для регистрации поступил новый паспорт Ломана с приложенной к нему автобиографией. Мне сразу бросилась в глаза фамилия — фон Ломан. Что такое? Я пробежала глазами автобиографию: остзейский немец, сын урядника, биолог по профессии, до войны научный работник какого-то ленинградского института, имеет свои научные труды, мобилизован в армию в начале войны.

Значит, Ломан — это фон Ломан, немец? Значит, ему нечего скрываться, нечего бояться? Но что же он делал в Севастополе во время осады — тот Ломан, без приставки «фон»? Был ли он шпионом, предателем или просто выжидал, кто окажется сильней? Напрасно я о нем сожалела и беспокоилась за его жизнь!

— Здравствуйте, вот и пришлось опять встретиться.

Я подняла глаза — передо мной стоял и любезно улыбался Ломан.

— Здравствуйте, вот ваш паспорт.

Я не задавала вопросов, но Ломан почему-то решил

объясниться:

— Я вышел первого числа. Я очень хорошо говорю по-немецки, и немцы меня великолепно приняли: они отвели мне отдельную палатку, прекрасно кормили…

Я молчала.

Получив паспорт, Ломан вышел.

Я вспомнила свою первую встречу с ним в пещере возле 18-й батареи, вспомнила, как он проверял наши паспорта, как объяснял своим спутникам геологическое происхождение горной породы; вспомнила его щегольски пригнанную морскую форму, сияние пуговиц и нашивок. Изменник! Одно только приводило в недоумение: почему в первый момент при виде меня он смущенно отвернулся и не хотел признаться? И зачем врет? Первого числа он сдаться не мог, еще второго он был на батарее, это я знаю наверное, могла бы даже присягнуть… Если он фон Ломан, то почему боится того, что я знаю о нем?

Я думала — и молчала. Настало время, когда можно только думать, слушать, видеть и молчать… Молчать до поры, до времени.

Однако встреча с Ломаном в полиции не давала мне покоя, я старалась проследить за судьбой этого человека.

Мне говорили позже, будто немцы назначили Ломана начальником Севастопольской бактериологической станции. Это была серьезная должность, если принять во внимание севастопольскую обстановку тех дней, высокую зараженность земли и воды, которая вызывала эпидемию желудочных заболеваний. Конечно, гитлеровцы беспокоились не о населении города, а о своей армии.

Потом говорили, что в том же 1942 году Ломана увезли в Германию. Но я не ручаюсь за достоверность этих сведений.

После войны орудийный мастер старшина Евгений Красников рассказывал мне, что его друг краснофлотец Иванов, попавший в плен в Севастополе, тоже долгое время задавал себе вопрос: «Кто же такой Ломан?» И вот почему.

Иванов служил во время обороны под начальством Ломана. Был взят в плен, но бежал из лагеря. Довольно долго Иванов никуда не являлся. Наконец, рискнул пойти на биржу труда и выдать себя за рабочего. Каков же был его ужас, когда, переступив порог комнаты, он увидел перед собой Ломана в форме немецкого офицера, сидевшего за столом и вершившего делами. Иванов попятился к дверям, но убежать было невозможно: Ломан смотрел на него, и Ломан прекрасно знал Иванова.

«Ну, влип», — решил Иванов, и капельки холодного пота выступили у него на лбу.

— Что вы хотите? — спросил Ломан. — Подойдите к столу.

Он смотрел на Иванова так, как будто видел впервые.

— Я хотел получить справку, — сказал Иванов растерянно, приближаясь к столу, — справку о работе.

Такая справка спасала Иванова от плена, спасала его при облавах и в других случаях жизни.

Ломан ничему не удивился, ни о чем не стал расспрашивать, продолжал делать вид, что не знает Иванова, и выдал ему справку. Иванов поспешно вышел из помещения биржи, задавая себе вопрос: «Кто же Ломан?»

А в 1944 году, сразу же после освобождения Севастополя, Иванов, который уже был в рядах наших войск, прибежал к Красникову в сильном возбуждении и сказал:

— Я сейчас видел Ломана! Он шел по городу с группой командиров. На нем щегольская офицерская форма, только снова советская.

Марионетки

Ко мне в полицию пришел папа, его темные глаза метали молнии. Он только что был у помощника городского головы Белецкого, от которого надо было получить разрешение на пропуск из Севастополя. Белецкий принял папу издевательски: он его не видел и не слышал, хотя папа долго стоял перед его столом. Когда в кабинет заходили другие, Белецкий приобретал сразу и слух и зрение, когда же начинал говорить папа — он снова лишался этих чувств. Не добившись какого-либо ответа, папа, дрожа от бешенства, вышел из его кабинета и пришел ко мне.

— Я сейчас сама к нему отправлюсь, а ты успокойся и подожди меня здесь.

Я вошла в кабинет Белецкого. Узнав о том, что я дочь Клапатюка, господин Белецкий снова потерял слух и зрение. Он разлегся в мягком кресле, закинул ногу за ногу, поправил на носу пенсне и устремил невидящий взор поверх моей головы. Я говорила — он не отвечал, поворачивался к старику, сидевшему на диване, и задавал ему какой-нибудь пустой вопрос. Старика этого я знала: солидный, полный человек, кажется кассир, до войны я не раз встречала его в банке, когда он там получал деньги. Теперь бывший кассир исполняет у господина Белецкого должность сторожевого пса. Он всегда сидел на диване: одних принимал, а других, по знаку своего патрона, выставлял из кабинета. В данный момент господин Белецкий развлекался: он мстил человеку, отвергнувшему «благодеяния» городской управы.

Почему не поиграть ему с нами, как кошке с мышью, почему не насладиться своей властью? Не представить себе хоть на некоторое время, что возвратились времена «благородных сословий», презирающих и третирующих чернь? «Нет, господин Белецкий, — думала я, — все это временное. Никогда не сбудется то, о чем вы мечтали, сидя в советской тюрьме, когда вас осудили на десять лет за контрреволюционную деятельность!»

Господин Белецкий играл, а сам был игрушкой в руках гитлеровских властей, ничтожной куклой, которую дергают за ниточку, пока она еще нужна.

Пронафталиненные старики заполнили все должности городской управы. У меня было такое впечатление, как будто они долгих двадцать пять лет пролежали в душном сундуке, засунутые туда уже далеко не в молодом возрасте. Нафталин сохранил их от моли, но время их поело, истлели они по складкам и швам от долгого лежания. Теперь их вытряхнули, проветрили, починили, подлатали, пришили ниточки, чтобы управлять ими, и выпустили на сцену гнусного кукольного театра.

Правда, Белецкий не старик, он был моложе своих «коллег» и особенно зол, потому и руководил фактически всей городской управой.

Итак, этот гитлеровский холуй тонко и «интеллигентно» издевался надо мной. Я поняла, почувствовала каждым своим нервом, как он издевался над моим отцом, почувствовала полное бесправие, на которое обречена.

В кабинет входили другие посетители, с которыми Белецкий небрежно разговаривал, как высший с низшими, щурясь и поправляя пенсне на носу, обходя меня невидящим взглядом. Я замолчала, но стояла перед его столом. Если бы взгляд мог сжигать — Белецкий в одно мгновение превратился бы в кучку пепла. Мне хотелось броситься на него, вцепиться ему в горло и задушить. Я не хотела уходить, пока Белецкий не посмотрит мне в глаза.

Очевидно, взгляд имеет гипнотическую силу. Белецкий повернул голову и несколько мгновений с наигранным равнодушием смотрел в мои глаза. Конечно, то, что он в них прочел, сейчас его нисколько не испугало. Но придет такое время, когда его испугают взгляды советских людей!..

Как в тумане я вышла из кабинета. Право, я и не подозревала в себе такой непримиримой ненависти и жажды мести!

У руин своего дома

Закончился рабочий день. Мы с папой, задыхаясь, с трудом передвигая ослабевшие от голода ноги, поднялись по лестнице на гору возле развалин Петропавловского собора и пошли дальше. Теперь я все время ждала встречи с командиром, который посоветовал пойти в горуправу. Неужели он так и не придет? Быть может, он уже схвачен и его мучают где-то в застенках гестапо, а я все хожу и жду его?

Садилось солнце. Мы шли по улице, усыпанной камнями и щебнем, покрытой густым слоем белой пыли, среди развалин. На пути не встречалось ничего живого.

Мертвый, до основания разрушенный, обугленный город простирался перед нашими глазами. Дул сильный ветер, гремел листами железа — остатками крыш. По всему городу разносились завывание ветра и скрежет железа — других звуков не было слышно. Казалось, мертвый город, залитый багровым пламенем заходящего солнца, в бессильной ярости скрежещет железными зубами.

На худой фигуре отца свободно болталась старая помятая одежда. В его скорбных глазах светилось горе. Он шел, как пьяный, поминутно спотыкаясь о камни.

— Папа, — сказала я, — посидим немножко, отдохнем, ведь ты совсем выбился из сил. Я помоложе тебя, но и мне тяжело…

— Спустимся к нашему дому и там отдохнем.

Мы стали спускаться по обвалившимся ступеням лестницы к тому месту, где еще недавно на крутом склоне горы возвышался большой трехэтажный дом. А теперь лишь уцелевшая часть стены с пустыми глазницами окон поднималась к небу.

Солнце опустилось за горизонт, приближались сумерки. Отец подошел к обрыву и долго стоял там, опустив голову, глядя на беспорядочное нагромождение камней.

Чтобы не мешать ему, я присела в сторонке и с грустью смотрела на отца. О чем он думал? Вспоминал ли он о своей жизни в этом доме, или мысли его улетели еще дальше, к началу того трудового пути, которым он шел с самого детства?

Сын мелкого железнодорожного служащего, он с четвертого класса гимназии отказался от помощи отца и содержал себя сам. Его отец и мать жили на маленькой станции, а сына отдали учиться в город в гимназию. Он обладал блестящими способностями к наукам, огромным трудолюбием и жаждой знаний и в двенадцать лет был уже репетитором: за стол и квартиру «тянул» из класса в класс ленивого балбеса из зажиточной семьи.

Может быть, отец вспоминал о том, как сорок лет назад, молодым, только что окончившим Одесский университет

учителем, он приехал в Севастополь и начал здесь свою преподавательскую деятельность? В министерстве о нем не очень хорошо отзывались, считали вольнодумцем. Живой ум, многогранность интересов, кипучая энергия, жизнерадостность зато помогли ему завоевать глубокую любовь учеников, их родителей, товарищей по службе, многочисленных знакомых.

Еще в царское время летом, во время каникул, отец устраивал длительные экскурсии для учеников старших классов, прихватывая и нескольких малышей. Возил он их в Москву, катал по Волге и Дону, исколесил на подводах весь горный Крым и Южный берег. Для неимущих отец организовывал сбор денег. В советское время отец постоянно вел большую общественную работу.

В Севастополе его знали как лучшего преподавателя математики, друга и ценителя природы, интересного собеседника, обладавшего великолепной памятью. Сорок лет преподавательской деятельности, сорок лет жизни в Севастополе в одной и той же квартире! Он участвовал в создании первой коммуны, организованной в одном из национализированных имений. Годы труда, горести и радости — далеко не бесцельно проходила его жизнь. Наступила старость. И вот началась война, пришли враги. Нет больше дома у старого труженика. Расщепленное, поваленное дерево… Воронка от бомбы… Груда камней… Нищий, голодный, бездомный старик…

Будь я художником, написала бы такую картину: высокий, смуглый старик с лицом, истерзанным страданием и голодом, ссутулившийся от невероятной худобы, одетый в старые потрепанные диагоналевые, брюки и синюю морскую душегрейку, стоит и смотрит на развалины своего дома. Рядом с ним большая воронка от бомбы, поперек улицы лежит сломанное молодое деревцо акации. Вокруг старика и в перспективе — все те же покрытые слоем сажи и пыли развалины мертвого города. Багровые лучи заходящего солнца освещают эту печальную картину. И под нею я подписала бы: «Война».

Придя в свои развалины, мы застали у нас повариху с авиабазы и узнали одновременно две новости: в толпе военнопленных (их гнали сегодня через город в Бахчисарай) она увидела Наташу, которая крикнула ей:

— Женя Мельник погибла!

— Нет, она жива! — ответила повариха.

Кто-то крикнул, что старшина Поморцев, раненный в ногу, находится здесь, в лагере военнопленных. Я сейчас же послала Женю к его жене, которая жила недалеко от нас.

Ольга Петровна нашла своего мужа в одном из лагерей, но увы, ненадолго: на другой день после этого он исчез бесследно, увезенный куда-то из Севастополя. Ольга Петровна вместе со своим десятилетним сыном Борисом дошла пешком до Джанкоя, не пропуская по дороге ни одного лагеря в городах и деревнях, но узнать ничего не смогла. Гитлеровцы не вели списков военнопленных.

Ольга Петровна панически боялась немцев. Как-то в развалинах нашего курятника, шепотом, взяв с меня клятву молчания, она рассказала о том, что ей пришлось пережить в лагере, куда их пригнали из городка 35-й батареи.

«Пригнали нас к городу, когда уже темнело, — говорила Ольга Петровна, — остановили недалеко от кладбища, возле виноградника, и сказали, чтобы женщины все отошли в одну сторону, а мужчины в другую. Я решила, что сейчас нас будут расстреливать. Я бросила свои вещи, схватила Бориса за руку, шмыгнула в виноградник и упала там среди кустов. Недалеко от нас в кустах спрятался какой-то мужщина. Я закрыла мальчика своим телом. Не знаю, сколько часов мы так пролежали. Мимо по винограднику прошел немец, но не увидел нас в темноте. Наступила ночь. Совсем близко возле нас, в подвале небольшого уединенно стоящего дома, видно, пытали каких-то женщин. Они так стонали, что волосы становились дыбом от ужаса. А кто-то протяжно, на нескольких нотках играл на гармошке. Когда стоны усиливались, звук гармошки тоже усиливался и ослабевал, когда ослабевали стоны. Долго пытали людей, я в ужасе боялась пошевелиться. Потом я слышала, как их выводили за высокую стену кладбища и там поодиночке расстреливали. Слышно было, как их закапывали, я могла бы показать это место, где их закопали. Когда все стихло, я схватила Бориса за руку, выбралась из виноградника и, обезумев от ужаса, бросилась бежать. Где я бегала всю ночь — не помню, была, как сумасшедшая, и только когда рассвело, поняла, что нахожусь недалеко от Балаклавы. С наступлением дня я пришла в себя и окольными путями, минуя дороги и заставу, пробралась в город. Я не могу смотреть на немцев, — закончила Ольга Петровна — я немею и холодею от ужаса при взгляде на них»…

Через несколько дней она пришла ко мне и сообщила, что, разыскивая мужа, увидела в списках раненых, лежащих в больнице, фамилию Мельника.

— Пойдите на всякий случай посмотрите, вдруг это ваш Борис.

Мама также советовала пойти.

Я отвечала, что смотреть не пойду: ведь Борис сел на катер и

уплыл, я в этом убеждена. Не может он попасть в плен, не может! Я не хотела этому верить.

Я уже легла спать, но беспокойство все же не проходило. Едва наступило утро, как я решила пойти и проверить.

В окошко в больнице мне протянули книгу. Я села на камни и стала перелистывать ее. В книге нашла шесть Мельников, из них фамилии двоих были зачеркнуты и против них написано «умер». К счастью для меня, среди этих шести не было ни одного Бориса, но мне стало невыносимо больно за этих несчастных погибших людей, брошенных в безвестную братскую могилу. Сейчас я не думала и не хотела верить тому, что Борис мог не доплыть до Кавказа, погибнуть где-то в пути. Он сел на корабль, значит, спасся.

Посещение городка и встреча с предателями

Прошел месяц со дня оставления Севастополя. Единственным благодеянием судьбы было лето. Зимой вряд ли кто-нибудь из населения, военнопленных и раненых остался бы жив.

Мы с мамой надумали пойти под скалы и поискать, не сохранилось ли там чего-нибудь из наших вещей и документов, хотя надежды было мало. Пошли в воскресенье, когда я была свободна от трудовой повинности. Маленький Женя упросил взять и его.

Шли мы медленно. Но вот за поворотом дороги перед нами открылся печальный остов городка, с которым мы так сроднились за время осады. На переднем плане, возле шоссе — уцелевшая нижняя водокачка. Тихо, нигде не видно немцев, хотя мы не сомневались, что здесь стоит их часть. Начиная от того места, где отходила дорога на Камышевую бухту, и дальше к 35-й батарее валялись неубранные, ссохшиеся и почерневшие трупы наших бойцов, изредка встречались аккуратные холмики немецких могил с крестами и надписями.

Мы очень обрадовались при виде краснофлотца Щербины — товарища Бибика, работавшего раньше вместе с ним. Тут же были Вера, жена старшины Нечвалова, и Тася, бывшая работница подсобного хозяйства.

— Надо спросить разрешения коменданта, — сказал Щербина, когда мы ему объяснили причину своего прихода, — здесь запретная зона, и под скалы никого не пускают.

Нас накормили супом и даже напоили молоком.

— Откуда у вас молоко? — удивились мы.

— Нам подарили одну из нескольких уцелевших батарейных коров. Я ведь сохранил водокачку, не взорвал ее, а теперь

восстанавливаю. Немцы оставили меня здесь работать. Я женился на Тасе, мы теперь муж и жена, — похвастал Щербина.

В этот момент пришел старшина Петр Нечвалов — муж Веры.

— Как, и вы здесь? — удивилась я.

— Да. Надо было и вашему мужу поступить так, как поступил я. Для чего это он удрал? Я еще заранее припрятал несколько немецких листовок-пропусков, выждал здесь в щели во время боя, а потом пошел навстречу немцам в лесок и сдался с этими листовками…

Мы молчали. Что можно было ответить этим иудам, которые за тридцать сребреников продадут любого! Мы только с мамой незаметно переглянулись, а Нечвалов продолжал упрекать моего мужа в «глупости», как будто перед ним сидел сам Борис Мельник — герой Севастополя, а не его жена.

Я смотрела в землю. Наконец, поток красноречия Нечвалова иссяк. «Что, если бы Борису не удалось уйти из Севастополя? Этот гад предал бы его первым», — подумала я.

Я поднялась, за мной встали мама и маленький Женя. Удивительно, но этот десятилетний ребенок умел молчать, как взрослый, и ни разу меня не подвел.

— Нам пора, — и мы поспешили выйти из гнезда предателей.

Моя неустрашимая и неугомонная мама все же отправилась к коменданту, но вскоре вернулась. Мы с Женей ждали ее в леске.

Под скалы идти не разрешили.

— Они говорят, что подводные лодки иногда по ночам подходили туда и забирали людей.

— Подводные лодки! Неужели правда? Они так и сказали?

— Да, так и сказали, — подтвердила мама.

— Попасть бы тогда на подводную лодку!

…Обратно мы пошли не по дороге, а через лесок.

Грустное зрелище предстало перед нашими глазами. По разбросанным, втоптанным в глинистую почву предметам можно было определить, где что прежде находилось. Вот блиндаж с грудой разбросанных книг. А здесь была санчасть: склянки со всякими лекарствами, бинты, пакеты с ватой. Тут камбуз: куча соли слиплась в огромную глыбу, рядом рассыпанное пшено, смешанное с опавшими листьями и ветками. Тяжелое чувство испытывали мы от этого путешествия по леску!

К вечеру вернулись домой, измученные до последней степени. Во дворе сидел Бибик, поджидавший меня. Тот самый Бибик, которому удалось бежать из-под скал, выбравшись наверх по отвесному обрыву.

Он не раз приходил в наши развалины. Бедняга был всегда

голоден, мы делились с ним последней крошкой.

— Я пришел вас просить, — сказал Бибик, — быть свидетельницей. Хочу получить паспорт. Только надо кому-то дать показания, будто я работал на водокачке вольнонаемным рабочим и никогда не носил краснофлотской формы. Я нашел еще одну женщину-свидетеля. Получу паспорт и скроюсь, перейду фронт или в партизаны подамся. А вы, если хотите, поезжайте на Украину, дам вам адрес моего отца, он примет вас хорошо, если жив.

Я поблагодарила Бибика, адреса не взяла, а свидетельствовать согласилась.

Услышав; что мы были на нижней водокачке у Щербины, Бибик сказал:

— Вот узнай людей! Щербина был моим другом, а теперь оказался изменником и грабителем. Несколько дней тому назад я тоже был у него: на водокачке оставались мои вещи. Застал Щербину и Тасю возле дома; они сказали, что вещи отобрали немцы и у них ничего нет. Тася как раз стирала белое пикейное покрывало с кровати Наташи Хонякиной, на которой застрелился какой-то командир, и никак не могла отстирать большое пятно крови. На Тасе была черная суконная юбка, перешитая из моих брюк, я узнал их по следу, оставленному когда-то утюгом. На столе во дворе стояла швейная машина Шуры Шевкет.

— Да, — сказала я, — когда мы пришли, Тася что-то строчила на ней.

В комнату они меня упорно не впускали, — продолжал Бибик, — но я все же умудрился туда заглянуть и увидел в углу стопку чемоданов. Я сразу узнал свой.

— Почему же вы ничего им не сказали?

— Знаете, — ответил Бибик, — мне было стыдно за этих подлецов.

Мы сидели и думали: такие люди не построят своего счастья на измене, грабеже, слезах и крови других. Они делают ставку на сегодняшний день, ловят рыбку в мутной воде, думают, что в этой же зоде и утопят следы своих преступлений. Нет, так не бывает, черные дела выплывут на поверхность, ничто не скроется. Но как обидно, что на нашей батарее были такие гнусные люди и мы не разглядели их нутра!

Паспорта добыты

Неожиданно я встретила девушек-прачек с нашей батареи. Мы обрадовались друг другу. Они слышали, будто я потеряла сознание в пещере при выходе из потерны, была затоптана и

погибла. О прачках я слышала, что они утонули, когда край пристани обломился под тяжестью толпы. А сейчас все мы встретились — живые и невредимые.

Прачки просили меня быть свидетельницей на предмет получения паспортов. Я, конечно, согласилась, записала на бумажке сведения, которые должна была сообщить, заучивала их наизусть и боялась перепутать. Все сошло благополучно, но следователь был недоволен тем, что я выступаю свидетельницей, когда дело касается людей с 35-й батареи. Да еще я сама, оказывается, с этой самой, как сказал следователь, «распроклятой береговой батареи, известной всем своей скверной славой». Злобные слова гитлеровского прихвостня наполнили меня гордостью за мою батарею: видно, крепко она насолила врагу!

Вскоре прачек увезли на работу в Германию. С тех пор я ничего о них не знаю.

Через несколько дней после встречи с прачками я выступала как свидетельница Бибика. Когда он пришел вместе с какой-то женщиной — вторым свидетелем, мы предстали перед лицом следователя. Прочтя показания, следователь нахмурился.

— Что вы знаете о Бибике? — спросил он меня.

— Я его знаю давно, он работал на водокачке батареи вольнонаемным рабочим…

Удивительно, я никогда в жизни не умела лгать. Всегда при этом мои глаза смотрели в сторону, голос становился фальшивым. А теперь я чувствовала в голосе твердость, смотрела прямо. Вот, что значит убежденность. Лгать врагу — значит бороться за правду!

— Та-ак… — протянул следователь. — Вам известно, что за ложные показания вы отвечаете и как отвечаете.

— Известно, — спокойно ответила я.

Вторая свидетельница подтвердила сказанное мною..

Бибик получил паспорт.

Я вернулась к своему столу. Ко мне подошел следователь.

— Нам нежелательно, чтобы работающие у нас выступали в качестве свидетелей! Я молчала.

Возле здания, как всегда, толпа людей: все еще не окончилась регистрация населения. От толпы отделяется человек в потрепанной штатской одежде и помятой кепке, подходит ко мне и говорит едва слышно:

— Здравствуйте, товарищ Мельник!

— Наконец-то, — облегченно вздохнула я. — Где вы пропадали? Я так беспокоилась о вас!

— Отойдемте в сторону.

Мы отошли.

— Я выжидал, думал, что удастся уйти без вашей помощи. Дело в том, Женя, что со мной два товарища, идти открыто на регистрацию мы не можем. Нам нужно три чистых бланка паспортов. С печатями… Можете вы их достать?

Я подумала.

— Три чистых бланка достать не трудно, но печати?

— Обязательно печати!

— Вы представляете, как это трудно, — возразила я, — почти невозможно: печать всегда у следователя, он запирает ее в стол, если выходит. Попробуйте-ка возьмите!

— А вы попробуйте, — и легкая улыбка скользнула по лицу моего собеседника.

— Хорошо, — решилась я, — но не ручаюсь…

— Нет ничего невозможного на свете, коммунисты все могут, — сказал он. — Запомните это.

— Я беспартийная, — ответила я, но мне стало очень приятно от его слов.

Три чистых бланка незаметно взяла в тот же день. Чтобы не подвести женщину, которая со мной работала, и скрыть следы, занесла номера паспортов в книгу, написала вымышленные фамилии.

Чистые бланки паспортов лежали в ящике моего стола под бумагами. Теперь осталось самое трудное. Каждое движение следователя не ускользало от моего внимания. Даже не глядя на него, по звукам, я определяла, что следователь вынимает печать из футляра, ставит ее на паспорт, кладет обратно в футляр…

Так прошел день. На второй, встретив своего знакомого, я сказала:

— Бланки есть, но печати еще не поставлены.

На третий день, пройдя мимо, бросила ему: «Пока ничего». На четвертый я нервничала: неужели не смогу?

Вдруг приоткрылась дверь, на пороге остановился полицейский.

— Господин следователь, начальник полиции просит вас немедленно зайти к нему в кабинет.

В это время наш следователь разговаривал со своим коллегой. Разговор оборвался на полуслове.

— Сейчас я приду, подождите минуточку, — сказал следователь и поспешно вышел.

Печать осталась лежать на столе, я впилась в нее глазами. Прошло пять минут. Второму следователю, как видно, наскучило ожидание: он подошел к открытой двери в соседнюю комнату, остановился на пороге, заговорил с кем-то, потом сделал еще шаг, продолжая разговаривать. В дверях виднелась его спина.

Сердце мое билось, глаза расширились. Я бесшумно открыла ящик, достала бланки… Если обернется этот следователь или откроется дверь и явится тот? А эти две женщины, что сидят здесь? Как они будут реагировать? Но меня будто толкнул кто-то. Сама не знаю, как очутилась я возле стола: неслышно, с предельной быстротой разбросала бланки, схватила печать, быстро прижала к одному, второму, третьему; потом рывком сдернула бланки и сделала неслышный прыжок от стола.

В это время зашевелилась спина, и следователь обернулся. Усилием воли я заставила себя сделать несколько медленных и спокойных шагов. Голова кружилась, сердце колотилось, как в тумане, я видела лицо следователя, идущего к столу. Кажется, машинистка перестала печатать. В моих руках были бланки, руки дрожали. Я медленно села, не спеша открыла ящик стола и положила туда бланки. У меня не только не хватило сил взглянуть на следователя и прочесть в его глазах свой приговор — я чувствовала, что нужно спрятать свои глаза, которые сейчас выдадут меня с головой. Взяла ручку и низко склонилась над книгой.

В это время открылась дверь и вошел наш следователь. Перед моим мысленным взором пронеслась картина: крик, шум, один следователь рассказывает другому о том, что произошло, женщины вскакивают со своих мест, указывают на меня пальцами: она украла бланки! В комнату врываются полицейские, хватают меня…

Глухо, как сквозь стенку, доносятся до меня бубнящие голоса: это оба приятеля продолжают разговор. Я поднимаю голову и смотрю на женщину, сидящую против — она выписывает кому-то паспорт. Машинистка стучит на машинке. У меня отлегло от сердца. Пришло хорошее чувство: значит, смогла помочь своим людям, значит, не даром живу!

После работы я тщетно высматривала в толпе своего командира — его не было. Неужели он потерял надежду и решил, что не стоит больше ждать? Тогда бланки, добытые с таким трудом, окажутся бесполезными. Я уже завернула за угол, когда меня окликнул знакомый голос.

— Я видел вас, — сказал командир, идя рядом со мной, — но не хотел подходить. Вы искали меня глазами, чувствую, что бланки есть.

— Да, вот они, с печатями, как вы просили.

Он сильно, по-товарищески сжал и встряхнул мою невесомую руку, я даже пошатнулась.

— Простите, — извинился он, — это от избытка чувств.

Я понимала, что человек, имени которого не знала и даже не

поинтересовалась узнать, обладает сильной волей и будет бороться за жизнь и победу своего народа. От всей души я пожелала ему удачи и счастья в том деле, которое он задумал.

Мы расстались, и каждый пошел своей дорогой. Усталая, шла я домой. Голод снова проснулся. Перед глазами с упорной настойчивостью маячили видения разнообразной пищи и на первом месте хлеб. Сколько бы я сейчас съела хлеба!

Еще раз я была свидетельницей: помогала оформить документы старшине Сорокину. Это окончательно разъярило следователя. Мне объявили, что в моих услугах больше не нуждаются, несмотряна то, что я отработала только двадцать шесть дней трудовой повинности вместо двадцати восьми. Разрешения на пропуск из Севастополя мне не дали.

Жители покидают Севастополь

Немецкая комендатура находилась в большом уцелевшем доме на углу улицы Ленина и Пушкинской. Возле этого дома всегда толпились люди. Бесконечная очередь измученных людей с лицами землистого цвета никогда не убывала: все стремились получить пропуск из Севастополя. Но попасть к коменданту, кажется, было труднее, чем в рай.

Неожиданно нам передали записку от сестры из Ялты Каким-то образом она узнала, что мы живы, и теперь звала нас к себе.

Мы пытались получить пропуск. Часами выстаивали у комендатуры, но безрезультатно.

Всем жителям, в том числе и нам, пришлось пройти через полицейскую проверку. Перед следователем, к которому мы с мамой пришли, лежала большая толстая книга из розовой бумаги.

— Ваша фамилия?

— Мельник, — ответила я.

Следователь стал перелистывать книгу. В нее от руки были вписаны различные фамилии. У одной из них он задержался.

— Как звали вашего мужа?

— Борис, — ответила я.

Следователь закрыл книгу, написал справку о том, что я прошла проверку, и молча вручил мне. Так каждого человека, находившегося в Севастополе, пропускали через кабинет следователя с его розовой книгой, в которой были записаны фамилии политработников, партийных и советских активистов, работников НКВД.

Видно, какие-то шпионы поработали над ней еще во время осады. Теперь гестапо занималось тем, что вылавливало этих

людей и расстреливало их за городом.

Люди, бродившие в поисках пищи по заброшенным огородам, ранним утром видели ужасные сцены расстрела и едва уносили ноги. Всем стало известно, что если немец что-нибудь приказал — не вздумай ему возражать или противоречить: рискуешь жизнью или в лучшем случае получишь пощечину. Диким и странным было это мордобитие для гражданина нашей страны, в которой никто никого и никогда не смел тронуть пальцем. Внезапно мы все оказались «вне закона» и с первого же дня остро почувствовали свое бесправие. Севастопольцы за их стойкость во время обороны и глубокий патриотизм были у гитлеровцев на особом счету — на счету рабов самого худшего сорта.

Стремясь уйти из города, жители пытались за бесценок продавать оставшиеся у некоторых вещи. Образовался «толчок», на котором все продавали и никто не покупал, потому что и вещи и деньги одинаково ничего не стоили.

В начале улицы Володарского в двух небольших бомбоубежищах под скалой, где пахло сыростью и плесенью, поселилась семья Дмитрия Григорьевича Воронцова. С ними вместе жила и работница подсобного хозяйства Маруся со своей семилетней дочкой Дуняшей.

Мы с папой пришли к ним однажды. Присев на корточки возле сложенного из камня очага, жена Воронцова пекла лепешки, а Дмитрий Григорьевич, сидя на камне, резал на дощечке тесто на галушки. Нас с папой встретили радостно и приветливо.

— Отыскался мой знакомый, — сказал Дмитрий Григорьевич, — и поделился с нами мукой, которую выменял на вещи. Мы хотим уходить на Альму, там живет мать жены и ее сестра. Отработаю трудповинность, получим пропуск и уйдем.

— А мы хотим перебраться в Ялту к дочери, да вот не знаю, как получить пропуск, — и папа рассказал Воронцовым о своем посещении городского головы.

— Ничего, Петр Яковлевич, мы еще дождемся своих, а эти будут висеть на одной веревке, — ответил Дмитрий Григорьевич.

Воронцовы, как и мы, не добились пропуска, но собрались в путь без него. Решили пробиться пешком через Северную сторону, идти окольными деревнями, минуя симферопольскую дорогу.

Что же было делать нам? Мы тоже пошли бы пешком в Ялту, но папа ослабел еще больше, такой путь ему не под силу.

Воронцовы звали идти с ними на Альму, и я решила так: пусть идут мама с мальчиком, может быть родственники Воронцовых пока приютят их, а мы с папой останемся, постараемся получить пропуск и попытаемся на чем-нибудь приехать.

Накануне ухода Воронцовых, случилось несчастье с Марусей, собиравшейся идти вместе с ними. У нее вспыхнула банка с бензином, Маруся получила сильные ожоги. Поэтому она с маленькой Дуней осталась на моем попечении.

Маме пришлось много перестрадать. Мучительным путем стали для нее эти шестьдесят километров. Голодная без сил, с растертыми до крови ногами тащилась бедная старуха, ведя мальчика. В деревне Бурлюк (теперь село Вилино) их накормили сердобольные люди, позволили переночевать в саду, на траве. Едва живые дотащились мама с Женей до Альмы. И что же? Родственники приняли Воронцовых очень скверно, а о маме и говорить не приходилось. Мама сразу поняла что оставаться тут нельзя, взяла за руку мальчика и ушла. Стала бедная мама на дороге в горестном раздумье, не зная, что делать. Возле нее остановилась проходившая мимо женщина и спросила:

— Откуда вы?

— Из Севастополя, — ответила мама и рассказала о своем безвыходном положении.

— Идемте ко мне, — предложила женщина, — живите пока у меня.

Она, эта простая колхозница Евфросинья Ивановна, накормила, напоила и уложила спать на своей кровати маму и мальчика. Народ вообще очень жалел севастопольцев и относился к ним с сочувствием и уважением.

У меня же дела обстояли так. Марусю я взяла к себе. Она пролежала у меня три дня, ей становилось все хуже. Пришлось устроить ее в больницу. Дуняша осталась у меня. Каждый день мы навещали Марусю.

Тяжелое впечатление производила больница: раны и ожоги у больных не заживали из-за отсутствия питания и крайнего истощения организмов.

Мы с папой все еще пытались получить пропуск, но через неделю после ухода мамы окончательно убедились в бесплодности наших попыток. Надо было уходить и нам. Вещи, подаренные знакомыми, было решено оставить у Екатерины Дмитриевны, переселившейся ко мне в курятник. Дуняшу решили взять с собой в Альму и отвести к Воронцовым, о чем договорились с Марусей. Но что делать с папой, ведь он не может идти!

Я целыми днями ходила по городу и останавливалась возле машин, если за рулем сидел русский шофер.

Таких машин было мало, и шоферы задавали один и тот же вопрос:

— А что вы за это дадите?

Я знала: за провоз одного человека надо отдать костюм, или модельные туфли, или две тысячи рублей. А у меня осталось всего рублей триста, и никаких костюмов и туфель не было.

Да, пользовались тяжелым положением соотечественников те шкурники, что пошли прислуживать оккупантам!

— Ну что же, папа, — сказала я, — попробуем, пойдем пешком?

— Пойдем, чего же ждать, — ответил папа.

Я начала быстрые сборы. Вдруг калитка открылась и во двор вошли Щербина с Тасей.

— Мы к вам с просьбой, — обратился ко мне Щербина, — нам с Тасей нужно получить паспорта. Один свидетель есть, и мы надеемся, что вы будете вторым.

— Нет, я свидетелем вам не буду, — коротко и сухо ответила я.

Почему? — удивился Щербина, — вы же были свидетелем Бибику.

— Бибику была, а вам не буду!

— Но почему же?

Щербина с Тасей уселись на камнях и напрасно тратили слова, пытаясь меня уговорить. Но я твердо решила изменникам не помогать. Не глядя на них, я продолжала поспешно складывать вещи, сухо и коротко отвечая: нет, нет и нет.

Наконец, Щербина и Тася ушли, не солоно хлебавшие.

Итак, мы отважились идти пешком. Кое-какие вещи я завернула в байковое одеяло и закинула узел за спину. Дуняша взяла Марусин большой вязаный платок, надела ботинки, папа — пиджак. Распрощавшись с Екатериной Дмитриевной, мы отправились в путь.

На улице Ленина повстречались с хорошей знакомой — вдовой художника и научного работника Херсонесского музея Ольгой Алексеевной Янышевой.

— Нас с сестрой выгнали из Херсонеса, — жаловалась нам Янышева. — Дом ограблен дочиста, картины Николая Павловича все до единой вывезли…

На мгновение перед моими глазами предстали комнаты квартиры Янышевых, стены которых были сплошь увешаны картинами Николая Павловича. Значит, теперь все его картины увезены грабителями.

— Вернутся обратно! — убежденно сказала я.

Не знаю, вернулись ли картины, но тех, кому они принадлежали, уже нет: вскоре Ольга Алексеевна Янышева и ее сестра умерли от голода.

Уходим из Севастополя

На Графской пристани, откуда отходил баркас, перевозивший людей через бухту на Северную сторону, стояла большая очередь. Мы стали ждать. В бухте было неспокойно: сильный ветер вздымал волны с белыми гребешками. Пока дошла до нас очередь, ветер еще усилился, баркас с трудом пришвартовался к пристани.

— Может быть, отложим на завтра? — предложил папа. — Смотри, какой ветер и волны.

— Нет, — ответила я, — нет. Раз решили уходить, значит, идем, не надо откладывать.

Мне показалось ужасным вернуться обратно теперь, когда уже двинулись в путь.

Мы прыгнули в баркас, который то вздымался почти до уровня настила пристани, то проваливался вниз. Гребли русские. Баркасом распоряжался немец. Он грубо, по-хамски толкал людей, как скотину, одних заставлял сесть на банки, а других на дно. Если кто-нибудь ему мешал, он ругался, действуя при этом своими кулачищами и ногами. Баркас качало и швыряло на волнах, гребцы, изнемогая, с трудом выгребали против ветра, немец ругался…

Я смотрела на бухту: разбитые здания окружали ее, берега сплошь усеяны обломками погибших кораблей. Мертвым, далеким и чужим казалось мне все. И странно было сознавать, что это та самая бухта, которую я видела и переплывала в своей жизни бессчетное число раз.

Без сожаления мы с отцом покидали Севастополь. Глядя на море, я думала: если бы ты было степью, я бы не попала в оккупацию! Никогда больше не хочу тебя видеть.

А море бушевало, волны гневно ударяли в борт баркаса, в котором бесновался немец. Огромный вал взметнул баркас на гребень и, как ореховую скорлупку, с силой бросил его вниз. Немец испугался и притих.

Наконец, баркас пристал к берегу Северной стороны. Мы с папой и Дуняшей стали медленно подниматься в гору. С непривычки мои плечи болели и ныли, ноша казалась непосильной тяжестью. Сильные порывы ветра поднимали тучи пыли, заставляли ослабевшего папу поминутно останавливаться, казалось ветер сейчас собьет его с ног. Пришлось взять у папы пиджак, а у Дуняши платок и ботинки, которые натерли ей ножки, и еще больше навьючить себя.

Мы проходили мимо 30-й батареи, держа путь на деревню

Бельбек. Здесь покрыли себя вечной славой артиллеристы капитана Александера, восемь месяцев не подпускавшие врага к городу. Совершив все, что было в их силах, многие батарейцы теперь покоились где-то в глубине горы. Еще свежи были следы боя, вспаханная снарядами и бомбами земля не успела зарасти травой. В воронке, наполненной водой, плавал труп. Молчаливые развороченные бетонные доты… Осыпавшиеся окопы… И теперь эта тишина, опустившаяся на землю, где восемь месяцев все беспрерывно гремело и двигалось, давит и гнетет.

Мы спустились в Бельбекскую долину — долину фруктовых садов, окаймленных высокими тополями. Но что осталось от этих садов! Искалеченные, изуродованные, обгорелые деревья с обрубленными верхушками и ветками, почерневшие остовы тополей. Сады заросли густым бурьяном и огорожены проволокой, на которой висят таблички с немецким словом «minen».

Мы шли деревней Бельбек. Солнце склонялось к закату, кончался день, а мы прошли всего восемь километров! Через открытые двери дома увидели татарку, сидящую перед огромной грудой яблок.

— Подожди, папа, я спрошу, может быть, она продаст немного яблок…

Мы с Дуняшей направляемся к татарке. Увы! Я вижу перед собой враждебное лицо.

— Только меняю на вещи! — говорит она.

Возвратившись на дорогу, я застала папу в беседе с каким-то старым крестьянином.

— Это моя дочь, — представляет меня папа.

— Ах учитель, бедный учитель, что приходится вам терпеть! — восклицал старик. — Идемте, идемте скорей ко мне, — предложил он, — я вас накормлю и уложу спать.

И мы покорно пошли за ним.

Старик завел нас во двор и усадил на лавку, а потом вынес нам по тарелке борща и по куску лепешки.

— У нас самих почти ничего нет, — извинялся он за скудное угощение, — но постели я вам постелю такие, что вы хоть одну ночь как следует поспите и отдохнете.

Крестьянин так хлопотал, будто встретил самых дорогих и любимых родственников. Когда он снова ушел в дом, я спросила папу:

— Что это за человек? Твой знакомый?

— Нет, — ответил папа, — я вижу его в первый раз.

Обогретые душевным теплом приютившего нас человека, мы с папой и Дуняшей с наслаждением маленькими глотками ели

борщ.

В это время во двор зашел какой-то человек в запыленной одежде.

— Можно у вас посидеть и отдохнуть? — спросил он нашего хозяина.

— Садитесь, отдыхайте вот тут, на лавочке, — радушно пригласил хозяин. — Откуда и куда идете?

— Я сегодня утром вышел из Симферополя, иду в Севастополь, — коротко ответил незнакомец, по всей вероятности не расположенный к дальнейшим разговорам.

Хозяин понял это и, не расспрашивая больше ни о чем, скрылся в комнатах. Через несколько минут вынес и прохожему тарелку борща, прося прощения, что нет больше лепешек. Человек горячо поблагодарил, он, видно, тоже был голоден. Мы с папой поделились с ним, отломив по куску от своих лепешек. В сгустившихся сумерках я не могла рассмотреть лица незнакомца, но по его облику и флотским брюкам можно было предположить, что это переодетый в штатское моряк. Поев и отдохнув минут пятнадцать-двадцать человек встал.

— Благодарю за гостеприимство, теперь я пойду дальше.

— Оставайтесь ночевать, — предложил хозяин, — ведь вы устали!

— За один день из Симферополя в Севастополь! — воскликнула я.

— Я привык быстро и много ходить, — ответил незнакомец, — мне это нетрудно, сегодня я должен быть в Севастополе.

Попрощавшись, он скрылся во тьме наступившей ночи.

Я почувствовала в нем смелого человека, который пробирается в Севастополь с каким-то тайным заданием. А ведь хождение ночью запрещено под угрозой расстрела.

Постели действительно были прекрасные, с грудой подушек и чистым бельем. Я с наслаждением вытянулась на мягкой перине и натянула на себя прохладную простыню. В первый раз за последние два месяца, которые стоят многих лет жизни, меня охватило отрадное ощущение тепла и уюта. Сквозь дрему я услышала мягкий голос хозяина, доносившийся из соседней комнаты:

— Хорошо ли вам, учитель?

…Чуть брезжил рассвет, когда мы поднялись. Я торопила папу:

— Идем скорей, надо выйти пораньше!

— Я пойду в деревню, — сказал хозяин, — кажется, должна идти в Бахчисарай подвода, попрошу, чтобы вас взяли, а вы

подождите на дороге.

Выйдя из деревни на дорогу, мы сели возле дота и стали ждать.

Уже солнце взошло и начало припекать, а подводы все нет. Мы медленно пошли по дороге.

Пройдя не больше километра, увидели стоявшую на шоссе машину. Из сада вышел шофер с кошелкой яблок. Узнав, что машина идет в Симферополь, я попросила:

— Возьмите одного старика, мы с девочкой пойдем пешком.

Лицо шофера было каменным, но я не отставала, так как боялась, что отец скоро свалится на землю и не сможет сделать ни шага. Наконец, шофер снизошел к моим просьбам. На радостях я сделала глупость и отдала отцу все вещи, надеясь, что его довезут до Альмы, а мы с Дуняшей без вещей скорей дойдем. Но, как потом оказалось, шофер ссадил папу с машины в Бахчисарае, заявив, что без пропуска дальше не повезет. До Альмы оставалось еще двенадцать километров, и бедному отцу, еле двигавшемуся, пришлось еще навьючить на себя вещи. Однако свет оказался не без добрых людей. Фигура старика, через силу бредущего по дороге, тронула сердце какого-то русского шофера, который остановил машину, посадил в нее отца и довез до Альмы.

Нам с Дуняшей тоже повезло; другой шофер подобрал нас и довез до Бахчисарая, оттуда мы уже пешком пришли в Альму.

Семья колхозников Тамбовцевых

Радость встречи с мамой была омрачена. Добрая женщина приютила маму и мальчика. Но не могла же она посадить на свою шею всех нас, у нее своя семья. И, несмотря на то, что Евфросинья Ивановна не выказала и тени неудовольствия, нам было не по себе.

Я сейчас же повела Дуняшу к Воронцовым, но оказалось, что они вынуждены уходить от своих родственников. К счастью, одна колхозница, слышавшая наш разговор, взялась воспитывать Дуняшу, пока не поправится ее мать.

Евфросинья Ивановна поселила нас в одной из своих двух комнат, устроила постели. Вечером, сидя на лавочке возле окон, мы беседовали с ней и ее мужем о наших дальнейших перспективах. Речь шла о том, чтобы папе устроиться учителем в какой-нибудь из окрестных деревень.

Для этого хозяин предложил поехать в Бахчисарай. Рано утром они уехали на попутной подводе. К вечеру вернулся хозяин и сообщил, что папа остался в в Бахчисарае у Сергея Павловича

Богоявленского, нашего севастопольского знакомого, еще до войны переехавшего в Бахчисарай, где он жил со своей дочерью Соней.

— Петру Яковлевичу предлагают должность преподавателя бахчисарайской школы, — сообщил хозяин, кажется, он хочет взять это место.

Зачем я не поехала с папой, не отговорила его! — горевала я: в Бахчисарае мы погибнем от голода, а в деревне не дадут умереть.

Но делать нечего, решили ждать результатов папиной поездки.

Чтобы как можно меньше отягощать Евфросинью Ивановну, мы старались сами добывать себе пищу. В сорок втором году был необычайный урожай яблок. Альма от войны не пострадала, странно было видеть после развалин Севастополя совсем целую деревню с фруктовыми садами и аллеями тополей. Ветви яблонь ломились от тяжести плодов.

Конечно, все это присвоили гитлеровцы. Они эшелонами вывозили яблоки в Германию, машины, груженные доверху, развозили их по немецким войсковым частям. Вход в сад был воспрещен. Но мы не обращали внимания на запрещение, проникали в сад и собирали падалицу, которую варили и ели. Евфросинья Ивановна каждый день подсовывала нам что-нибудь из еды: тарелку борща на всех, кусочек хлеба, несколько сухарей или еще что-то.

Дом, в котором жили Тамбовцевы, принадлежал бывшему кулаку. Он и его жена занимали половину дома. В остальных двух маленьких комнатах размещались Евфросинья Ивановна с мужем, четырнадцатилетним сыном и двенадцатилетней дочерью, да теперь еще появились и мы.

И вот кулак решил, что, наконец, дождался своей власти, пора ему дом прибрать к рукам. Он объявил Евфросинье Ивановне, чтобы ее семья немедленно выселилась, иначе он позовет полицейских.

На следующий день утром явились два пьяных полицая и приказали тотчас же выселяться.

— Нам выселяться некуда, — ответили Тамбовцевы.

Казалось, полицейские только этого и ждали. С криком и руганью, как два пса, спущенных с цепи, набросились они на Тамбовцевых. Мужу в кровь разбили лицо, Евфросинью Ивановну несколько раз ударили кулаком. Тамбовцевы еле вырвались из лап полицаев и убежали. Хорошо, что детей не было дома.

Мы с мамой, онемевшие и пораженные всем происходившим, стояли во дворе.

Полицейские вытаскивали вещи на крыльцо, с ожесточением швыряли их так, что они ломались и разбивались.

Я зашла в комнату, чтобы взять свою косынку; один из полицаев набросился на меня с криком:

— Не хочешь выселяться? Сейчас вышвырнем все твои вещи, вышвырнем!

Когда же я попробовала ему возражать, он заревел:

— Молчать!

И, схватив меня, начал трясти и с размаху бить о стену.

Красная разъяренная рожа мелькала перед моими глазами. Я еле вырвалась, с громким плачем выбежала из дома, помчалась вниз с горы. Слезы глубокой обиды душили меня. Наконец, я успокоилась, вернулась во двор, и мы с мамой молча сели на скамеечке под окнами дома.

Полицейские, застревая в дверях, тащили шкафчик с посудой. Шкафчик словно упирался, цепляясь за косяки и не желая выходить из дому. Наконец, полицаям удалось вытолкнуть его за двери, и бедный шкафчик, звеня посудой, покатился по двору.

Вдруг в окошке над нашими головами появилась красная пьяная рожа с налитыми кровью глазами.

— Вот патроны! — закричал полицай. — Я их на шел на шкафу!

Он протянул руку: на ладони лежало несколько винтовочных патронов.

— А вот акт, — в другой руке он держал лист бумаги, на котором что-то было написано карандашом. — Подпишите акт!

— Ничего мы не подпишем, — спокойно ответила я, — патроны вы могли вынуть из кармана.

— Подпишите! — заревел полицай, как разъяренный бык.

— Нет, не подпишем! — ответила мама.

На мгновение он опешил: как? Эти две заморенные женщины, находящиеся полностью в его руках, смеют ему возражать!

— Нет, подпишите! — и он с яростью стукнул кулаком по подоконнику.

— Нет, не подпишем! — твердо сказали мы.

— Застрелю! Застрелю! И Отвечать не буду. Все равно вы люди пропащие!

И, схватив винтовку, кинулся вон из комнаты. Второй полицейский бросился вслед за ним и нагнал его на крыльце, когда тот уже вскидывал винтовку. Видимо, менее пьяный второй полицейский стал вырывать оружие у своего собрата. В ожесточенной драке оба свалились с ног и покатились по двору. Такие сцены нам раньше приходилось видеть только в кино.

На наше счастье, второй полицейский оказался сильнее и

завладел винтовкой. Тяжело дыша, поднялись полицаи с земли, но ссориться больше не стали. При взгляде на нас первый полицай опять разъярился.

— Давайте свои паспорта! — взревел он. — Вы пришли без пропуска, я отправлю вас в лагерь военнопленных, я сгною вас там!

Теперь оба полицейских, ругаясь, набросились на нас, требуя паспорта. Протестовать? Невозможно, мы бесправны. Я молча достала и отдала паспорта. Первый сунул их себе в карман, и полицаи принялись за продолжение погрома.

Они вытащили на крыльцо мешок с пшеницей — самое ценное достояние Тамбовцевых — и потащили куда-то за дом. Мы встали, пошли вслед за ними и увидели, что полицейские спрятали мешок в сарайчике кулака, стоявшем за домом. В это время вернулись Тамбовцевы с толпой крестьян и старостой. Поднялся страшный шум: крестьяне схватили отбивавшихся полицейских и потащили их прочь, полицейские изощрялись в ругани.

Староста объявил кулаку, что выселять Тамбовцевых он не имеет права. Дом стал, дескать, достоянием германского государства.

Вечером староста принес нам паспорта, отобранные у полицейских. Этот староста, так сказать, вилял хвостом, делал вид, что сочувствует советским людям, что и явилось впоследствии причиной гибели Тамбовцева. Мы помогли Евфросинье Ивановне и ее мужу собрать и расставить все вещи по местам и принести из сарайчика мешок с пшеницей. Многие вещи были поломаны, а посуда разбита.

Мы прожили у Евфросиньи Ивановны две недели. Наконец, в записке, переданной проезжавшим через Альму крестьянином, папа сообщил, что поступил преподавателем математики в бахчисарайскую школу, живет у Сергея Павловича Богоявленского. Сергей Павлович и его дочь участливо отнеслись к папе и предлагают всем нам, пока не устроимся, поселиться у них. Мы решили немедленно отправляться.

Расстались с Тамбовцевыми очень тепло, глубоко благодарные им за доброе отношение. Муж Евфросиньи Ивановны посадил нас на попутную телегу, и мы уехали.

Печальна судьба семьи Тамбовцевых. В живых остались только Евфросинья Ивановна и ее дочь. Четырнадцатилетний сын ушел к партизанам. После одного из боев труп его был найден у кромки леса и опознан крестьянами. Муж Евфросиньи Ивановны погиб из-за одной единственной советской газеты, которую получил от кого-то и дал прочесть старосте, поверив ему и не

зная, что тот ведет политику «и нашим и вашим». Эта оплошность стоила Тамбовцеву жизни, он повесился на своем ремне в гестаповской камере, но никого не выдал.

Встреча с сестрой в Бахчисарае. Поездка в Севастополь

Радушно встретили нас Богоявленские. Их домик, стоявший возле речки Чурук-су, был, кажется, так же стар, как и сам Сергей Павлович. Крохотный садик, высокая стена забора, в нижнем этаже — сараи, в верхнем — две небольшие комнаты; одна Сергея Павловича, другая Сонина. Богоявленский уступил нам свою комнату, так как до наступления холодов жил в летней комнатке-клетушке.

Не имея никаких запасов продовольствия, Богоявленские, как говорится, перебивались с хлеба на квас, выменивая продукты на последние вещи.

Папе дали карточки на хлеб и в столовую. Скудный хлебный паек мы делили на всех поровну. Раз в день в столовой давали по тарелке воды, в которой плавало немного капусты, и за этим обедом приходилось простаивать по два-три часа в очереди.

Папа работал, я тщетно пыталась устроиться, меня нигде не принимали. Бахчисарай город татарский, русского населения, там было очень мало. Здесь стояли немецкие части и добровольческие татарские подразделения.

Но вот однажды кто-то постучал в калитку. Соня юшла открывать, и мы услышали знакомый, родной голос Лели — моей сестры. Мы бросились к окну и увидели Лелю, согнувшуюся под тяжестью рюкзака. Нечего и говорить о том, какова была эта встреча — и радостная и грустная в одно и то же время. Сколько тяжелых мыслей друг о друге приходило нам в головы в течение года, и вот мы встретились — голодные, нищие, заморенные, но живые.

В Ялте не было продуктов, за ними ходили через перевал в Симферополь и оттуда в окрестные деревни. Ходила и Леля. В Симферополе прослышала, будто нас видели в Альме. Расспрашивая крестьян, она постепенно добралась до Евфросиньи Ивановны.

— Я решила переезжать в Симферополь, — сказала Леля, — в Ялте жить невозможно, там ужасный голод. Я встретила там Васю и Тамару Дроздовских, они и сказали мне про вас. Вася и Тамара зовут к себе. Постарайтесь и вы переехать в Симферополь. Остановимся у Дроздовских, а потом, может быть, найдем себе комнату.

Так и порешили: папа, не отказываясь пока от работы в

Бахчисарае, съездит с маленьким Женей в Симферополь, а мы с мамой отправимся в Севастополь; постараемся получить пропуск и привезти на поезде вещи прямо в Симферополь.

Через два дня Леля отправилась в обратный путь.

Устроив папу и Женю на попутную машину, шедшую в Симферополь, мы с мамой пошли на вокзал, взобрались на открытую платформу товарного поезда и поехали в Севастополь.

На Мекензиевых горах вдоль дороги, так же как и в Бельбекской долине, был протянут тонкий провод, висели таблички с надписью «minen». Вместо леса — ободранные кустики и пеньки деревьев. Словно вчера брошенные окопы, землянки, доты и дзоты. Валяются каски, поломанные винтовки, возле которых стоит под деревьями вбитый в землю маленький грубо сколоченный столик, вокруг него скамейки и вся земля усыпана бумагами. Пусто… Нигде ни души… Проезжаем Инкерман, здесь еще видны следы боев: перевернутые и разбитые паровозы, вагоны, автомашины, танки, орудия, всюду валяются гильзы от снарядов, винтовочные патроны, обрывки шинелей, каски, противогазы.

Октябрьский ветер был довольно свеж, особенно на открытой платформе во время хода поезда. Мы продрогли. Но вот поезд подошел к перрону.

Мы потихоньку слезли с платформы и прошли через сгоревшее здание вокзала на площадь. Здесь был настоящий цыганский табор: площадь сплошь уставлена вещами, среди которых сидели, лежали и ходили люди. Оказывается, немцы вывозили большинство жителей Севастополя в степные районы Крыма.

Мы пошли на Георгиевскую разыскивать Екатерину Дмитриевну Влайкову, которую нашли уже не в курятнике, а в комнате полуразрушенного домика на противоположной стороне улицы. В груде камней и балок рылись хозяин этого бывшего дома и какой-то молодой человек.

— Что они там ищут? — спросили мы Екатерину Дмитриевну.

— Они откапывают трупы своих близких, погребенных под развалинами. Мать и жену племянника уже нашли и похоронили здесь же, в камнях.

Мама сейчас же отправилась в комендатуру хлопотать пропуск в Бахчисарай, где мы уже были прописаны. Без пропуска нельзя сесть с вещами в поезд. Два дня простояли в очереди, чтобы попасть в комендатуру, но на этот раз удалось получить пропуск.

На Пушкинской улице, против дома Марии Александровны

Добржанской, гитлеровцы поставили виселицу. Здесь в назидание жителям были повешены трое молодых людей за отказ от поездки в Германию. К счастью, нам не пришлось быть свидетелями страшного зрелища: перед нашим приездом трупы юношей сняли.

Люди, отправляемые в Германию, гибли в пути. Нам рассказали, что в сентябре со станции Севастополь отправили два больших эшелона. Товарные вагоны, набитые битком, были закрыты наглухо. Гитлеровцы, отправлявшие эшелоны, с ухмылкой говорили: «Пусть слабые по дороге подохнут».

Севастопольцев насильно грузили на баржи и вывозили в море. Жители замечали, что баржи вскоре возвращались пустыми: оккупанты хладнокровно, по плану топили сотни и тысячи людей.

На следующий день мы собрались уезжать. Накануне я была в больнице, навестила Марусю, она чувствовала себя значительно лучше, но выздоравливала очень медленно.

— Как только поправлюсь, — сказала она, — приду в Альму за Дуняшей.

Когда мы стали складывать вещи, оказалось, что их набралось довольно много: старье, которое раньше выбросили бы в мусорный ящик, теперь приобрело для нас ценность.

Я впряглась в тачку, взятую на время у соседа, а мама и Екатерина Дмитриевна шли сзади и подталкивали ее.

В вагоне

Уже стемнело, а эшелона все не было. Наконец, часов в десять вечера, подошел к перрону пустой состав товарного поезда, предназначенный для людей, расселяемых по Крыму. Началась шумная суета…. В темноте, ушибая друг друга вещами, люди садились в вагоны. Нам удалось сесть в ближайший вагон. Эшелон простоял на станции всю ночь. Утром явились полицейские и татары-добровольцы. Из вагона, в котором мы сидели, стали всех выгонять. Одному добровольцу показалось, что люди слишком медленно выходят: отвратительно ругаясь, он выталкивал их на перрон. Рванул и меня за руку, я обернулась и сказала с возмущением:

— Что мы — собаки?

— Вы хуже собак! — толкнув меня, закричал доброволец с такой злобой, что, кажется, дай ему волю, он перестрелял бы всех.

По перрону, как выпущенные из сказочной бутылки злые духи, с криком и руганью носились полицейские. Целый день они нас с мамой выгоняли из вагонов. Наконец, мы втащили вещи в один вагон и тихо приткнулись в уголке, но явился полицейский,

проверил пропуска и заорал, чтобы мы убирались вон. Что делать, поезд вот-вот должен тронуться, узлы наши заложены чужими вещами, теперь их не вытащить. Я обратилась к переселенцам:

— Мы спрячемся за вещами, полицейский нас не увидит, ведь поезд сейчас тронется.

— Нет, — ответил высокий блондин. — Я здесь за старшего в вагоне, я скажу полицейскому, если вы спрячетесь, я не хочу за вас отвечать.

«Эх, трус и дрянь», — подумала я.

В это время морда полицейского снова появилась в дверях:

— А! Вы еще здесь? — заорал он. — Вон!

Мы с мамой вышли, но когда поезд тронулся, сумели снова вскочить в вагон.

В вагоне, кроме нас, ехало шесть человек, все это были люди пожилые. Вещей они с собой везли столько, что загромоздили весь вагон, были даже шкафы и кровати. Не успели мы отъехать, как все они принялись за еду. Чего только у них не было! Сразу, как по команде, начали извлекать из корзин и свертков свои продукты: появились большая кастрюля с борщом, вареные куры, вареники, пирожки разных сортов, кефаль жареная, кефаль вяленая, свежие помидоры и даже большущая банка с куриным бульоном. Немцы выдали им перед отъездом по пятьсот граммов черного хлеба, но они его не ели, у них был роскошный пышный белый хлеб домашней выпечки. По всему было видно, что люди эти принадлежали к типу тех немногих, которые проявляли чудеса «храбрости» и жадности и, не щадя своей жизни, разносили под вой снарядов и бомб склады, объятые огнем, грабили таких, как мы, а теперь подлаживаются к оккупантам.

Они не ели, а жрали, с аппетитом обсасывая куриные кости, облизывая пальцы, причмокивая, отправляя в рот кусок за куском, с какой-то звериной жадностью, которую породило сознание окружающего голода. Особенную жадность проявляли женщина лет сорока пяти и высокая, сухая, как тарань, но еще бодрая старуха по имени Груша. Женщина доставала из своей объемистой корзинки один за другим куски курицы, отрезала большие ломти белого хлеба. Каждый раз она протягивала мужу крохотные кусочки мякоти курицы и хлеба со словами: «У тебя нет зубов, нечем грызть кости и есть корки хлеба». Муж покорно брал эти крошки, проглатывал их, как голодный пес, в надежде на милость хозяйки, не спускал глаз с ее жующего рта. Но напрасны были его надежды: неизменно куски курицы оказывались с костями, а хлеб — с корками. А старуха Груша — любительница разнообразия — поминутно опускала длинный и мясистый, как груша, нос в свою бездонную корзинку, извлекая оттуда то

вареники, то вяленую кефаль, то куски жареной рыбы или пирожки. Другие от них не отставали.

Уже сутки, как мы с мамой ничего не держали во рту, наши желудки сводило судорогой. Мы, помимо своей воли, не могли оторвать глаз от жующих ртов наших соседей. Это была пытка, продолжавшаяся немало часов.

Наконец часа в три ночи мы прибыли в Симферополь. При слабом свете одной немецкой свечи-коптилки, зажженной нашими попутчиками, выгружались из вагона. Когда я влезла в вагон за последним узлом и нагнулась, чтобы взять его, то увидела на полу рядом с ним оброненный кем-то полукилограммовый кусок черного хлеба и головку вяленой кефали. Я собралась спросить, чей это хлеб, но в этот момент увидела жирные затылки мужчин, возившихся с шифоньером, и слова застряли в горле. Несколько мгновений я стояла, держа хлеб, а потом быстро повернулась и прыгнула из вагона в темноту. В первый раз в жизни я украла, и совесть не мучила меня. Я подошла к маме и шепотом рассказала о находке. И моя щепетильно честная мама ответила мне:

— Ну, и хорошо сделала, что не отдала. Они и так обожрались.

Мы разделили хлеб и кефалью головку пополам и с наслаждением ели. Едва успели доесть, как послышался брюзжащий голос Груши:

— Я потеряла свой черный хлеб. Наверно, выпал из корзинки и кто-то стащил. Вот люди, совести у них нет!

А люди, у которых «нет совести», не чувствуя никаких ее угрызений, пользуясь темнотой, спокойно смаковали последние крошки Грушиного хлеба.

Под маской колхозного пчеловода

Мы не хотели стеснять Дроздовских и устроились в сарае во дворе. Начало октября в Крыму — это еще почти лето, можно жить и в сарае.

На другой день мама начала свое стояние в очереди у комендатуры, чтобы получить разрешение на прописку. Я отправилась бродить по городу в поисках какой-нибудь работы. К вечеру все собрались у Дроздовских, и тут между нами произошел крупный разговор, который привел к полному разрыву. Началось с того, что я сцепилась с Василием Ивановичем.

— Эти подлецы дерутся еще, — сказал он, имея в виду нашу армию, — защищают большевистскую власть! Перевешать их всех!

— Как перевешать? — воскликнула я, пораженная. — Наш народ перевешать?

— Перевешать! — твердил свое Василий Иванович.

Злоба, ненависть звучали в словах Дроздовского, даже кровь бросилась ему в лицо. Тут я уже не могла сдержаться. Услышать такие слова о героическом русском народе, защищавшем свою Родину, о защитниках Севастополя! Спор принял ожесточенный характер, с одной стороны Василий Иванович, с другой — все мы, глаза сверкали от гнева. Сразу обнаружилась между нами глубокая пропасть: вчерашние друзья стали отъявленными врагами. Выяснилось, что Василий Иванович работает следователем криминальной полиции — вылавливает «большевиков и партизан». На этом разговор окончился. Мы пошли в свой сарай и услышали, как вслед за нами хлопнула и закрылась на задвижку дверь дома.

— Вот тебе и друзья! — сказал папа.

— Да, попали в положение, — ответила мама, — надо немедленно куда-то выбираться. Но куда?

И опять-таки свет оказался не без добрых людей. Утром соседка Дроздовских, занимавшая с тремя маленькими детьми вторую половину дома — две небольшие комнаты, позвала нас к себе. Она многое слышала вчера и поняла, в какое положение мы попали. Елена Порфирьевна Османова была русской. Муж ее, татарин, член партии и бывший работник милиции, еще в самом начале немецкой оккупации был арестован гестапо и исчез бесследно. Нечего говорить о том, каково было ее отношение к Дроздовским. Елена Порфирьевна предложила поселиться у нее. Умная и начитанная, умевшая интересно и красиво говорить, сердечная и трудолюбивая женщина, она сама билась как рыба об лед, чтобы прокормить трех маленьких детей, и все же решила приютить нас. Мы сейчас же перебрались к Османовой. Так оборвалось наше многолетнее знакомство с Дроздовскими и возникла дружба с Еленой Порфирьевной Османовой.

С Дроздовскими мы в свое время познакомились в Одессе. Они жили на одной даче с нашими тетками, у которых мы гостили. Василий Иванович был сыном священника. Из Одессы он переехал в Альму. Когда Дроздовские ездили в Одессу к своим родственникам, то всегда до прихода теплохода на день-два останавливались у нас. А мы летом раз или два ездили в Альму угоститься брагой и провести день среди чудесных фруктовых садов. Тогда Василий Иванович был скромным колхозным пчеловодом, а Тамара возилась с домашним хозяйством и занималась воспитанием своего единственного сына.

После прихода немцев Василий Иванович вдруг вспомнил,

что когда-то окончил юридический институт, но при советской власти ему, дескать, «не давали хода». Его обуяли честолюбивые замыслы и планы: он вдруг возомнил себя человеком, способным на «большие дела», германскую фашистскую власть он считал своей властью. Тамара была лучше мужа, и, если бы не она, неизвестно, чем бы закончилась наша ссора. Говорили, что после нашего ухода Василий Иванович кричал в злобе:

— Я уничтожу Клапатюков в гестапо, я их четвертую!

И только Тамара его удержала.

А в это самое время сын Дроздовских, как потом выяснилось, честно дрался в частях Красной Армии против фашистских захватчиков.

Несколько дней добивалась мама «счастья» попасть к коменданту и лишь для того, чтобы, войдя, наконец, в его кабинет, услышать короткое и внушительное:

— Никс, вэг Симферополь!

Мы решили возвращаться в Бахчисарай. В прописке нам было отказано.

Разные встречи

И вот снова Бахчисарай. Папа работает в школе, и мы все ведем голодное существование. Надвигалась осень, Сергею Павловичу стало холодно жить в клетушке, но он об этом не говорил ни слова. Мама нервничала и ходила с утра до вечера по городу в поисках жилища: нельзя поступать по-свински и без конца стеснять людей.

Медленно плелась я в Альму, чтобы увидеться с Воронцовыми, часто останавливалась и присаживалась на обочину дороги. Тяжелые мысли угнетали меня. Двенадцать километров показались пятьюдесятью. Что теперь думают обо мне друзья и муж? Наверное, считают погибшей. Они счастливые: борются — значит, живут…

А тут, куда ни ткнешься, везде враги, даже на работу не принимают из-за моего мужа-моряка, прослышали откуда-то. Спрашивают, не член ли партии. Но о том, что Борис — коммунист, никто не знает, только подозревают.

Когда шла тополевой аллеей по Альме, грусть так охватила меня, что я не заметила, как подошел Дмитрий Григорьевич Воронцов.

— Здравствуйте, Женя, — сказал он, идя рядом.

Я обернулась:

— Здравствуйте, — и услышала, как в надтреснутом голосе моем дрожат слезы.

— Что с вами? — участливо спросил он.

— Тяжело… Вот шла к вам и вспоминала.

Дмитрий Григорьевич молчал, и в его молчании яснее, нежели в словах, я ощущала дружеское сочувствие.

— Мы живем уже отдельно, — говорил Воронцов, — перебрались от своих родственников, но жены и дочери сейчас нет, они уехали на несколько дней в Симферополь к моей сестре.

Мы подошли к небольшому дому, стоявшему против моста через реку Альму.

— Здесь моя колесная мастерская, — указал Дмитрий Григорьевич на сарай возле дома. — Я теперь чиню колеса, получаю за работу от крестьян продуктами, так что мы не голодаем.

В комнате с земляным полом стояли две старые узкие железные кровати, небольшой грубо сколоченный стол и две табуретки. Жилище, конечно, не слишком комфортабельное, но все же свой угол.

— Раздевайтесь, Женя. Сейчас я подогрею обед, а вы пока отдохните.

И Дмитрий Григорьевич угостил меня «царским обедом»: борщом, вареной картошкой, приправленной луком с постным маслом, нарезал вдоволь пшеничного хлеба.

На следующее утро я решила идти на вокзал и попытаться уехать на поезде.

Евфросинья Ивановна, к которой я зашла, чтобы передать привет от родных, меня задержала:

— Подождите, я хочу кое-что послать вашей семье.

Тамбовцева положила в мешок большую тыкву, головку капусты, насыпала яблок и бураков.

— Вот только мешок очень старый, боюсь, чтобы не порвался, а другого у меня нет.

Я не посмела отказаться от такого подарка. Когда вернулась к Воронцовым, Дмитрий Григорьевич насыпал в мешок еще около пуда пшеницы и сказал: — Будет возможность — вернете. А сейчас у меня есть, и я могу поделиться.

Это было уже целое богатство, о котором никто из нас не смел мечтать. Но как донести мешок до вокзала? На счастье, сосед Воронцовых — шофер ехал на вокзал и подвез меня. Поезд должен был проходить через станцию Альма около двенадцати часов ночи, ждать еще долго, а вечер холодный. Я постучалась в домик железнодорожного рабочего и попросила разрешения посидеть в тепле.

Люди в те дни быстро распознавали друг друга и с двух-трех слов понимали, с кем ведут разговор.

Не успела я поздороваться с хозяйкой, возившейся возле плиты, и ее мужем, как начала перекидываться с ними отдельными фразами, быстро определившими общность настроений. Через полчаса, когда вошел другой дорожный рабочий, приятель хозяина квартиры, мы уже вели самый оживленный разговор. Тема его везде и всюду была одна и та же: глубокая, непримиримая ненависть к фашистам.

Вошедший рабочий охотно вступил в беседу. Когда я упомянула о 35-й батарее и сказала, что сама оттуда, все обрадовались:

— Да, мы слышали о ней! Говорят, что там долго дрались, не хотели сдаваться.

Я тоже обрадовалась: значит, память о героях Севастополя жива в сердце народа. И начала рассказывать о том, что знала и видела.

Но вот уже около двенадцати часов ночи, пора выходить на перрон. Меня слегка лихорадило от ночной сырости и волнения: удастся ли сесть на поезд, да и вообще, как я влезу в вагон со своим тяжелым мешком? Минут через пятнадцать подошел поезд. И вдруг он неожиданно свернул на третий путь, а на втором стоял длинный товарный состав. Пришлось пролезать под его загонами. Не в силах поднять свой груз, я волокла его по земле. Старый мешок зацепился за что-то и лопнул; пшеница, как вода, потекла из него. Полная отчаяния, с трудом я выволокла мешок из-под вагона. Вдруг какой-то мужчина бросил свою ношу, вытащил из-за пазухи длинную толстую иглу.

— Не волнуйтесь, я зашью вам мешок, я сапожник и всегда ношу с собой иглу, — сказал он и принялся крупными стежками стягивать дыру. Покончив с этим делом, мужчина помог мне взвалить нелегкий мешок на спину.

Я, конечно, не смогла бы сесть в поезд, но опять нашлись чьи-то доброжелательные руки и втащили меня в вагон вместе с мешком.

При слабом свете звезд, проникавшем в открытые двери вагона, я узнала в сидевшей напротив пожилой женщине, крепкой и здоровой на вид, одну севастопольскую сумасшедшую, которая в свою очередь узнала меня. Мы разговорились, оказалось, что она живет в доме старости в Бахчисарае, где их совсем почти не кормят. Сейчас она возвращалась из деревень, куда ходила просить на пропитание. В Бахчисарае, сойдя с поезда, мы решили вместе где-нибудь провести ночь: ведь хождение запрещено и надо ждать до рассвета.

Мы залезли в заброшенное бомбоубежище. В абсолютном мраке нащупали угол щели, положили свои мешки и сели на

землю, устланную холодной и сырой соломой. Моя сумасшедшая выразила полное удовлетворение:

— Тут можно будет и поспать до утра, — басом сказала она. — . Эх, пшеничка, ваша пшеничка!

Вскоре раздался ее богатырский храп. А я, сжавшись в комочек в самом углу щели, дрожала от холода, зубы мои отбивали частую дробь. Ночь была холодная, в щели с двойным ходом сквозило, как в трубе. Тишину глубокой ночи нарушал лишь храп сумасшедшей, да мыши бегали и скреблись в соломе. «Пшеничка, пшеничка» — вспоминала я слова сумасшедшей. Мне стало жутко.

Я вылезла из щели и пошла блуждать вокруг вокзала в надежде на то, что кто-нибудь пустит к себе пересидеть ночь. Вдруг меня остановил резкий окрик, подбежали два немецких солдата. О чем они говорили, я не поняла. Понятно было только одно: я ходила там, где, очевидно, запрещено ходить. В это время подошел третий солдат, который оказался татарином-добровольцем.

— Вас спрашивают, зачем вы здесь ходите, — пояснил он.

— Я приехала поездом, сидела в бомбоубежище, замерзла, хотела попроситься к кому-нибудь переночевать…

Доброволец строго сказал:

— Идите обратно и не выходите до утра из бомбоубежища. Не ходите здесь, вас могут пристрелить, принять за партизанку.

Я поспешила уйти. Мне было страшно и в то же время радостно. Значит, боятся оккупанты партизан! Значит, народные мстители живут и действуют где-то по соседству.

Весь остаток ночи я думала о партизанах. Вот бы встретить кого-нибудь из них!

Утром, взвалив на плечи свои мешки, мы с сумасшедшей зашагали по дороге в город, освещенный розовым светом восходящего солнца.

Никакой красоты, никакой экзотики.

Начались дожди. Домик Богоявленских был настоящей избушкой на курьих ножках: в окнах щели, крыша текла, и с потолка обваливались куски штукатурки. Сергею Павловичу в его клетушке было еще хуже, а мы никак не могли найти себе жилище, никто не хотел сдавать нам комнату. Наконец, на окраине Бахчисарая одна татарка согласилась сдать нам нежилое помещение. В двух комнатах было четыре окна, обращенных на север, — и ни единого стекла, настоящая лачуга. Но мы сейчас же в нее перебрались.

Середина ноября. Северный ветер треплет и рвет тряпки, которыми завешаны окна, врывается в комнату вместе с

холодным дождем. Забить окна нечем, у нас нет ни фанеры, ни гвоздей, нет и вещей, на которые можно было бы это все выменять. Палочками и щепочками, собранными возле реки, мама разожгла плиту и варит пшеничную кашу. Мы терпеливо ждем того момента, когда каша будет готова, тогда мама положит каждому по нескольку ложек. Норма жесткая, но мы не протестуем: можно сразу съесть всю пшеницу, а что же завтра? Надеяться не на что.

В комнате нет ни стула, ни стола, ни кроватей — ничего, кроме двух старых, твердых, как камень, подушек, набитых слежавшейся соломой. На день мы из них устраиваем сиденье на полу, а ночью спим на них. Пока горит плита, жмемся поближе к ней, но это продолжается недолго. Лишь затухнет огонь — и холодный ветер мгновенно уносит все тепло.

Я сижу на крыльце, перед моими глазами небольшой внутренний двор, устланный каменными плитами, возле крыльца растет старая дуплистая шелковица с огромной кроной, которая летом бросает тень почти на половину двора.

Бахчисарай чрезвычайно живописен, особенно в погожий осенний день. Он расположен в узком ущелье, окружен причудливой формы скалами. На фоне синего неба ярко выделяются очертания скал, кое-где поросших кустарником, с светло-зелеными, золотыми и кораллово-красными листьями. Дома восточного стиля с неизменными террасами живописно лепятся по склонам ущелья.

Если смотреть на Бахчисарай глазами художника, он, со своей восточной экзотикой, сразу привлекает взгляд. Но времена изменились. Я смотрю на Бахчисарай, на солнце, на скалы холодным, бесчувственным взором. Никакой экзотики.

В конце ноября нам удалось перебраться в небольшой каменный дом, стоявший напротив ханского дворца. Крохотная комната на втором этаже с облупленными и закопченными стенами имела убогий и нищий вид. Но это было уже человеческое жилище: с целыми стеклами в окнах, выходящих на юг, через которые не проникали ни ветер, ни дождь. В школе папе дали старый поломанный стол, два таких же стула и три погнутых, ржавых остова от немецких кроватей. Папа раздобыл досок, но их хватило только на две кровати, и мне приходилось спать на столе.

Наступила глубокая осень. Я сильно простудилась и заболела гриппом, но к врачам не обращалась. К чему? Больше месяца тряслась в лихорадке, продолжая в то же время часами выстаивать в очереди за обедом под проливным дождем, добывать дрова. Я ходила, шатаясь от слабости, спотыкаясь о

камни и кочки, едва волоча дрожащие, как у старухи, ноги, с сердцем, которое, казалось, стало тяжелым и тянет к земле.

В четыре часа уже темнело, рассветало поздно. У нас не было никакого освещения, даже коптилки. Делать было нечего. Пшеница съедена. Почты не существует — гнетущая, полная оторванность от жизни. С наступлением сумерек мы ложились спать и лежали в постелях до рассвета, однако голод и вереница мыслей не давали заснуть.

По временам тишину нарушали чьи-нибудь томительные вздохи, поскрипывание кровати и возглас: «Скоро ли уже рассвет!» Да мерно шумела Чурук-су, отделявшая нас от ханского дворца.

Приподнимешься, посмотришь в окно: ну, чем не красота! На темном небе горят яркие звезды, тонкий серп месяца серебрит стройный силуэт минарета, спит ханский дворец, убаюканный сказками Чурук-су, и заунывный призыв муэдзина воскрешает тени Заремы, Марии, жестокого хана и его дикой орды. Но в ханском дворце спят теперь гитлеровские офицеры. И нас, хоть об дорогу бей, ничем не прошибешь: никакой красоты и никакой экзотики!

Болезнь отца

Однажды к нам явился гость — событие странное, приятное и неожиданное. Это был преподаватель математики Арел, старый сослуживец моего отца. Иосиф Николаевич был евреем. В начале войны он эвакуировался со своей женой на Кавказ.

Огромные черные глаза Иосифа Николаевича, не выцветшие с годами, печально глядели на моего отца. Тяжело вздохнув, он обвел взором наше жилище и всех нас.

— Да, невеселая встреча, Иосиф Николаевич, — сказал папа. — Но каким образом вы очутились здесь и как нашли нас?

История моя очень короткая и простая: мы поселились в Краснодарском крае. Я преподавал в школе. Продуктов — непочатый край, полное изобилие всего: хлеб белый, да какой пышный и вкусный, гуси, утки, сало свиное.

— Вот бы сала кусочек! — перебил его папа. — Ну, рассказывайте дальше.

Дальше… А дальше, как вам известно, немцы наступали. Мы с женой сели на какую-то таратайку и носились по дорогам, пока не оказалось, что бежать уже некуда и немцы со всех сторон. В Краснодарском крае было много севастопольцев, нашелся среди них какой-то мерзавец, который донес, что я еврей, но нашлись и люди, вовремя предупредившие меня об этом. Мы с женой сели

на первый попавшийся поезд и уехали. Хотели сначала сойти на Украине, а потом решили пробираться в Севастополь, да не доехали, остановились в Симферополе. Тут у жены родственники, она русская немка. Все мои родственники, жившие в Симферополе, уничтожены, а родственники жены заявили, что я должен исчезнуть с их глаз навсегда и забыть о своей жене, которую они оставили у себя. Иначе грозятся на меня донести. Видите ли, они не могут примириться с мыслью, что породнились с евреем. Теперь не знаю, что делать: ехать ли в Севастополь или устраиваться где-нибудь здесь в районе…

— Дорогой Иосиф Николаевич, — сказал папа, — ваш брат был зверски убит немцами в одном из севастопольских лагерей.

Папа не хотел подробно рассказывать. Но нам было известно, как это произошло. Гитлеровцы, вооруженные шомполами, стояли двумя шеренгами на пути к воронке, образовавшейся от взрыва огромной бомбы. Обреченных на смерть севастопольцев прогоняли между шеренгами палачей, которые хлестали истязуемых шомполами. Потом избитых, окровавленных людей сталкивали в воронку. А по ее краям спокойно прогуливались автоматчики и посылали вниз очередь за очередью… В этой могиле оказался и брат Арела.

— Не показывайтесь вы, ради всего святого, в Севастополе, — упрашивала мама.

— Устраивайтесь здесь в районе и поменьше попадайтесь людям на глаза, — уговаривала и я, — а когда наступит весна, мы с вами уйдем из Крыма навстречу нашим. Хотите идти со мной? Я решила ждать до весны, а потом пробираться к фронту. Ищу себе попутчика.

Иосиф Николаевич грустно улыбнулся, посидел еще немного и ушел.

У отца распухла и побагровела рука. Он обратился к врачу, который признал рожистое воспаление и сказал, что надо выпить несколько таблеток красного стрептоцида. Но где же его достать? Спрашивали мы у всех знакомых, пришлось мне даже отступиться от своих принципов и обратиться в немецкую санчасть, где я получила холодный отказ. У немцев был приказ никогда ничем не помогать населению, и надо сказать, что их глаза и лица отражали все бессердечие этого приказа.

Соня Богоявленская, перерыв весь дом, нашла в конце концов три таблетки стрептоцида и отдала их папе. Опухоль на руке начала спадать, но вскоре у папы опухли ноги и лицо. Все мы поняли, что красному стрептоциду тут не помочь: отец опухал от голода.

Иногда он говорил с тоской:

— Нет, не дожить мне до светлых дней, не дождаться освобождения, чувствует сердце, что лежать мне на этом бахчисарайском кладбище. Недавно я проходил мимо него и подумал: вот здесь моя последняя квартира. Если бы вы знали, как не хочется мне остаться навсегда здесь!

— Доживешь, — говорили мы с мамой, — ты дождешься освобождения и счастливой жизни.

— Если бы дождаться! — вздыхал отец.

Едва держась на опухших ногах, он продолжал ходить в школу и давать уроки. Но однажды его привели домой: он упал и не мог подняться, его подобрали и отвезли в поликлинику.

Полтора месяца пролежал отец в постели, занимаясь это время с маленьким Женей, который, несмотря на все тяготы нашей жизни, учился в школе. Женя пристраивался на уголке стола поближе к кровати, а дедушка своей распухшей рукой писал цифры, объяснял мальчику решение задачи.

Много беспокойства причиняли ноги маленького Жени. В чем только он не ходил, бедняга. Вечно ножки его были мокры. То Женя ходил в больших старых ботинках, кем-то ему подаренных, то в дамских галошах для туфель с высокими каблуками. Мама без конца шила ему тряпочные туфли, но все это старье быстро разлезалось, и перед нами опять вставала проблема: во что обуть Женю?

Безуспешно пыталась я найти какой-то заработок. За все время мне удалось сшить только три пары бурок, за что я получила немного кукурузной, муки. Однажды решила заняться рисованием игральных карт: сделала трафарет, достала цветных чернил и нарисовала две колоды. Но, увы, оказалось, что в продаже есть настоящие немецкие карты, и мне с трудом удалось сбыть свои за деньги, которых хватило на один килограмм хлеба.

Тревога. Из Бахчисарая в Симферополь

Сначала очень глухо разнесся слух о Сталинградской битве. Мы ничего еще толком не знали о Сталинградском сражении, о его огромном значении для хода войны. Но немецкие солдаты и офицеры были растеряны, и одно это уже говорило о многом.

Вскоре слухи стали более определенными: немецкая армия под Сталинградом окружена и взята в плен, в Берлине объявлен трехдневный траур.

Неужели уже началось, и наша армия пойдет в наступление? Рождалась надежда: а вдруг… а вдруг не через два года, а гораздо раньше, например, этой весной? Хотелось верить своему сердцу, рвавшемуся навстречу родной Красной Армии, но разум говорил:

нет, слишком большое расстояние разделяет нас, не так скоро еще придет освобождение.

Люди, которые работали в немецких частях уборщицами, кухонными рабочими, рассказывали мне, что теперь некоторые немецкие солдаты и даже офицеры начали говорить, что война ими проиграна, выражать недовольство Гитлером.

Однажды глубокой ночью, когда мы, томимые бессонницей, вздыхали и ворочались на своих постелях, за окном послышался нарастающий шум, стук подкованных немецких сапог о камни улицы. Мы с мамой вскочили с кроватей и прильнули к окну.

— Что там? — взволнованно спросил папа.

— Немцы бегут, — ответили мы.

Запрудив всю улицу, в сторону вокзала бежали немецкие солдаты. С ясного неба светила полная луна, виден был каждый камешек на мостовой. Вдруг раскрылись ворота ханского дворца, оттуда выехал экипаж с гитлеровскими офицерами, запряженный попарно четырьмя лошадьми, с факелами, горящими по бокам его, и поехал по мосту, перекинутому через Чурук-су. Вслед за ним выехал второй такой же.

«Что случилось, почему бегут фашисты? А если совсем убегают? — взметнулась снова мысль. — Под Сталинградом их побили, может быть, гонят дальше, ведь мы ничего не знаем!»

Но тут же заговорил здравый смысл: нужно иметь крылья, чтобы за такой короткий срок перелететь от Сталинграда в Крым, и немцы еще достаточно сильны. И все же хотелось верить в невозможное.

До самого рассвета мы с мамой простояли у окна, рассказывая папе обо всем происходящем на улице.

Наутро оказалось, что у гитлеровцев была тревога. Пока еще только тревога… Но и это хороший признак: до сих пор они жили здесь без всяких тревог и волнений. Значит, что-то есть, раз они заволновались!

Сколько раз, стоя у окна нашей комнаты в Бахчисарае и глядя на каменную колонну екатерининских времен, которую называют милей, стоявшую напротив двери дома, я думала: настанет день, и мы не будем больше видеть эту колонну, не будем жить в Бахчисарае. Все останется лишь в неприятных воспоминаниях.

Мысли перелетели на высокую гору под Бахчисараем, где, как рассказывали был лагерь военнопленных, пригнанных из Севастополя. Говорили, что раненые спали под холодным осенним дождем в ямках, которые рыли для себя. Каждое утро многие оказывались мертвыми: гибли от ран, от голода., и холода…

По городу ходили слухи, что партизан в лесу осталось очень

мало, что они умирают от голода. Но партизаны действовали и приходили в город, об этом можно было догадываться по гитлеровским приказам, расклеенным на заборах и стенах зданий и гласившим: «Тот, кто станет принимать у себя партизан, — будет расстрелян».

Значит, есть такие люди, которые принимают у себя партизан и не боятся расстрела. И эти люди казались мне необыкновенными, прекрасными, смелыми, какими-то не такими, как все. Я мечтала о встрече с ними. Однако мне не везло.

Я все больше начала думать о том, чтобы уехать в Симферополь. Может быть, там мне удастся встретить этих настоящих, больших людей.

Но для того, чтобы переехать в Симферополь, надо достать пропуск. Так просто его не дадут, а кур, «яек» и барашков мне добыть неоткуда. Я перебирала в уме всякие возможности и остановилась на одной: по справкам о болезни и необходимости лечения в Симферополе, выданным поликлиникой, комендатура дает временные пропуска. Я подумала о докторе, к которому папа обращался, когда у него болела рука.

Доктор Гольденберг был единственным евреем, не расстрелянным немцами и продолжавшим легально жить в Бахчисарае. Он славился, как хороший врач, вдобавок был женат на татарке. Жители Бахчисарая просили немцев сохранить ему жизнь, и это пока спасло Гольденберга.

Я не была знакома с доктором, но слышала от папы, что он производит хорошее впечатление. Пришла в поликлинику. Там было пусто: никто не ходил на прием к врачам, так как лекарств в Бахчисарае все равно достать было нельзя. Я постучалась в двери кабинета Гольденберга.

Доктор сидел за письменным столом и выжидательно смотрел на меня.

Действительно, его бледное лицо, большие карие, вдумчивые глаза располагали к себе. Я подошла к столу и сказала:

— Доктор, я дочь Петра Яковлевича Клапатюка, который был у вас. Пришла к вам с просьбой.

— Садитесь, — и он указал на стул.

Я села. Наступило короткое неловкое молчание… Как и с чего начать разговор? Пускаться в объяснения или не стоит? Ведь просьба-то была незаконной.

— Дело вот в чем, — начала я, понизив голос, — мне нужен пропуск в Симферополь, я не могу получить его другим путем… Я совершенно здорова, но прошу вас дать мне справку о том, что у меня больные глаза, которые требуют лечения в симферопольской клинике. Там работает знакомый профессор, он

тоже даст мне справку, что я лечусь.

Доктор Гольденберг молча слушал меня, наклонив голову. Когда я замолчала, он взял чистый листок бумаги, поставил на нем штамп поликлиники и написал текст, необходимый для справки, и, так же ни слова не говоря, протянул мне.

— Спасибо, доктор, — поблагодарила я, беря справку. Мне хотелось сказать ему что-нибудь хорошее, теплое, такие слова, которые растопили бы лед его настороженного молчания. Я чувствовала, что за печальным взглядом его вдумчивых глаз кроется трагедия жизни человека, над головой которого висит все время острый меч. Ведь каждую минуту он может ждать, что немцы раздумают и арестуют его. Но мысль о жене-татарке остановила меня. Поблагодарив еще раз, я вышла за дверь.

На другой же день случайной машиной я приехала в Симферополь к сестре и, пробыв там несколько дней, вернулась обратно. Благодаря профессору я могла получить временную прописку на один месяц, но с такой пропиской никто не соглашался взять меня на работу. Однако через неделю я решила снова ехать в Симферополь и ни за что оттуда не возвращаться. Мне пришлось опять просить справку у доктора Гольденберга, которую он так же безмолвно вручил и на этот раз.

И вот 20 февраля 1943 года я собрала в узелочек свое имущество, свернула в трубочку тоненький детский матрасик и, распрощавшись с родными, пошла на вокзал.

Крымская зима была в разгаре морозно и ветрено, местами лежал снег. На мое счастье, через несколько минут отправлялся в Симферополь товарный поезд, груженный бревнами. Я залезла на одну из платформ и уселась среди бревен. Поезд тронулся, и я поехала.

Часть третья
СИМФЕРОПОЛЬ

Столовая № 3 горуправы

Неприветливо встретил меня Симферополь. Нахмуренное серое небо, на улицах снег, сыро и холодно, холоднее, чем в Бахчисарае, защищенном горами от северных ветров. Да, собственно, теперь все было неприветливо: города и улицы, и небо. Дорога от вокзала к сестре, живущей в противоположной стороне города, в конце улицы Субхи, казалась мне бесконечно длинной. Усталая и продрогшая, со своим матрацем-ковриком под мышкой, постучалась я, наконец, в дом, где жила сестра.

В маленькой печке едва теплился огонек. Сестра накормила меня супом, который скорее годился бы для лошадей, так как состоял из воды и овса, поджаренного и размолотого вместе с шелухой. Но еще хуже было то, что горсть овса была последним достоянием сестры.

В эту ночь я спала на настоящей кровати, с мягкими

пружинами и травяным матрацем, но адский холод в комнате не давал согреться.

Очень тяжелым делом оказалось попасть к коменданту, чтобы получить разрешение на временную прописку. Много часов выстояла я на морозе, прежде чем попала в кабинет коменданта и получила разрешение. В эти дни я встретила на улице Бологовского — бывшего преподавателя химии, который в течение нескольких лет жил и работал в Севастополе. В разговоре выяснилось, что он сейчас занимает должность начальника отдела питания городской управы.

— Я помогу вам устроиться на работу, — сказал он, — хотя это сделать не так легко, запрещено принимать людей с временной пропиской. Но дайте свою биржевую карточку, и я попытаюсь.

Я протянула ему карточку. Мне было неприятно принимать одолжение от человека, который сотрудничает с немцами, но что же делать? Притом он так участливо расспрашивал о моей семье, об отце… Очевидно, Бологовской делает одолжение из добрых побуждений. Но я ошибалась.

В страшное время фашистского произвола все грязное, гнусное и подлое выплыло на поверхность. Нет, не добрые побуждения руководили Бологовским, этим бывшим дворянином, гвардейским офицером и контрразведчиком белых. Перед самой войной он приехал в Симферополь, отбыв десятилетнее заключение в тюрьме. Теперь подобные типы не скрывали прошлого, а хвастались им. Но при первой нашей встрече в Симферополе я еще не знала всей биографии Бологовского. Мне в голову не приходило, что человек, работавший с моим отцом, собирался воспользоваться безвыходным положением его дочери, замученной голодом и нищетой.

На другой день я уже работала в качестве чернорабочей кухни в столовой № 3 горуправы. Вокруг меня кипели котлы с супом, которому больше подходило название «баланда»: в воде без единого грамма жира варились отходы капусты с дрянной картошкой в зеленых и черных пятнах. Раз в день выдавали жителям по черпаку такой баланды и ложке каши.

Рано утром чернорабочие приносили из подвала дрова и уголь. Эта работа требовала предельного напряжения моих сил. Затем все садились чистить картошку: повара, официанты и чернорабочие. Повара были из военнопленных. Когда мы, чернорабочие, заканчивали чистку картошки, нас отпускали домой, но, прежде чем уйти, каждый подходил к повару со своей кастрюлькой и миской, в которые тот наливал суп и клал кашу.

Меня не тяготила работа, она как нельзя лучше подходила к

моему душевному состоянию. Сейчас я не могла бы заниматься умственным трудом. Сидя на скамейке, я быстро работала ножом, научившись очищать тонкую шкурку с картофеля, а в это время мысли мои уносились далеко-далеко, на «Большую землю». Фантазия рисовала то дороги Украины, по которым я иду к линии фронта, то образы «больших» людей — туманные и расплывчатые. Какие из себя эти люди и как их узнать?

Занятая своими мыслями, я в первое время не замечала той настороженности, с которой меня принял штат столовой. Явно недоброжелательным было отношение ко мне шеф-повара Ивана Ивановича. Он с первых же дней, казалось, меня возненавидел и не упускал случая придраться. Его придирки как-то даже довели меня до слез, хотя теперь я почти никогда не плакала.

Раскрыла секрет калькуляторша Ната, относившаяся ко мне более доброжелательно.

— Знаешь, мы все вначале тебя боялись, ведь ты сюда прислана начальником отдела питания. Когда он посещает столовую, то всегда подходит к тебе и слишком уж любезничает. Мы все думали, что у тебя с ним какие-то близкие отношения. Я и сейчас не могу убедить Ивана Ивановича, что ты своя, он все не верит.

— Ах вот в чем дело! — удивилась я. — А мне это и в голову не приходило. Я Бологовского презираю так же, как и вы, он немецкий приспешник.

После откровенного разговора с Натой недоверие ко мне начало рассеиваться и вскоре совсем исчезло. Все же люди чувствуют и понимают, где ложь и где правда. И, несмотря на то, что начальник отдела питания в каждое свое посещение столовой неизменно продолжал выказывать мне особое внимание, это уже никого не тревожило и не вызывало сомнений. Мне поверили. И даже Иван Иванович становился все мягче и мягче в отношениях со мной.

Я поняла, что в столовой работают хорошие советские люди, ненавидящие оккупантов и их прислужников.

Я слушала их сдержанные и скупые разговоры. Можно было сказать безошибочно, что эти люди ждут еще далекого освобождения.

Часто во время чистки картофеля все хором пели советские песни. Иногда, осмелев, затягивали запрещенную, вроде «Катюши». Я выглядывала в окно и видела, как приостанавливаются и прислушиваются прохожие. Пусть это слабый, но все же протест против рабского положения!

Тот, кто не был в плену или оккупации, может быть, меня не поймет. Но песня, как сказал поэт, это бомба и знамя. И недаром

перед смертью пели советские песни, бросали их слова в лицо палачам узники концлагерей и жертвы гестапо. Эти песни говорили о том, что люди не сломлены.

Однажды я шла домой с одной знакомой женщиной. Вдруг паренек лет шестнадцати, который шел впереди нас, запел вполголоса новую песню «Огонек»: «На позицию девушка провожала бойца…» Мы слышали ее впервые. Дом, где я жила, давно остался позади, а мы все шли за пареньком, пока он не допел последних слов. За такую песню немцы в лучшем случае могли избить юношу, могли иначе расправиться с ним, но он не боялся, он пел ее для прохожих. Он знал, что мы идем за ним, чтобы не упустить ни единого слова.

После бахчисарайского одиночества, попав в среду хороших людей, я особенно их оценила. За все время моей работы в столовой № 3 до самого дня освобождения я ни разу не наблюдала проявлений аполитической обывательщины. Мы все жили одними чувствами. Мысль о судьбе Родины была главной нашей мыслью. Я находилась все в той же темнице, но теперь уже не в одиночном заключении. Можно было делиться думами и отводить душу.

Мы с сестрой взяли маленького Женю к себе. Он целыми днями находился со мной в столовой, То и дело он подходил и просил:

— Мама, дай каши.

Или:

— Мама, дай супу.

Повара удивлялись его аппетиту, но хорошо понимали состояние мальчика и не отказывали ему.

Работали ежедневно, без выходных, с рассвета до сумерек, почти беспрерывно чистили картошку. Руки мои стали черными, от напряжения на правой руке растянулось сухожилие и образовалась небольшая опухоль. По окончании работы я спешила скорей домой, чтобы успеть дойти до темноты и комендантского часа, когда хождение по городу запрещается. Дома был адский холод, температура не поднималась выше одного-двух градусов тепла.

Так прошло полтора месяца. Срок моей прописки кончился. По справке о продлении лечения, которую я снова получила от доктора Гольденберга, меня еще раз прописали, но скоро и этот срок истек. Тогда комендант без дальнейших разговоров сказал мне:

— Вэг!

Я пришла в столовую, села на скамью, сгорбилась и закрыла лицо руками. Все было понятно без слов. Окружившие меня

товарищи сочувствовали моему горю, а Иван Иванович со злостью ругал фашистов.

Сочувствие ободрило меня. Созрело новое решение. Я попросила шеф-повара:

— Иван Иванович, отпустите на три дня в Бахчисарай, я еще раз достану пропуск.

— Хорошо, иди. Но смотри не оставайся там, а то пропадешь от голода, возвращайся обратно.

И я отправилась в путь.

В эти годы вражеской оккупации я поняла, что если у человека есть вера в нашу победу, то все удары жизни, как бы они ни были сильны, не только не ослабляют энергии, но вырабатывают какой-то неисчерпаемый ее запас.

Тошно мне было видеть снова Бахчисарай, но сердце стремилось к встрече с родными. Опять кривые улочки, речка Чурук-су, ханский дворец, екатерининская миля у дверей дома, деревянная лестница на второй этаж и убогая комната. Бледное, измученное лицо мамы. Отец снова ходил в школу и преподавал. Но лицо у него было какое-то странное, изменившееся, бледное, с припухшими глазами. Жить моим родителям стало чуть легче: я хоть немного, но помогала, и мальчик был со мной.

Снова я обратилась к Гольденбергу, и снова мне хотелось сказать ему что-нибудь хорошее, намекнуть на то, чтобы он не доверял гитлеровцам, скрылся бы, нашел пути к «Большой земле». Но его неразговорчивость и мысль о жене-татарке опять заставили меня молчать.

Через три дня с новым пропуском в сумке я возвращалась в Симферополь. Но только успела ступить на улицы города, как мое внимание привлекла кучка людей, столпившихся возле какого-то приказа, приклеенного к стене дома. Я подошла и стала читать. Не было печали! От одной беды избавилась — другая валится на голову: объявлена новая мобилизация в Германию. До сих пор она меня не коснулась: в Бахчисарае, где почти исключительно татарское население, не было ни одного набора.

И опять заработала мысль, изобретая разнообразные выходы из положения. Придя домой, я долго не ложилась спать, мы с сестрой думали, как избавиться от угона в Германию. Через несколько дней я снова временно прописалась и опять работала в столовой. Что же касается мобилизации, то я просто решила не являться на биржу и ждать дальнейших событий. Двери биржи были открыты для тех, кто туда входил, но захлопывались, как дверцы мышеловки, за каждым переступившим порог. Кто не являлся на биржу, за тем полицаи приходили домой. Многие девушки и женщины разбежались по деревням, пытаясь скрыться

от мобилизации, но полицаи, как псы, гонялись за ними, хватали и препровождали на биржу, откуда была одна дорога — на вокзал и в эшелон. Были случаи, когда девушки выбрасывались из окон биржи и разбивались о камни мостовой или бросались под колеса поезда. Наиболее смелым женщинам удавалось все же скрыться в прилесных деревнях, где хозяйничали партизаны, даже уходить к ним в лес.

За большие деньги и золото можно было, правда, купить справку о заболевании какой-нибудь страшной для немцев болезнью, вроде туберкулеза. Таких больных в Германию не брали.

Меня, очевидно, спасла временная прописка, никто за мной не пришел. Когда миновала опасность этой уже не первой, но и не последней мобилизации, я стала добиваться постоянной прописки.

Долго тянулась мучительная канитель, описание которой не представляет особого интереса. Много я истрепала нервов, но все же добилась своего.

Мертворожденные

В последнее время фашистские газеты начали без умолку кричать о предателе Власове и его армий, призывая всех вступать в нее. Какой-то капитан Ширяев без конца выступал со сцены симферопольского театра, расписывая прелести службы в пресловутой РОА. В городе появилось несколько власовских офицеров, которых можно было отличить от немецких лишь по трехцветной кокарде на фуражке.

Мы с сестрой как-то проходили мимо так называемого «пункта армии Власова» и были свидетельницами разговора группы симферопольцев с власовцами.

— Как вы попали во власовскую армию? — спросил кто-то из горожан у одного из этих изменников.

— Я служил на Кавказе в советских войсках, меня ранило в руку. Таким образом, как видите, — сказал он, заученно улыбаясь, — я пролил кровь за советскую власть. Когда отступали, спрятался у своей тетки. Пришли немцы — вступил во власовскую армию.

При этих его словах злость вспыхнула в моем сердце, но я сдержалась, боясь, чтобы какое-нибудь неосторожное слово не вылетело из моего рта.

— А скажите-ка, — послышался чей-то вопрос, — как вы мыслите себе «освобождение»? Что же после войны будет в России — немецкая или русская власть?

— Конечно, русская, — ответил офицер. — Гитлер только поможет нам освободить Россию от большевиков.

— Но ведь Гитлер даром не будет вам помогать?

— Конечно, — ответил офицер, — мы за это заплатим.

Тут уже я не выдержала:

— Чем заплатите, территорией?

Офицер повернул ко мне лицо, и глаза наши встретились. Власовец прочел в моем взгляде такое, что заставило его отвернуться. Деланно равнодушным тоном он ответил:

— Нет, зачем же территорией, мы достаточно богаты и сумеем расплатиться…

Люди, стоявшие рядом со мной, понимающе переглянулись.

Я подошла к другой кучке людей, чтобы послушать, о чем говорят там.

— Значит, вы русские и стреляете в русских? — спросил власовца высокий худой старик.

— Нет, нам не приходится стрелять: как только мы идем в атаку и сближаемся с русскими войсками, мы сейчас же останавливаемся, опускаем оружие и кричим: «Мы власовцы — ваши братья и не будем в вас стрелять, переходите к нам!» И все тотчас же бросают оружие и перебегают к нам. Таким образом, мы никогда не проливаем кровь наших братьев, — соврал в ответ власовец.

На лицах промелькнули улыбки, а кто-то даже рассмеялся. Предатель насторожился, взглядом обвел окружающих. Но у всех снова было непроницаемое, каменное выражение лиц.

Несмотря на усиленную агитацию, пункты власовской армии пустовали, так как жители отнюдь не горели желанием вступать в ее ряды. Никто и не заметил, когда они закрылись и прекратили свое существовани.

Нет худа без добра

Наступила весна. Нам сказали, что через несколько дней столовая закроется на ремонт недели на две и станет после этого рестораном.

Бологовской часто приходил к нам в столовую с гитлеровскими офицерами, бодро и оживленно объясняя им что-то по-немецки. Если заходил еще какой-нибудь немец, Бологовской энергичным жестом выбрасывал руку вперед с возгласом: «Хайль Гитлер!».

Сегодня он во время своего очередного посещения Кухни неожиданно спросил меня:

— Женя, скажите, по каким дням вы бываете выходной?

Теперь я уже имела выходные дни.

— По средам, — ответила я, ничего не подозревая.

— В среду я приду к вам в гости утром, часов в десять, — произнес он своим обычным тоном пшюта.

— Приходите лучше к вечеру, когда Леля будет дома, — сказала я.

— Что я буду делать с двумя женщинами? Нет уж, с меня хватит одной, — с ничем не прикрытым цинизмом заявил Бологовской, нагло прищурив свои близорукие глаза. — Так помните, в среду утром я буду у вас!

В среду я ушла из дому в восемь часов утра и пришла домой только к вечеру. Соседка сказала, что вскоре после моего ухода приезжал на велосипеде какой-то мужчина и был удивлен тем, что не застал меня дома.

Через три дня, когда наша столовая закрывалась на ремонт, мне объявили, что меня увольняют. С этого же дня для нас снова началось полуголодное существование. А тут как раз приехали из Бахчисарая мама и папа, чтобы попытаться прописаться в Симферополе и остаться жить с нами, чего им так и не удалось добиться.

В первые дни после закрытия столовой к нам зашла Наташа: она проезжала из Ялты в Курман (теперь Красногвардейское) к своему отцу.

Мы бросились друг к другу в объятия. Ведь в последний раз виделись под скалами батареи, вместе переживали ужасы тех дней.

Наташа предложила поехать вместе с ней. Я с радостью согласилась. Собственно говоря, мы не ехали, а шли, передвигались на «одиннадцатом номере». Заночевали в деревне Софиевке. Разговорившись с хозяином, приютившим нас, узнали, что он работает в авторемонтных мастерских в Симферополе вместе с пленными, среди которых двое с 35-й батареи. К сожалению, он забыл их фамилии. Мы с Наташей обрадовались и немедленно написали записку этим пленным, указав в ней, кто мы, сообщив мой адрес и попросив их прийти через три дня.

К назначенному сроку мы вернулись в Симферополь. Наташа, не задерживаясь, поехала дальше в Ялту.

Вечером я сидела у окна, выходящего во двор. Вдруг подошел мужчина.

— Вы — Мельник? — спросил он.

— Да, а вы?

— Я Вячеслав Юрковский, пленный. Мне передали вашу записку.

— Заходите, — сказала я и побежала открывать дверь.

Юрковский вошел.

— Пожалуйста, садитесь». Но я не помню вас по батарее.

— Очень возможно, — сказал Юрковский, — я служил на 30-й батарее. Я моряк — воентехник 2-го ранга.

— А где вы попали в плен?

Отступил, как и все, на мыс Херсонес; плавал в море в поисках кораблей, выбился из сил, меня, почти бесчувственного, выбросила на берег волна. Потом я сидел под скалами аэродрома и бежал оттуда на прорыв. В этот момент меня тяжело ранили в ногу. Так я был взят в плен… Чуть не умер. Очень трудно выжить пленному, да еще раненому. Спасла меня мать. Когда нас пригнали в Симферополь, кто-то из знакомых увидел меня — я ведь симферопольский — и сообщил моей жене и матери.

— Что же дальше? — спросила я Юрковского, который почему-то умолк.

— Не хочется даже вспоминать и говорить противно! — В его голосе послышались жесткие нотки. — Одним словом, жена явилась в лагерь вместе с немцем, с которым жила, и посмотрела на меня издали. Товарищи слышали, как она сказала: «Из него уже ничего не выйдет», повернулась и ушла. А мать выхлопотала меня на поруки из плена. Я ведь назвался рядовым и скрыл, что я командир, иначе меня не оставили бы здесь и отправили в Германию. Сейчас я работаю в авторемонтных мастерских на положении пленного, два раза в неделю хожу в полицию отмечаться.

В коротких словах я тоже рассказала Юрковскому о себе и, не откладывая дела в долгий ящик, начала излагать свой план перехода линии фронта. Эта мысль зародилась в моей голове еще в Севастополе.

— Я ищу товарища. Хотите быть им? Уйдемте вместе, — предложила я.

— Что же, это, конечно, можно сделать. Но у меня пока другое предложение и просьба к вам, — сказал Вячеслав. — У меня есть товарищ, тоже моряк. Он был ранен в руку и ногу. Сейчас вместе с другими военнопленными находится в тюрьме. Его надо вырвать оттуда, и это сможете сделать вы.

— Я?

— Да, вы.

— Говорите дальше, я слушаю вас.

Вячеслав продолжал взволнованно:

— Если вы освободите Николая, то через него мы наладим связь с партизанами и будем работать здесь подпольно.

Вячеслав понизил голос.

— Товарищ Николая — тоже моряк — благополучно бежал в лес, и мы имеем сведения, что он сейчас партизанит. В тюрьму приходила его сестра — Нюся Овечкина, которой удалось кое-что шепнуть об этом Николаю. Я не знаком с Нюсей, и только через Николая мы сможем ее найти и связаться с лесом. Но для этого необходимо его освободить, и тут я надеюсь на вас.

— Как же я могу это сделать? — спросила я Вячеслава.

— Вы должны написать заявление в комендатуру о том, что вы его жена, что до войны жили вместе с ним, в Симферополе, где он работал на ремонтных заводах. Тогда его переведут в мастерские, так как немцы нуждаются в специалистах. Кстати сказать, Николай ничего в нашей работе не смыслит, но это неважно, я буду его учить. Вы за него поручитесь, и ему разрешат жить дома с «женой», но он, конечно, будет жить у меня.

Нисколько не колеблясь, я ответила:

— Согласна. Только чем я докажу, что я его жена?

В паспорте у меня стоит штамп загса, где написано, что брак заключен между Мельником и Клапатюк.

— Паспорт не показывайте. Напишите поручительство, свой адрес, придете с домовой книгой. Вы головой отвечаете, если Николай сбежит, но он этого не сделает. Главное — не завраться и точно запомнить все сведения о Николае, а ему о вас. Но помните: если попадетесь во лжи, тогда уж несдобровать.

Мы разговаривали тихо, почти шепотом, чтобы кто-либо случайно не подслушал наш разговор. Условились в воскресенье добиться свидания в тюрьме с Николаем. Я должна буду передать ему краткие сведения о себе и узнать от него все, что не совсем точно знал Вячеслав. Сгустились сумерки.

— Ну, надо идти, — сказал Вячеслав, поднимаясь, — а то задержит патруль. Я живу близко от вас, На Нижне-Госпитальной улице, дом № 46, приходите ко мне, познакомитесь с моей матерью.

Когда ушел Вячеслав, я впервые за все время почувствовала, как приоткрылись двери моей темницы, тонкий солнечный луч прорезал тьму. Я обдумывала наш разговор: да, это лучше, чем переходить через фронт!

Но вдруг меня словно укололо. А что, если Вячеслав Юрковский провокатор? Ведь я его не знаю. А на каком основании он так безоговорочно мне доверился? Однако сердцем я верила Юрковскому.

Так неожиданно возникла крепкая дружба. Конечно, Бологовской не стоит благодарности, но не бывать бы этой встрече, если бы он меня не выгнал из столовой. Наконец я ухватилась за кончик ниточки, которая обрывалась, снова

связывалась и все же вывела к подполью,

Теперь каждый день после работы Вячеслав приходил ко мне, и мы вели долгие беседы вполголоса. Иногда я отправлялась на Нижне-Госпитальную, познакомилась с матерью Вячеслава Юзефой Григорьевной — тихой и доброй старушкой.

В воскресенье утром мы с Вячеславом отправились в тюрьму на свидание с Николаем. Вокруг тюрьмы толпились женщины, у каждой, в руках был сверток или корзинка с едой. Нам удалось проникнуть во двор, и к нам подошла группа пленных. Вячеслав толкнул одного из них и сказал:

— Не видишь? Твоя жена пришла!

Не успела я опомниться, как внезапно оказалась в объятиях этого пленного и обменялась с ним поцелуем. Потом он прижал мою голову к своему плечу, как это сделал бы нежно любящий муж, и прошептал:

— Ваше имя?

Женя, — тихо ответила я. — А вы Николай?

— Да.

Я думаю, что надзиратель, ефрейтор, крутившийся возле нас, не мог усомниться в том, что это была встреча мужа и жены. Я тихо, но внятно сообщала сведения о себе, говорила и в то же время рассматривала своего мнимого мужа. На первый взгляд, такой же, как и все, замученный, истощенный. Однако держится прямо. В темных волнистых волосах блестят нити преждевременной седины, но он без сомнения молод. Черты лица тонкие, правильные. Было что-то гордое в посадке его головы, в выражении продолговатых карих глаз, живых и блестящих. Нет, этот человек не сломлен!

— Надо говорить, что мы с вами поженились до войны, — продолжала я, — и жили в Симферополе, где вы работали на авторемонтном заводе.

Я спешила сказать все, что нужно, и не оглядывалась по сторонам. Все мое внимание было поглощено разговором с Николаем и наблюдением за ефрейтором, которой так и вился вокруг нас. Вячеслав и товарищи Николая громко разговаривали, чтобы отвлечь на себя надзирательское внимание.

— Давайте я лучше все это вам запишу, а то еще забудете, — сказала я, сделав движение, чтобы достать припасенные карандаш и листок бумаги.

— Что вы! — остановил меня Николай. — Никаких записок здесь нельзя ни писать, ни передавать, я и так все запомнил. А

теперь слушайте вы. Я — Николай Львович Стороженко, родился на Кубани в казачьей семье, мои предки выходцы из Запорожской Сечи. Потом жил в Керчи, где работал преподавателем физкультуры, затем, значит, женился на вас и переехал на жительство в Симферополь. В начале войны был призван на фронт рядовым, запомните — рядовым!..

— Довольно, конец! — объявил ефрейтор, и мы с Вячеславом ушли.

Это короткое свидание вдохнуло в нас свежие силы и радостную надежду. На обратном пути мы так увлеклись разговором, в котором строили планы на будущее, что были очень удивлены, когда внезапно оказались возле дома Вячеслава. Путь нам показался вдвое короче.

— Теперь только бы нам не запутаться, и ваш друг окажется на свободе, — сказала я, прощаясь.

— Не запутаетесь, — уверенно ответил Вячеслав. — У Николая память прекрасная, да и вы не забудете, а если и выскочит что-нибудь из головы, так я напомню.

Мы расстались.

Вот что потом рассказал Николай. Он вошел в камеру. Задыхаясь от счастья, подошел к окну и схватился за железные прутья решетки. Он знал, что за этой решеткой — тоже рабство, но рабство с развязанными руками, а здесь ты скованная жертва, приговоренная к смерти. «Я отомщу вам, проклятым убийцам», — шептал Николай. — Я хочу жить, чтобы мстить за все!»

Внизу во дворе стоял ефрейтор и отдавал какие-то распоряжения солдату.

— Мы с тобой еще встретимся в Берлине! — крикнул Николай. Кстати, впоследствии он действительно дошел до самого Берлина.

Ефрейтор обернулся и стал шарить взглядом по окнам. Николай отшатнулся от решетки и сам себя выругал: «Дурень, чего лезешь на рожон? Хочешь все дело испортить?»

И снова счастье захватило его волной. Он повторил имя своей мнимой жены… Но адрес? Где же она живет, где? И дальше… Что она говорила? Николай в страхе схватился за голову. Он метался по камере, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь из того, что я ему рассказала. Тщетно… Николай бросился в отчаянии на рваную шинель, лежавшую на полу, которая служила ему постелью, и закрыл лицо руками. Он все забыл!

На другой день я написала заявление, пошла в авторемонтные мастерские и начала хлопотать об освобождении Стороженко. Мастерские находились на окраине города — в Сергеевке. Я сама себе удивлялась. С легкостью и уверенностью,

что называется не моргнув глазом, я врала всяким переводчикам перед лицом гитлеровского начальства. И на все вопросы тотчас же находила удовлетворительный ответ.

— Почему у вас разные фамилии? — как-то спросил меня переводчик.

Когда мы регистрировались, я работала и у меня было много различных документов, которые я не хотела менять. Не знала же я, что они все равно сгорят в Севастополе вместе с брачным свидетельством!

Я уверяла, что мы с Николаем Стороженко до войны жили в Симферополе, где он работал на местном механическом заводе. Тогда переводчик задал мне другой вопрос:

— А почему во время осады вы оказались в Севастополе?

— Как почему? Мужа призвали во флот, когда началась война, а я поехала к нему на свидание и застряла там. Симферополь оказался отрезанным, а Севастополь осажденным.

И в это самое время в моей сумке лежал паспорт, полученный мной еще до войны в Севастополе, а в паспорте лежало свидетельство о заключении брака с Борисом Климентьевичем Мельником. Но я чувствовала себя уверенно и не боялась.

Прошло несколько дней. Только я возвратилась домой из мастерских, как мама протянула мне записку:

— Какая-то женщина принесла тебе. Очевидно, она от твоего пленного…

На листке бумаги было написано: «Если можете, приходите на улицу Шмидта, № 2, там мы до четырех часов дня будем работать. Николай Стороженко».

Было без пяти четыре, когда я добралась до улицы Шмидта. Пленные, делавшие мостовую, кончали работу. Николай сразу подошел ко мне.

— Спасибо, что пришли, — быстро сказал он. — Минут пять в нашем распоряжении, пока все будут собираться в колонну. Сядемте здесь, на этом заборчике.

Мы сели.

— А конвоиры? — спросила я.

— Сегодня хорошие, — сказал Николай, — смотрят сквозь пальцы, а чаще бывают такие собаки, что не возьмешь куска хлеба, который протянет какая-нибудь женщина..

— Вас скоро освободят, — сказала я, — все идет очень хорошо. Представьте, вру и не завираюсь!

Николай был серьезен.

— Повторите все, что тогда о себе говорили, и ваш адрес. Я забыл. Не знаю, что со мной случилось, всегда был так уверен в своей памяти. Хорошо, что меня еще не вызывали, но обязательно

вызовут и не раз. Я был в отчаянии. Вчера раздобыл клочок бумаги и огрызок карандаша, а сегодня утром, когда нас пригнали сюда на работу, остановил на улице какую-то женщину, объяснил ей, в чем дело, и попросил отнести записку матери Вячеслава. Это она вам ее принесла. Скорей, прошу вас, колонна начнет сейчас строиться!..

Я исполнила просьбу Николая и заставила повторить все, что ему сказала.

Прошло несколько минут. Из ворот вышли конвоиры, пора было и Николаю занять свое место в колонне.

Мне не разрешили идти с пленными, и я, попрощавшись с Николаем, пошла домой.

К концу второй недели моих хлопот, когда я подходила к мастерским, мимо проехала грузовая машина, и я услышала, как кто-то далеко позади кричал:

— Стороженко!.. Стороженко!

Некоторое время я продолжала идти, не обращая внимания на этот крик, как всегда, занятая своими мыслями. А потом вдруг сообразила: ведь это относится ко мне, это я Стороженко! Я обернулась. Мне махали с остановившейся машины. Я подошла. Возле кабины стоял переводчик.

— Вам нужно пойти в комендатуру, ведающую делами военнопленных, а не в мастерские, — сказал он. — Поторопитесь!

Когда я пришла в комендатуру, переводчик, порывшись в бумагах, вытащил какой-то список и объявил мне:

— Ваш муж завтра будет освобожден.

Я засияла от радости так, словно речь шла о настоящем муже. Домой бежала, не чувствуя под собой земли.

Николай рассказал мне потом, что в этот день на сердце у него было тревожно, он как будто чего-то ждал. Его не покидала смутная надежда на то, что, может быть, как раз сегодня придет распоряжение его освобождении. Не замеченный конвоирами, он отошел от группы пленных, отправлявшихся на работу, вернулся во внутренний двор тюрьмы, сел под высокой стеной, поставил возле себя котелок с ложкой и задумался…

Там, за этой стеной, свобода. Но удастся ли? Выйдет ли он отсюда? Уже несколько раз его вызывали, спрашивали — он отвечал. Он помнил, все, что я ему говорила, но ведь это только несколько сжатых фраз — самое главное. Отвечая на некоторые вопросы, заданные ему, он фантазировал, стараясь не запутаться, ведь муж все должен знать о жене и своей прошлой жизни с ней. А специальность авторемонтного мастера, ради которой его и отпускают на поруки из тюрьмы? Он о ней даже понятия не имеет. Что, если захотят проверить его квалификацию?

Тревога охватила Николая. Он был один во дворе. Полуголый, голодный, бледный, худой, в рваных брюках, он сидел, опершись спиной о высокую тюремную стену, за которой его свобода… Тяжело вздохнул, шевельнулся и задел ногой пустой котелок, в котором тонко и жалобно зазвенела ложка. Сегодня не пошел на работу, а потому не получит даже этой баланды, которую выдают раз в сутки.

Вдруг во двор вбежал татарин-доброволец и закричал:

— Стороженко! Николай Стороженко!

Николай вскочил, сердце забилось быстро и часто.

— Эй, Стороженко, иди, вызывают в комендатуру, приехали за тобой, забирать тебя будут в мастерские!

Николай подхватил котелок и пошел за татарином. Радость туманила мозг, но тревога не проходила. Вдруг сейчас сорвется? Спросят что-нибудь, и я не смогу ответить, или отвечу неверно, не так, как говорила моя мнимая жена, — и все погибло.

— Сядь здесь, — сказал татарин, когда они вошли в приемную, а сам зашел в кабинет коменданта.

Николай сел на скамейку. Тянулись мучительные минуты ожидания. Наконец, дверь кабинета открылась, и в приемную вышел комендант. Николай встал.

— Иди в камеру, бери свои вещи и отправляйся к воротам, — приказал комендант. — Тебя забирают в мастерские. Живо! — приказал он грозно.

Николай опрометью бросился бежать. Какие у него вещи? Одни грязные лохмотья, он сам не знает, зачем бежит за ними. Но все же вбегает в камеру, лихорадочно засовывает свою рваную шинель в мешок, сует его под мышку, хватает котелок и мчится к воротам тюрьмы. Перед воротами замедляет шаг — неужели правда? Часовой раскрывает ворота. Николай на секунду приостанавливается, не веря собственному счастью, а потом решительным шагом переступает черту, за которой остаются высокие тюремные стены. Путь ему преграждает пожилой гитлеровский офицер.

— Николяй Сторожьенко? — спрашивает он.

— Да, — отвечает Николай и снова тревожная мысль: вот сейчас разъяснится обман!

Офицер показал на грузовую машину:

— Шнеллер!

Николай полез в кузов.

Пленные во главе с Вячеславом и вольнонаемные — русские, работавшие в мастерских, встретили Николая, как брата. Поделились с ним хлебом и вареной картошкой.

К вечеру я пошла к Вячеславу и застала у него чисто

вымытого, радостного и счастливого Николая. Впрочем, трудно было сказать, кто в этот вечер был счастливее: Николай, Вячеслав, его мать или я. Этот вечер положил начало нашему союзу.

— Прежде всего, — сказал Николай, — надо вызвать сюда Нюсю Овечкину. Она живет в деревне Аргин, где-то под Карасубазаром. Завтра я ей отправлю записку с одним знакомым шофером, через нее мы свяжемся с партизанами.

Николай производил впечатление спокойного и волевого человека. Мы с Вячеславом, не сговариваясь, единодушно признали его главой нашего союза.

Николай под руководством Вячеслава начал осваивать авторемонтное дело. Правда, обучали его не столько работать, сколько саботировать: пленные и рабочие старались производить ремонт как можно медленнее и хуже, кое-когда даже совсем выводили из строя ремонтируемые тракторы.

Каждый день к вечеру мы все собирались у Вячеслава, иногда у меня. Ожидали приезда Нюси.

Как-то я призналась Вячеславу в своих подозрениях против него после нашей первой встречи.

— А тебе разве не приходило в голову, что я тоже могу быть провокаторшей? — спросила я его. — Ведь ты меня не знал.

— Нет, — ответил Вячеслав, — ни одной минуты. Такую записку провокаторша не могла написать. Женщины, интересующиеся гитлеровцами, на нас, пленных, не обращают никакого внимания.

Николай взял гитару и, перебирая струны, вполголоса запел:

За нами холодное море, И рвутся снаряды вокруг, Дымится в развалинах город, Сжимается вражеский круг…

…Так яркое солнце нельзя потушить,
Так шторм успокоить нет силы!
Не будут враги в Севастополе жить,
Он станет им только могилой!

Вячеслав тихонько подтягивал, а я, притихнув, вслушивалась в каждое слово этой, рожденной в Севастополе, песни.

— Как ты попал в плен? — спросила я Николая, когда он, окончив петь, отложил в сторону гитару. — И что делал до войны?

— В детстве, — начал Николай, — я, конечно, ходил в школу и одновременно обучался сапожному делу. Сделался хорошим сапожником и шил модельную обувь. Потом увлекся физкультурой, окончил физкультурную школу и работал

преподавателем. Жил в Керчи до начала войны. Военную службу проходил во флоте и, когда началась война, был снова призван. Всю осаду защищал Севастополь — сначала на четырнадцатой береговой батарее в Стрелецкой бухте, а потом на передовой. В последние дни обороны Севастополя я находился в разведке. Мои товарищи были убиты. Когда отступали наши последние части, я дошел до Казачьей бухты, но обогнуть ее, попасть на мыс Херсонес, уже было нельзя. Немцы подтянули орудия и пулеметы и взяли дорогу под перекрестный огонь. Я остановился и смотрел — всех косили насмерть. Тогда я бросился в бухту и переплыл ее, загребая рукой в лубках, как веслом. В плен попал под скалами аэродрома и объявил себя рядовым. Ты знаешь, ведь я комиссар.

— Комиссар! — восхищенно воскликнула я, — Как хорошо, что тебя никто не выдал.

— А если бы ты знала, что пришлось мне вытерпеть в плену, — продолжал Николай, — как издевались над нами санитары, приставленные для ухода за ранеными. Вот уж, надо сказать, «нежно» ухаживали! В час обеда, когда нам полагалось получить ложку бурды, санитары не подносили ее раненым, а заставляли их самих ползти к мискам. Кто не мог идти — полз на четвереньках, а кто не мог держаться на четвереньках — на животе, палачи-санитары заставляли всех ползти, даже умирающих, избивая «непослушных» своими подкованными сапожищами. Из Севастополя пригнали нас сначала в Бахчисарай на высокую гору, это было уже осенью. Кормили раз в день, замешивая отруби в холодной воде из речки. Спать мы ложились в ямки, вырытые в сырой земле, мокли под проливным дождем. Утром не все поднимались, каждый день несколько человек навсегда оставалось лежать в своих ямках…

Потом здесь уже, в Симферополе, каких только издевательств не натерпелись мы этой зимой! Когда не было никакой работы, нас заставляли целый день перетаскивать дрова, сложенные во дворе тюрьмы, с одного места на другое. Когда ефрейтору надоедало за нами следить и он уходил, немец-часовой, охранявший нас, разрешал бросить эту бессмысленную работу и отдыхать, спрятавшись за штабелями.

Однажды гитлеровские офицеры, решив поохотиться за зайцами, взяли нас с собой вместо гончих собак. Дав каждому в руки палку, они заставляли кричать, шуметь, бить палкой по кустам, выгоняя зайцев, в которых они стреляли. Выбившись из сил, я опустил палку и медленно побрел, офицер взял автомат из рук солдата и направил его на меня. Я решил: пусть стреляет, и не прибавил шага. Офицер все же не выстрелил. Затем гитлеровцы расстелили скатерть на снегу и уселись выпивать и

закусывать. Мы, как свора голодных собак, лежали вокруг, тяжело дыша от усталости. Собак и тех хозяин кормит, когда берет с собой на охоту, а эти, нисколько не смущаясь, ели перед нашими голодными глазами, как будто мы не только не люди, но даже и не собаки, а нечто совсем неодушевленное…

А сколько раз нас принуждали вступать «добровольцами» в гитлеровскую армию, грозя в противном случае окончательно заморить голодом! Мы с Вячеславом не поддались и других агитировали быть стойкими.

Мы спасались тем, что, когда нас посылали разгружать поезда, применяя всякие хитрости, крали муку, кукурузу, картофель, а потом, разведя костер, варили все это в железных банках. Я даже до такой наглости пошел, что заскакивал в комнату нашего начальника — офицера, в то время, когда он выходил, открывал шкаф, где У него стоял постоянно действующий самогонный аппарат, отливал в банку спирт и убегал.

— Вот так я жил до тех пор, пока вы, товарищи, не выручили меня! — заключил рассказ Николай.

Начальнички гитлеровского режима

В это время целыми днями я безуспешно бегала по городу в поисках работы. Без биржи никто не мог меня взять на работу, а на бирже действовал новый закон, запрещающий безработным поступать в русские учреждения. Разрешалось работать только на обслуживании немецких частей или на стройках укреплений Севастополя, Керчи, на Перекопе. Иногда я заходила на биржу в надежде, что попадется какая-нибудь подходящая работа, а в то же время опасалась, как бы меня не сцапали и не направили на стройку укреплений. Это было еще хуже, чем работать при немецких частях, куда я принципиально не шла.

Однажды, когда я вертелась на бирже, на меня обратила внимание начальница этого «милого» учреждения и подозвала к себе.

— Хотите работать хозяйкой у немецкого генерала? — спросила она.

Проклиная свою неосторожность и думая о том, как бы скорее отсюда улизнуть, я прикинулась смущенной такой «высокой» честью:

— Знаете, я боюсь, и не могу на это решиться, Быть хозяйкой у генерала… Это ведь не то, что у какого-нибудь простого офицера! Я плохая хозяйка, и он может быть недоволен мною. Нет, право, я боюсь, — повторяла я в ответ на все доводы

начальницы.

— Постойте минуту, — сказала начальница, — я сейчас позову сюда офицера, присланного искать для генерала хозяйку.

Она сделала несколько шагов к дверям соседней комнаты, а я, пользуясь суетой и шумом, царившими на бирже, быстро шмыгнула в противоположную дверь и удрала.

Наша столовая уже начала работать, превратившись после ремонта в ресторан. Я часто туда заходила. Все служащие интересовались моими делами и сожалели о моем увольнении. Однажды они встретили меня словами:

— Иди в столовую № 11, там требуется официантка, может быть, тебе удастся устроиться.

Я тотчас же пошла туда и обратилась к заведующему — пожилому человеку с гривой седых волос, солидной и внушающей доверие наружностью. Ему действительно нужна была официантка, но… все упиралось опять в эту биржу и поставленный в моей биржевой книжке штамп «безработная».

«Свет не без добрых людей», — подумала я, когда, узнав о моем безвыходном положении, заведующий предложил свою помощь.

— Я могу уничтожить злосчастный штамп в книжке и принять вас к себе на работу, у меня на бирже есть знакомый. Но это будет мне стоить 800 рублей, то есть литр водки.

— Где же взять 800 рублей! — разочарованно воскликнула я. — У меня нет таких денег и достать их неоткуда.

Не беспокойтесь и предоставьте все это мне. Я постараюсь уладить. А мы потом с вами рассчитаемся, — ответил заведующий, и лицо его осветилось приветливой улыбкой. — Дайте мне вашу книжку и приходите завтра.

— Буду очень и очень вам благодарна за доброту и участие, — сказала я, протягивая ему на прощанье руку.

Идя домой, я думала о том, какое приветливое и доброе лицо у этого пожилого человека с пышной седой шевелюрой. Только одно меня немножко смущало и приводило в недоумение: как и чем с ним буду расплачиваться? Может быть, постепенно вычтет из зарплаты?.. Или даст какую-нибудь работу? Например: штопать белье и носки.

На следующий день, придя в одиннадцатую столовую, я застала заведующего в своем кабинете.

— Садитесь, пожалуйста, — любезно предложил он, указывая на мягкое кресло возле его стола. — Сегодня все будет сделано, а завтра вы сможете приступить к работе.

Я села, а он откинулся на спинку кресла и внезапно из добродушного пожилого человека превратился в какого-то

опереточного соблазнителя: глаза стали сальными, рот растянулся в сладенькой улыбке.

— Ну вот, Женечка, теперь мы с вами поговорим о расплате. Я плачу 800 рублей, а вы за это разрешите мне за вами ухаживать, — сказал он, нисколько, очевидно, не сомневаясь в моем полном согласии.

— Это невозможно, — ответила я, — у меня есть муж.

— Муж? Но ведь ваш муж где-то на фронте, он, может быть, уже давно убит. И, кроме того, не подумайте ничего дурного, вы просто разрешите мне иногда к вам приходить. Я прекрасно понимаю, с кем имею дело, я отношусь к вам с большим уважением и никогда не стал бы за вами ухаживать, если бы не был уверен в том, что вы достойнейшая женщина.

— Мой муж для меня жив, да и я не продаю свою совесть, — решительно сказала я, поднимаясь. — Отдайте мои документы!

— Прежде подумайте, у вас нет другого выхода, — произнес он, уже не улыбаясь.

— Мне не о чем думать. Отдайте мои документы!

— Хорошо. Идемте на биржу, ваша карточка там, — сказал он, поднимаясь.

При выходе из кабинета заведующий приостановился. Вдруг лицо его исказилось злобой, глаза стали колючими, он зашипел, как змей, мне даже на миг стало страшно.

— Если хоть один человек узнает о нашем разговоре, я буду самым злейшим вашим врагом!

Возле биржи я подождала, пока он вынес мне карточку, и мы молча с ним расстались.

«Ну и наивная же ты дура, — издевалась я сама над собой. — Носки свои он даст штопать! Не понимаешь того, что эти все начальнички — одного фашистского поля ягоды. Это тебе не советская власть!»

На другой день я зашла в ресторан к своим друзьям. Сказала, что с одиннадцатой столовой ничего не получилось из-за моей биржевой карточки. В ресторане оставалась еще вакантная должность марочницы. Меня стали уговаривать, чтобы я пошла в городскую управу к Бологовскому. Может быть, он сможет обойти биржу. Я долго не соглашалась идти на поклон к этому фашистскому прихвостню и наглецу, но меня убеждали:

— Ты же не пойдешь продавать свою совесть. Обведи его вокруг пальца — и все дело.

— Но ведь он опять начнет приставать, — возражала я.

— А ты его опять отошьешь.

— А он меня опять выгонит.

— А это будет видно, — отвечали мне, — может быть, и

оставит в покое. А сейчас подумай о своей семье, которая голодает…

Положение мое было действительно ужасным: не на что жить, нечего есть и мне и всей нашей семье. Бедные мама и папа, так и не добившись прописки, уехали обратно в Бахчисарай.

А тут еще Володя — первый муж Лели, тоже перебравшийся в Симферополь, — окончательно слег в постель, умирая от туберкулеза. Мы с сестрой должны были подумать о том, чтобы взять его к себе. До сих пор мы не могли этого сделать, так как жили в чужой комнате, но теперь, совершенно случайно Леля получила комнату в том же доме, которую занимала одна женщина, уехавшая в деревню.

И вот я, скрепя сердце, решила опять обратиться к Бологовскому. У нас с ним состоялся довольно крупный разговор… Бологовской почувствовал что-то вроде угрызений совести и пообещал сделать так, чтобы на бирже изменили штамп в моей книжке. Бологовской действительно сходил к немецкому офицеру — верховному начальству биржи. Вышел он от офицера с видом мокрой курицы и заявил, что ничего сделать не может: гитлеровцы со своими холуями не особенно церемонились!

— Если вы каким-нибудь путем уничтожите штамп «безработная», а на это место поставите «работает», тогда я возьму вас на должность марочницы, — сказал мне Бологовской.

Я пришла в столовую и с грустью объявила друзьям, что ничего не выходит. Подумав немного, буфетчица Мария Васильевна сказала:

— Дайте, Женя, мне свою карточку. Я знакома с помощницей начальницы биржи, она добрая женщина; может быть, она для меня это сделает.

Я отдала свою карточку, и назавтра, как только я вошла в столовую, Мария Васильевна встретила меня с сияющим лицом:

— Вот, Женечка, ваша карточка, все сделано. Я вам говорила, что она добрая и многим помогает.

Позже я узнала о том, что эта помощница начальницы биржи была известна многим подпольщикам и делала для них все, что могла.

Теперь Бологовской снова зачислил меня в штат столовой на должность марочницы.

Еще ранней весной все говорили о готовящемся генеральном наступлении гитлеровцев. Василий Иванович Дроздовский ждал его с нетерпением, предвещал «скорую гибель большевиков». Я через знакомых кое-что узнавала о делах и настроениях Дроздовского, которого теперь возненавидела. Этот человечишко развернулся! Наконец-то после долгих лет мирной деятельности

пчеловода, он обрел свое настоящее призвание. Подумать только, сколько лет великий талант детектива был утоплен в пчелином меде!

Немцы много кричали о своем весеннем наступлении, но прошла весна, началось лето. А там стали растекаться слухи о провале наступления фашистов и начале нового русского наступления. Все советские люди ждали этого момента с нетерпением, не сомневаясь в том, что он наступит. И вот он наступил. «Непобедимая» немецкая армия отступала. Тот, кто был в плену, кто томился в цепях оккупации, особенно понимает, что значит миг приближающегося освобождения!

Но типы, подобные Дроздовскому, продавшиеся с потрохами «новой власти», не хотели верить в крах немецкой военной машины. Мне рассказывали, что при одном упоминании о советском наступлении Дроздовский бесился.

— Все равно немцы победят, — кричал он, — ничего не значит, что отступают, у них такая тактика! Затянут русские войска в мешок, а потом уничтожат их.

Видимо, призрак расплаты встал перед его глазами. И не только перед глазами Дроздовского: неожиданно исчез Бологовской. Он завербовался на работу в Германию, но держал это в глубокой тайне до самого отъезда.

Я была несказанно рада, потому что в последнее время, забыв о прошлых обидах, он снова начал «оказывать мне особое внимание», и это серьезно тревожило меня.

Вместо Бологовского назначили какого-то господина Нагорного — человека лет тридцати, который старался показать, что он не просто начальник, а концентрат энергии и строгости. По столовой и кухне он всегда ходил большими тяжелыми шагами, совал свой нос в каждую кастрюлю. Все было ясно: так ведут себя гитлеровцы, а Нагорный старался копировать своих хозяев. Начальственный осмотр, как обычно, заканчивался выпивкой и хорошей закуской в кабинете «Степки» — нашего зава. Начальство из отдела питания городской управы часто посещало кабинет развратника, пьяницы и обжоры «Степки».

Вскоре со мной опять произошла большая неприятность: официально должность мою сократили, но в городской управе держали этот приказ «под сукном», по той причине, что марочница была в столовой необходима.

Господин Нагорный рассудил, что должность эта хлебная, и решил на мое место поставить свою протеже. Узнав об этом, я возмутилась и пошла в управу с ним объясняться, что, конечно, было верхом глупости, в чем я немедленно убедилась.

Господин Нагорный держался с откровенной наглостью, как и Бологовской.

— Я и не скрываю того, что на ваше место ставлю свою знакомую. Что хочу, то и делаю! Ищите законы, которые вас защитят, — орал он, — ищите законы, если можете!

И я только лишний раз ощутила, что живу в царстве полнейшего беззакония и произвола. Рассвирепев, Нагорный вытащил, из-под сукна приказ о сокращении должности марочницы, пустил его в ход, потребовал у меня аусвайс (справку с места работы) и написал на нем большими буквами: «Уволена».

Вернувшись в столовую, я, по совету друзей, зашла в кабинет «Степки» и договорилась с ним, что буду работать неофициально — только за питание, без зарплаты, хлебной карточки и аусвайса. «Степка» согласился. Ему очень нужна была марочница, кроме того, он при всем своем паскудном облике почему-то мне сочувствовал.

Каждый месяц служащие столовой сдавали карточки для регистрации на бирже. Я своей не сдавала, на биржу не являлась и никаких регистрации больше не проходила. С этих пор я начала жить на полулегальном положении, так как всех, не имевших справки о работе, отправляли на стройку укреплений.

В городе постоянно бывали облавы, особенно часто в районе базара, где находилась наша столовая. Выходя утром из дому, я глядела в оба, чтобы не натолкнуться на жандармов и не попасть в облаву. Ходила на работу очень рано, а облавы всегда начинались несколько позже. Возвращалась из столовой поздно, за каких-нибудь полчаса до комендантского часа, в это время тоже не было облав.

Когда днем оцепляли район базара и начиналась проверка документов, официанты меня предупреждали: «Будь настороже!» Если жандармы появлялись в столовой, кто-нибудь из официантов вбегал в кухню и шептал: «Женя, жандармы, прячься!» Тогда Иван Иванович говорил: «Женя, в гранманжу!» — открывал свою кладовую, вталкивал меня туда и закрывал на ключ. Эту главную кладовую он называл французским словом, но склонял его по-русски: «гранманжа, в гран-манже…».

До самого освобождения мне приходилось спасаться в этой «гранманже» во время облав.

Приезд Нюси и первый шаг по дороге к подполью

С того знаменательного дня, когда пришел ко мне Вячеслав и положил начало нашему «тройственному союзу», я словно возродилась. К своему удивлению, убедилась в том, что не

потеряла способности смеяться. Появились бодрость, энергия. Каждый вечер я приходила к Юрковским к тому часу, когда Вячеслав и Николай успевали уже вернуться с работы, помыться, переодеться и пообедать. Первым моим вопросом было: не приходила ли Нюся? Но она все не ехала. Это нас беспокоило и волновало. Николай послал Овечкиной вторую записку с просьбой обязательно приехать. И вот однажды, открывая мне дверь, Юзефа Григорьевна Юрковская радостно объявила:

— Нюся приехала.

Нюся Овечкина встретила меня, как знакомую, так как Николай и Вячеслав успели ей рассказать все обо мне. Нюся оказалась женщиной лет двадцати восьми, маленького роста, пухленькой, с миловидным лицом и светлыми вьющимися волосами. Веселая, энергичная, может быть, даже излишне самоуверенная, она сразу овладела нашим вниманием и захватила рассказами о делах на фронте и о действиях партизан. В наших глазах она вырастала в личность необыкновенную, мы жадно ловили каждое ее слово.

— Мы наладим работу здесь, в Симферополе, — сказала Нюся. — В следующий раз привезу литературу, дам задания, А сейчас каждый напишите на листке бумаги свое имя, отчество, фамилию и кличку, которую изберете себе. Под этой кличкой вы теперь будете известны в лесу. Ваши листки послужат как бы заявлениями для вступления в подпольную организацию.

Я взяла лист бумаги и хотела в нескольких словах описать свою биографию, но Нюся остановила меня.

— Бросьте это! Есть у вас тонкая бумага? Нашлась? Хорошо. Теперь на крохотном кусочке напишите то, что я вам перед этим сказала. Никаких лишних слов. И не бойтесь: в случае чего я должна проглотить листочки…

Каждый из нас с трепетным чувством начертал свои имена. Вячеслав и Николай избрали громкие клички «Орел» и «Сокол», я задумалась… Какую же кличку взять себе? И в этот момент вспомнилась мне подруга раннего детства и всей моей жизни, та, которая была донором в блокированном Ленинграде, в то время как я находилась в осажденном Севастополе. Последнее письмо от нее я нашла на батарее в неразобранной почте в ночь с 30 июня на 1 июля 1942 года. Пусть фамилия Валентины будет моей кличкой, решила я и подписалась «Андреева».

Нюся взяла наши листки, свернула их в маленький комочек и спрятала у себя на груди. Потом мы опять слушали ее рассказы о лесе и жизни партизан. Как были мы поражены и восхищены сообщением Нюси о том, что в лесу есть аэродром, где приземляются самолеты с «Большой земли».

— Они привозят партизанам московские газеты, — сказала Нюся, — литературу, оружие, мины, продукты, вывозят из леса раненых, больных, женщин, стариков и детей.

— Значит, можно было бы улететь на «Большую землю»? — спросила я.

— Да, — ответила Нюся, — если хотите, можно попытаться это устроить.

Я молчала. Хочу ли я? Боже, как заманчиво улететь на «Большую землю»! Уйти из рабства, оказаться среди своих, советских бойцов, найти мужа! Искушение было большое. Несколько минут я колебалась, но потом другие мысли овладели мной. Нет, теперь уже поздно, слишком много злости и ненависти накопилось в моем сердце. Отказаться от мести, ждать, когда кто-то за тебя отомстит? Нет, невозможно! Здесь, на своей крымской земле, я должна увидеть, как побегут гитлеровцы, насладиться этим зрелищем…

Я ответила Нюсе:

— Останусь здесь, буду вам помогать.

Рано утром Нюся должна была уезжать. Мне не хотелось уходить, но я и так задержалась больше, чем следует. Пустые и притихшие улицы были залиты ровным голубым светом луны. Нигде ни души, ни звука, только чуть слышно постукивают по камням каблуки моих босоножек. Но вот вдали послышался стук кованых сапог по камням мостовой: патруль, наступил комендантский час. Я прибавила шаг.

Маленький Женя уже спал крепким сном. С наступлением темноты мы, как говорится на морском жаргоне, наглухо задраивали окна и двери, отгораживаясь от окружающей враждебной жизни.

Нюся уехала, погрузив нас снова в состояние лихорадочного ожидания. Особенно нетерпеливы были мы с Вячеславом, и более спокойному и рассудительному Николаю все время приходилось одергивать нас.

Наконец, испытав наше терпение до предела, снова приехала Нюся и привезла немного литературы — книги, несколько газет и листовки, которые отдала со словами: «Давайте читать людям, которым доверяете. Будьте осторожны, не нарвитесь на предателя!».

— Мне нелегко сюда приезжать, — объясняла нам она, — каждый раз приходится платить тысячу рублей за пропуск, доставать его нелегальным путем. На феодосийской дороге очень опасные заставы, особенно в деревне Зуя, там целая куча жандармов. Одну мою знакомую, ехавшую без пропуска, задержали и отправили куда-то на стройку укреплений, с тех пор

о ней ни слуха, ни духа. Ну, а если задержат меня с таким грузом, то дело будет похуже, поэтому я не езжу без пропуска… В следующий раз я вам привезу задание посерьезней, а пока у меня ничего больше нет.

Вячеслав попросил у Нюси какой-нибудь адрес для связи.

— Если у вас вдруг появится необходимость уходить в лес, — ответила Нюся, — запомните адрес Лени и Толи, они живут в Карасубазаре. Эти два молодых человека укроют вас у себя и сообщат мне в Аргин. А я переправлю вас в лес.

Нюся не назвала фамилий Лени и Толи — значит, так нужно, никто из нас не задал ей этого вопроса, понимая, что для каждого, кто состоит в подпольной организации, существует ряд вопросов, которых никогда не стоит задавать.

Литературу, оставленную Нюсей, мы сначала прочли сами от корки до корки и не один раз. Это были первые советские газеты и листовки, попавшие в наши руки. Трудно передать, с какой жадностью мы вчитывались в каждое слово.

Николай и Вячеслав отнесли литературу в мастерскую и дали прочесть пленным, а вечером принесли мне. В нашей столовой многие прочитали эти газеты и листовки, а официантка Мура Артюхова носила их, с моего разрешения, на обувную фабрику, где работал ее муж. Не забыла я и Ольгу Петровну Поморцеву.

Она безуспешно искала в лагерях военнопленных своего раненого мужа, некоторое время прожила в деревне Акимовке, а затем в Сарабузе, а теперь с сыном Борисом поселилась в Симферополе. Ей я тоже доверяла.

Путешествие в Карасубазар и деревню Аргин в поисках Нюси

Мы были очень обеспокоены: Нюся внезапно исчезла с нашего горизонта и больше не показывалась. Николай послал ей две записки, но результата покамест не было.

Надо на что-то решаться, бездеятельное ожидание истомило нас. Договорились, что будем искать Нюсю. Кому же отправляться на поиски? Николай и Вячеслав должны каждый день являться на работу, иначе поднимется шум, накажут поручителей: меня и Юзефу Григорьевну. Я опять не имела выходных и была обязана ежедневно находиться в ресторане. Однако я решила во что бы то ни стало отпроситься дня на три у заведующего, якобы для поездки в Бахчисарай, к родным. Пробраться в район Карасубазара без пропуска трудно, но «волков бояться — в лес не ходить»!

О том, что мне надо отправиться в Карасубазар для

восстановления связи, я откровенно рассказала шеф-повару Ивану Ивановичу, который теперь стал моим настоящим другом. Конечно, я не называла ни фамилий, ни имен, ни адреса, это было секретом, который нельзя открыть даже родной матери.

Каждое утро, придя на работу, мы с Иваном Ивановичем вели «крамольные» беседы, за которые нас могли бы отправить в гестапо, обменивались новостями о боевых действиях наших войск на фронтах, ведь слухом земля полнится. Я помогала Ивану Ивановичу жарить лук и печь блинчики — это уже вошло в мои обязанности, — и возле плиты мы шёпотом переговаривались.

Я уже говорила о том, что люди в то время быстро становились друзьями, если находили друг в друге единомышленников. И в то же время требовалась большая осторожность.

В столовой (мы ресторан продолжали называть столовой) коллектив служащих был надежным, но находились люди, с которыми следовало держать ухо востро: это были посудница — казанская татарка, благосклонно настроенная к фашистам, и чебуречник Окай — крымский татарин. Что же касалось заведующего, то он больше сидел в своем кабинете, пил, ел и запирался на ключ с любовницей — женой добровольца гитлеровской армии, русского немца.

«Степка» согласился отпустить меня на три дня в Бахчисарай. О том, что еду в Карасубазар, знали только Иван Иванович, официантка Мария Митрофановна Артюхова, которая умела молчать, и моя сестра. Она уже догадывалась о появлении у меня каких-то своих тайных дел.

Рано утром я пошла на Феодосийское шоссе. Румынская грузовая машина, ехавшая до Зуи, взяла несколько человек, в том числе и меня. Во избежание всяких недоразумений с жандармами, проверявшими пропуска в Зуе, шофер остановил машину у въезда и всех ссадил. Мне это было на руку: окольной улицей я обошла жандармскую заставу и вышла на противоположную окраину деревни. Здесь увидела подводу с сеном, на котором сидел румынский солдат: она медленно тащилась в направлении Карасубазара.

— Подвезите меня, — попросила я. Румын остановил подводу, подвинулся, и я села рядом с ним на облучке. Бесконечно долго тащилась подвода, но я была спокойна: кто обратит внимание на женщину, едущую рядом с румынским солдатом? Я чувствовала себя совсем не плохо, полулежа на душистом сене и греясь в лучах мягкого октябрьского солнца. Как давно я не была на свежем воздухе!

Солнце уже низко стояло над горизонтом, когда мы

подъехали к Карасубазару. Сойдя с подводы, я пошла по улицам маленького городка, скорее похожего на большое село. Все прохожие обращали на меня внимание: здесь, очевидно, жители знали друг друга наперечет и каждое новое лицо вызывало любопытство. Это было не очень приятно. Расспросив кого-то, я скоро нашла улицу, названную Нюсей, но каково было мое удивление, когда на месте дома номер двенадцать оказались развалины. Я прошла по улице несколько раз, безнадежно пытаясь найти нужный мне дом и возвращаясь все к тому же пустырю, поросшему травой и заваленному камнями.

Положение становилось угрожающим: вот-вот наступят сумерки, прекратится хождение по городу и меня заберут. Что я смогу тогда ответить на вопрос, зачем приехала в Карасубазар? Конечно, меня примут за партизанку.

Мимо проходили редкие прохожие и все с любопытством рассматривали мою одинокую фигуру. Спросить кого-нибудь, где живут Толя и Леня? Я рискнула обратиться к двум проходящим женщинам:

— Скажите, где здесь живут Толя и Леня?

— А их фамилии? — вполне резонно осведомились женщины.

— Забыла… — ответила я, не найдя другого слова.

Женщины принялись вспоминать, в каких домах Карасубазара проживают Толи и Лени. Наконец, снабдив меня набором адресов, надавав мне бесчисленные советы, они пошли своей дорогой.

Вечерело. Куда же мне деваться?

Вдруг из-за угла вышел полицейский, в своей черной форме похожий на ворона. Я решила «взять быка за рога» и направилась к нему. Внимательно рассматривавший меня полицейский остановился. Я спросила:

— Мне нужен дом номер двенадцать по этой улице, но здесь я вижу одни развалины. Не знаете ли вы, где может находиться такой дом?

— Вот переулок, — сказал полицейский, указывая на улочку, из которой вышел, — он носит то же название. Пройдите до угла и заверните, там, по правой стороне, и будет дом номер двенадцать.

Я вежливо поблагодарила полицейского и поспешно от него отошла, боясь каких-либо расспросов.

Обернулась. Полицейский медленно шел вслед за мной.

Я прибавила шагу, быстро завернула за угол, перебежала на другую сторону, зашла в чей-то двор и спряталась за воротами. В щелку наблюдала за улицей: прошел румынский солдат, навстречу ему из-за угла показался полицейский. У дома номер

двенадцать он тронул ворота — они были заперты, толкнул калитку — но и она заперта. Полицейский сдвинул свою форменную шапку на нос, почесал в затылке, сплюнул. Снова посмотрел на ворота, зачем-то глянул на небо, сдвинул шапку на затылок, повернулся и лениво побрел обратно.

Я выждала не больше пяти минут: уже темнело, время было дорого. Подбежала к калитке дома номер двенадцать и постучала. Мне открыла какая-то женщина, и я увидела перед собой просторный двор, по которому суетливо бегали румынские солдаты, а румынские офицеры (как я заметила, в больших чинах) то входили, то выходили из дверей дома, который стоял в глубине двора.

— Здесь живут Толя и Леня? — тихо спросила я женщину.

— Да, здесь, — так же тихо ответила она.

— Мне нужно их видеть.

— Кто вы и откуда? Я их родственница, можете мне об этом сказать, — произнесла женщина, не впуская меня во двор.

— Вы Нюсю Овечкину знаете? — спросила я.

— Да, знаю.

Она дала мне адрес Толи и Лени. Я из Симферополя, мне нужно лично их видеть.

Лени уже нет, его забрали в гестапо, — едва слышно сказала женщина. — Сюда вам заходить нельзя: здесь во дворе разместилась сигуранца — румынское гестапо. Я проведу вас на работу к матери Толи Бондаренко, это совсем близко, в двух шагах, она работает сестрой в поликлинике.

«Так вот почему ушел полицай! — подумала я. — Здесь румынская сигуранца, и черная совесть полицейского может оставаться спокойной, если человек направился туда».

Толина мама оказалась очень приветливой и еще молодой женщиной. В нескольких словах я рассказала ей о цели своего прихода. Упоминание имени Нюси Овечкиной, казалось мне, было достаточным, чтобы вызвать к себе доверие.

— Я не могу вас повести к себе, — сказала Толина мать, — Леня уже арестован, и наша квартира под подозреиием, а во дворе, как вы уже знаете, расположилась сигуранца. Идемте со мной, я поведу вас в другое место, где вы переночуете. Толя зайдет к вам.

Дом, куда она привела меня, находился близко. Я подождала во дворе, пока она зашла в квартиру и вскоре вышла оттуда в сопровождении мужчины средних лет.

— Знакомьтесь, это Миша, у которого вы останетесь ночевать. А я пойду домой, а то уже поздно.

— Заходите, пожалуйста, — предложил мне Миша. — В

первой комнате живет немецкий офицер, — предупредил он.

Мы прошли через большую, неуютную комнату в маленькую.

— Садитесь, — пригласил Миша, — я сейчас подогрею обед и накормлю вас.

И только сейчас я почувствовала, как голодна. Миша растопил плиту, и через полчаса все было готово.

В это время в комнату вошел Толя — молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, плотный, с чистым, белым лицом и нежным девичьим румянцем. Только лицо было сурово не по возрасту. Ни тени улыбки, темные красивые брови сдвинуты, губы сжаты. Толя поздоровался со мной и попросил выйти с ним на минуту к воротам. Мы вышли. Он задал мне несколько коротких вопросов: откуда я узнала его адрес, зачем сюда приехала и вообще кто я такая. Так же сжато и коротко я отвечала ему.

— Разве Нюся не предупредила вас о нашем существовании? Она обещала предупредить.

— Нет, она ничего мне не говорила.

— В таком случае вы вправе отнестись ко мне с недоверием, Нюся совершила ошибку. Мне нужно только узнать у вас, как попасть к ней, для этого я и приехала…

Я коротко рассказала Толе о нашей, так неожиданно порвавшейся связи с Нюсей, прибавив, что сама я из Севастополя, жена моряка. Толя слушал молча, лицо его не меняло своего сурового выражения. Когда я кончила, он сказал:

— Завтра кто-то из нас — я или Миша — укажет вам дорогу в Аргин, а сейчас идите к Мише. До свиданья!

Стол был накрыт, но Мишу я застала расстроенным, так как, желая мне угодить, он сжег в угольки семечки — «деревянный десерт», как называл их мой папа.

Миша накормил меня, будто я была самой дорогой гостьей, которую он давно ждал и вот, наконец, дождался. За дверью возился офицер, укладываясь спать. Вскоре раздался его храп. Тогда Миша шепотом спросил:

— Кто ты, откуда и зачем пришла? Рассказывай!

Это «ты» в устах Миши, впервые видевшего меня, звучало как-то доверительно, по-товарищески.

Я в кратких словах рассказала все о себе. Когда окончила свое повествование, Миша произнес:

— Я верю тебе, чувствую, ты рассказала правду. Но знай: комната, в которой ты находишься, — под большим подозрением, ты здесь не в безопасности. Моя жена недавно арестована. Наверно, уже расстреляна в гестапо…

Голос у Миши дрогнул, лицо передернула судорога, и он замолк. Я опустила глаза, потому что видела, как он мучительно

старается совладать со своим волнением. Но, взяв себя в руки, он продолжал:

— Мой пасынок, ее сын от первого мужа, ушел к партизанам. А жена была так неосторожна! Сын успел скрыться, а мать взяли.

Миша тяжело вздохнул, встал и подошел к окну. Наступило молчание. Он стоял у окна, завешенного черным шерстяным платком, и нервными движениями перебирал книги, в беспорядке наваленные на подоконнике.

Вдруг Миша резко повернулся, выпрямился, будто стряхнул с себя тяжесть, подошел ко мне, сел и начал рассказывать:

— Я работаю в одной немецкой части, специально пошел туда, где можно больше знать и сильнее вредить. Возможно, за мной следят, пока я еще жив и на свободе, чувствую, что доживаю свои последние дни…

— Но почему же ты тогда не уйдешь в лес? — спросила я.

— Почему? Я нужен здесь, пока еще, как видно, обо мне им неизвестно. Жена, очевидно, не выдала меня, не стоит паниковать. Ну, а теперь давай ложиться спать, завтра надо встать пораньше. Мне нужно успеть до работы отправить тебя в Аргин.

Миша постелил мне постель на одной из двух кроватей, стоявших в комнате. Наверное, подумала я, эта кровать принадлежала его жене. Гася свет, он сказал с беспокойством в голосе:

— Фриц, пожалуй, заподозрит любовную историю.

«Неплохо, конечно, если фриц подумает именно так, а не иначе, но человеку чистой души невольно становится неприятно», — подумала я.

В шесть часов утра мы поднялись. Миша побежал куда-то, чтобы достать молока к завтраку и накормить меня на дорогу. В это время пришла взволнованная Толина мать.

— В городе облава, — сказала она, — проверяют у всех документы, вам нельзя выходить из дому, я прибежала предупредить.

Миша вошел, бережно неся в маленькой кастрюльке молоко.

— Вот неудача, — сказал он, узнав об облаве, — а я хотел устроить ее на машину. Ну, ничего, я знаю, какими улицами обойти облаву.

— Мне надо спешить на работу, желаю удачи, — прощаясь, сказала Толина мама.

— Кушай как следует, — уговаривал Миша, — тебе придется пройти десять километров. Попытаюсь устроить тебя на машину, но боюсь, что помешает облава.

С какой заботливостью собирал меня Миша в дорогу!

Несмотря на все протесты, он вручил мне сверток с едой и даже не забыл положить в мешочек семечек, на этот раз лишь немного подгоревших.

— Погрызешь по дороге, будет не так скучно идти, — пояснил он.

Заметив у меня помятую картонную коробочку, где лежало несколько папирос, Миша немедленно выбросил ее, а папиросы переложил в маленький дамский деревянный портсигар, аккуратно сделанный и хорошо отполированный.

— В портсигаре твои папиросы не поломаются, а в коробке носить их неудобно. Это Толина работа, он сделал.

Простенький, маленький деревянный портсигар лежит сейчас передо мной. Он для меня очень дорог. Нет больше тех рук, которые его сделали, и нет больше тех рук, которые его мне подарили. Сколько могла бы рассказать эта деревянная коробочка!..

— Не бойся, — подбодрил меня Миша, когда мы вышли за ворота, — я благополучно выведу тебя на дорогу, мы не попадем в облаву.

Да я и не боялась, чувствовала себя совершенно спокойно, уверенная в том, что Миша достаточно осторожен, и вполне ему доверяла.

Возле какого-то двора, наполненного машинами, я подождала Мишу, который вел переговоры с шоферами.

— Жаль, сейчас ни одна машина не идет в Аргин, — сказал он, выходя оттуда, — но я условился с шоферами: завтра, когда ты будешь идти из Аргина в Симферополь, они подберут тебя на дороге и довезут.

Вскоре мы благополучно вышли из города на дорогу. Впереди трусила подвода. Миша бросился ее догонять, но оказалось, что она не по пути.

— Вон на ту дорогу тебе надо свернуть, — сказал Миша, — иди прямо по ней. Я провожу тебя до перекрестка.

На перекрестке мы расстались. Я несколько раз оборачивалась: Миша стоял и смотрел мне вслед.

Проселочная дорога была совершенно пустынна. Ни машина, ни подвода не нагнали меня, не встретился ни один человек. Дорога приближалась к холмам, покрытым лесом. Стояла золотая крымская осень, приятно пригревало солнце, даже стало жарко, и я сняла свое легкое пальто. Я чувствовала себя бодро, дорога не утомляла: ведь с каждым километром приближалась цель похода, а в Симферополе с нетерпением ожидали моего возвращения Вячеслав и Николай. Но мысли снова обратились к Карасубазару.

Что за чудесные люди! Невольно вспомнились прочитанные

книги — воспоминания старых революционеров, которыми я раньше так увлекалась. Морозов… Вера Фигнер… Могло ли тогда прийти в голову, что в самом недалеком будущем внезапный и страшный поворот возродит и вызовет к жизни новых Фигнер и Морозовых. Я преклонялась перед нравственно чистыми образами старых революционеров, теперь я склоняю голову перед людьми моих дней.

Неизвестной осталась для меня фамилия Миши, человека, знакомого мне только полсуток. Тогда мне не нужно было ее знать, а сейчас я об этом сожалею. Фамилия Толи — Бондаренко, ее случайно назвала женщина, открывшая мне калитку. Как звездочки в небе, промелькнули в моей жизни эти два человека, промелькнули, запомнились навсегда — и бесследно исчезли…

На половине пути повстречалась маленькая деревушка, и, как нарочно, на улице никого не было, кроме полицейского, проводившего меня долгим и внимательным взглядом. Чувствуя его взгляд, я не удержалась и обернулась, чего не следовало делать. Фигура моя, к сожалению, была приметна: одета я по-городскому, мозаично исштопанное платье чисто, хорошо разглажено, волосы уложены в тонкую сетку. Я обращаю на себя внимание, а это нежелательно и неприятно.

За деревушкой дорога подошла к краю глубокого оврага, и перед моими глазами открылась деревня, утопавшая в фруктовых садах. Слева от деревни, сразу же за нею, начинались холмы предгорья, покрытые лесом. Дорога круто шла вниз. Я спустилась в деревню. Снова встречные деревенские жители с нескрываемым любопытством осматривали меня, провожая взглядами. Пришлось обратиться к ним с вопросом: действительно ли это деревня Аргин и где живет Нюся Овечкина? Мне рассказали, что надо пройти всю деревню, Нюсин дом — последний на дальней окраине. И вот я у обыкновенной деревенской хаты, возле которой стоял большой стог сена.

Из дверей вышла высокая, худощавая старуха с загорелым лицом. Я поздоровалась и спросила:

— Нюся Овечкина здесь живет?

— Да, здесь, — ответила старуха, — я ее мать, только Нюси нет сейчас дома.

— Я пришла из Симферополя, мне Нюся нужна по делу.

— Ну что же, заходите в хату и располагайтесь там. Нюся скоро придет.

— Благодарю, я лучше подожду ее здесь, на свежем воздухе, отдохну под стогом сена.

— Как хотите, — сказала мать Нюси, — только сядьте так, чтобы вас не видели с улицы, будет от греха подальше, а то у нас,

знаете, каждого нового человека замечают.

Я с наслаждением растянулась на солнышке под стогом, совершенно скрывшим меня от взоров прохожих. Старуха то входила в дом, то выходила, занимаясь домашним хозяйством, но в ее молчаливой фигуре чувствовалась настороженность, лицо отражало тревогу. Что за птица прилетела из Симферополя? Явилась Нюся, и все разъяснилось.

— Что с вами случилось? — спросила я, увидев, что у Нюси рука на перевязи.

— Вывихнула руку недели две тому назад, когда переправляла партию людей к партизанам. Была очень темная ночь, я споткнулась, упала в какую-то канаву. А теперь, видите, вся рука и плечо распухли. Из-за руки я и не могу приехать в Симферополь, не знаю, когда поправлюсь…

Узнав, кто я, Нюсина мать сразу повеселела и оказалась очень гостеприимной и разговорчивой. Я познакомилась с тремя маленькими черноглазыми мальчиками. Оказывается, Нюсин муж, коммунист, был расстрелян немцами в первые же дни их прихода. Теперь Нюся жила с матерью, отчимом и своими детьми. У нее в доме бывали партизаны. Нюся часто по ночам переправляла в лес людей, а там получала литературу и оружие, вела подпольную работу в деревне, имела связь с Симферополем.

Мать Нюси накормила нас, и мы до поздней ночи продолжали беседовать, лежа уже в постелях. Я не уставала слушать рассказы Нюси о том, как люди ищут дорогу в лес, к партизанам.

— Недавно был такой случай, — говорила она, — какой-то шофер посадил на машину свою жену с ребенком и поехал прямо в лес. Машину сбросил под откос, а сам с семьей принялся бродить в поисках партизан. Две недели бродили, но партизан не нашли. Продукты кончились. Послали в нашу деревню свою маленькую дочку, чтобы она попросила поесть. Ее привели ко мне. Я отвела к партизанам всю эту семью, которая буквально умирала от голода в лесу. Не так легко и просто найти партизан. Можно днями бродить по лесу и не натолкнуться на них…

Так незаметно прошла большая часть ночи. В деревне начали перекликаться петухи, когда, вдоволь наговорившись, мы решили, что, кажется, пора и спать.

Встали рано, но Нюсина мать уже готовила скромный завтрак.

— Скоро вы там умоетесь? Хватит вам полоскаться, а то каша остынет, — звала она, в то время как мы с Нюсей умывались ледяной водой из бадьи, стоявшей во дворе…

— Ешьте, — приговаривала Нюсина мама, — наедайтесь как

следует, ведь вам до Симферополя надо идти, дайте-ка, я вам еще прибавлю.

Мне вспомнился Миша, так и он меня кормил.

Сейчас же после завтрака я собралась в путь. Нюся дала мне только одну листовку и одну газету, больше ничего не было. Назвала адрес и фамилию симферопольского шофера — на всякий случай, если понадобится вывезти нас в лес.

— Может быть, дать тебе адрес другого шофера? — спросила она.

Но я отказалась, решила, что хватит и одного.

Прощаясь, Нюся обещала скоро поправиться и в самое ближайшее время приехать в Симферополь.

Нюсина мать вывела меня из деревни на проселок и остановилась у подножия холма.

— Будете идти до перекрестка, а тогда поверните вправо и никуда не сворачивайте, идите прямо, дорога приведет вас в деревню Розенталь, а дальше по шоссе доберетесь до Симферополя. Эта проселочная дорога очень глухая, здесь вряд ли кто-нибудь встретится. В деревне Розенталь стоят румыны, будьте осторожны.

Прощаясь со мной, старая женщина заплакала:

— Боюсь я за Нюсю! Сердце чует недоброе. Да только ведь я сама старая партизанка, еще в гражданскую войну партизанила под Севастополем, около деревни Алсу, знаете такую?

— Конечно, каждый севастополец ее знает.

Мы расцеловались. Я поднялась на холм и обернулась, чтобы еще раз бросить взгляд на деревню Аргин и высокую фигуру медленно удалявшейся старухи.

До самого перекрестка я не встретила ни души. Солнце приятно пригревало, голубое небо было чисто и ясно. Когда я вышла на дорогу, ведущую в деревню Розенталь, меня нагнали две румынские подводы, ехавшие из леса и груженные дровами. Я попросила подвезти, солдат охотно согласился. У въезда в деревню Розенталь он остановил подводу и объяснил, что дальше меня везти не может, так как в центре деревни есть застава. Солдат указал, как мне ее обойти.

Благополучно миновав деревню, я вышла на шоссе и села у придорожной канавы в ожидании попутной машины. Минут через десять показалась машина, нагруженная тюками табака, в кабине рядом с шофером сидел человек. Я решила не «голосовать»: ведь сесть как будто и негде. Проехав мимо, машина резко затормозила. Шофер вышел из кабины и подозвал меня.

— Вы в Симферополь? — спросил он.

— Да.

За тюками с табаком оказалось небольшое свободное пространство, где сидели две женщины и мужчина. Шофер очень любезно помог мне влезть в кузов, и мы поехали. Я была удивлена: разве шоферы останавливаются и спрашивают каждого встречного, не желает ли он, чтобы его подвезли? Мне вспомнился Миша, не его ли это дело? Ведь он, наверно, описал мою наружность шоферам. Недаром, проезжая мимо, шофер пристально вглядывался в меня.

Быстро промчалась машина через Зую, никто ее не остановил. В деревне Мазанке сошли человек, сидевший в кабине, и остальные пассажиры, предварительно расплатившись с шофером.

— Пересядьте в кабину, она освободилась, — предложил мне шофер.

Я пересела. Наверное, связан с Мишей, подумала я, но, конечно, молчала. Доехав в Симферополе до угла улицы, где находилась наша столовая, я попросила остановить машину и открыла сумку, доставая деньги. Шофер отстранил мою руку и закрыл сумку.

— С вас я денег не возьму.

Теперь я ничуть не сомневалась: шофер был связан с Мишей.

— Большое спасибо, — сказала я и, выскочив из кабины, быстро пошла по улице.

Прежде чем направиться домой, я зашла в столовую. Иван Иванович и Мура Артюхова при виде меня облегченно вздохнули.

— Ну как, все в порядке? — осведомились они.

— Очень хорошо и удачно.

Наспех пообедав, помчалась к Юрковским, где моего возвращения ожидали с нетерпением. Здесь я дала полный отчет о своей поездке. Николай и Вячеслав повеселели: значит, с Нюсей ничего страшного не случилось и можно надеяться на скорый ее приезд. Связь снова восстановлена.

— Завтра я пойду по Нюсиному адресу к шоферу, — сказал Вячеслав.

Я отдала друзьям листовку и газету, они жадно стали читать Условились, как и прежде: сначала отнесут на завод и дадут прочесть пленным, а потом я заберу в столовую.

На следующий день Вячеслав пошел искать шофера, но вернулся сумрачный.

— Шофер арестован гестапо, — сказал он. — Хорошо, что я не постучал в дверь его квартиры. Какая-то женщина во дворе предупредила меня. Зачем ты не взяла у Нюси второго адреса?

Да, теперь я поняла, что надо быть предусмотрительней.

Наши подошли к Перекопу

Через несколько дней среди гитлеровцев началась паника: советские войска подошли к Перекопу.

Некоторые немецкие части, которым удалось это сделать, до подхода наших войск ушли на Херсон и Одессу. Многие гитлеровские офицеры эвакуировались в Одессу самолетами. За их хвостом потянулись туда же разные продажные твари. Они удирали в Одессу, а затем в Германию, думая спасти там свои головы от народной мести.

Такие вести волновали и радовали людей, но жителей Крыма не покидала тревога: всем было известно, что гитлеровцы при отступлении особенно зверствуют. Люди задавали друг другу вопросы: как поступят с нами немцы, чего ждать от них? Выгонят ли всех в поле и перестреляют из пулеметов? Погонят ли в Севастополь, посадят на баржи и утопят или отошлют в Германию?

Один русский шофер, ездивший на Украину, обедая в нашей столовой, рассказал о том, что он видел своими глазами:

— Всех, кого немцы успели захватить на юге Украины, они гнали к переправе на Днепре недалеко от Херсона. Кто выбивался из сил, отставал — того пристреливали. Тысячи трупов женщин, детей, стариков лежали на полях. Их было так много, словно там шел бой…

Начался массовый уход в лес, к партизанам. Снималось с насиженных мест население целых деревень, шли в лес все — старые и малые, угоняли скот. Бежали к партизанам пленные. Были случаи перехода на сторону партизан больших групп румынских солдат и даже добровольцев. Но была у этого явления и оборотная сторона: в ряды партизан проникло немало провокаторов и шпионов.

А в это время наш Володя медленно умирал, видно, совсем уже немного ему осталось жить. Леля привезла его на линейке совсем больным, с постели он не поднимался.

Володя заболел туберкулезом еще задолго до войны. Было время, когда врачи приговорили его к смерти, но я знала, что он не умрет, чувствовала это каким-то внутренним чутьем. И действительно, Володя поправился, каверны зарубцевались и здоровье его настолько окрепло, что он прожил бы еще немало лет. Я любила Володю, как родного брата. Когда началась война, Володя мне сказал: «Война меня убьет». Так и вышло.

Умирающий Володя утешал нас:

— Хорошо, что я так болен… и не могу подняться с постели: гитлеровцы оставят вас со мной, когда будут отступать…

Мы с сестрой его не разубеждали, пусть думает так, но между собой говорили иначе. Если немцы прикажут всем выйти из города, что тогда будем делать? Володя не может встать, а мы его не оставим. Гитлеровцы пристрелят на наших глазах беспомощного Володю, а потом прикончат и нас… Мне вспомнилось, как расправлялись немцы с жителями Керчи, когда наши высадили десант. Папу тоже пристрелят, если погонят вон жителей из Бахчисарая: папа так слаб, что сейчас же отстанет. Конечно, мама погибнет вместе с ним, ведь она не оставит его…

Такие мысли в те дни тревожили не только нас, но и многих других людей.

Счастье освобождения было у порога Крыма. Но удастся ли дождаться его?

Вечером мы собрались у Вячеслава и стали обсуждать создавшееся положение.

Что же нам делать дальше? Ясно, что наша связь с партизанами оборвалась. Теперь уж никому не разрешается выходить за черту города. Жители прилесных деревень уходят в лес, а гитлеровцы жгут эти деревни. Нюся, по всей вероятности, тоже ушла и больше сюда не приедет. Надо думать о том, как нам уйти в лес.

— Мне удалось нащупать партизанского «водителя» — проводника, — сказал Вячеслав, — он обещал прийти за нашими пленными в авторемонтные мастерские и увести к партизанам.

— Почему же я об том ничего не знаю? — удивился Николай. — Что же ты от меня его скрывал?

— Тебя сегодня послали работать в гараж, и как раз в это время пришел водитель. Вот я и докладываю, можешь не обижаться.

— Хорошо, — сказал Николай, — но у меня есть на примете другая нить. Я знаю женщину, через которую мы восстановим связь с подпольной организацией, и эта женщина — Ольга Шевченко. Вот слушайте. Когда я еще находился в тюрьме, меня как-то повели пилить дрова к одной немецкой фрау. У нее во дворе меня увидел Сергей Шевченко — хороший знакомый, бывший преподаватель физкультуры. За пачку сигарет он выпросил у часового разрешение и привел меня к себе. Ольга, его жена, накормила меня, согрела воду и, пока я купался, выстирала и выварила рваные брюки, — единственную мою одежду.

Освободившись из тюрьмы, я изредка к ним заходил. Ольга прекрасная женщина. Вы знаете, она скрывала у себя комиссара Подскребова, которому удалось бежать прямо со двора гестапо.

Теперь слушайте дальше. Накануне того дня, когда Нюся в последний раз приезжала к нам, я был у Ольги. Сергей теперь

работает в Сарабузе, приезжает только по воскресеньям. По-моему, Ольга играет у подпольщиков важную роль, у нее можно узнать все свежие новости с фронта. Я сейчас же отправлюсь к ней, а с водителем ты, Вячеслав, подожди пока.

— Ну что ж, иди, — сказал Вячеслав, — только скорей возвращайся, не томи нас. Эх! Пятки чешутся, так бы и побежал в лес. Там своей братвы много, — мечтательно продолжал Вячеслав, — морячков севастопольских… Автомат в руки — пошел чесать, только перья полетят от гадов. Тянет в лес меня: там своя, советская земля, а здесь молчи, стиснув зубы…

Николай ушел. Мы с Вячеславом никак не могли усидеть спокойно на месте.

Наконец, Николай вернулся.

— Неудача, товарищи, Ольгу я не застал дома, на дверях висит большой замок. Спросил у соседей, говорят: на прошлой неделе уехала в Сарабуз, когда будет, не знают.

Мы расстроились, но Николай сказал:

— Никуда Ольга не денется, через день-два приедет домой.

— Конечно, будем ждать, — сказал Вячеслав, — но если прежде придет водитель, я уйду в лес.

— Смотри, Вячеслав, не забудь и обо мне, — попросила я, — забеги в столовую, я уйду прямо оттуда.

— Будет возможность, обязательно зайду за тобой, даю слово.

— Ну хорошо, утро вечера мудренее, — сказал Николай, — события сами подскажут, как поступить, но мой совет — дождаться Ольги.

Так закончилось наше совещание, а на другой день я узнала от Николая, что Вячеслав с группой пленных, работавших в мастерских, неожиданно ушел. Николая в тот момент не было в мастерских, и он остался. По-видимому, партизанский водитель не мог ждать: в таких делах промедление равносильно смерти.

В этот день, невзирая ни на какие запрещения, приехала мама из Бахчисарая. Ее материнское сердце беспокоилось о нас и о Володе. Володя очень просил маму приехать, он хотел, чтобы мама находилась возле него, когда он будет умирать.

Еще через день, к вечеру, к нам пришла мать Вячеслава и сказала:

— Меня прислал Николай, он получил записку от Вячеслава. И Вячеслав, и его товарищи благополучно добрались до деревни Буры; она возле самого леса. За ними приехали машины с красными флагами и отвезли к партизанам. «Теперь я уже на советской земле», — пишет Вячеслав. Он сообщил маршрут: как вам с Николаем надо идти и куда явиться в деревне Бура. Николай прислал меня, чтобы спросить вас: согласны ли вы идти

с ним? Без вас он уйти не может, ведь вы за него поручились и вас привлекут к ответу.

Согласна ли я? О, боже, конечно! Я только об этом и мечтаю. Ну, а как же с вами будет? Вы же за Вячеслава тоже ручались.

Вячеслав просил меня перебраться к нашим родственникам на окраину города, но я решила остаться дома, — ответила Юзефа Григорьевна. — И знаете, что придумала? На днях со своим гитлеровским офицером уехала жена Вячеслава, забрав с собой детей. Меня уже вызывали в полицию, и я сказала: мой сын Вячеслав Юрковский уехал вместе со своей женой с той немецкой частью, где она работала. Мне как будто поверили, хотя сказали, что наведут справки…

Я подумала и сказала:

— Пожалуй, Юзефа Григорьевна, получилось неплохо, довольно правдоподобно. Гитлеровцы драпают, ищи теперь эту часть и кто там с ней уехал!

— Николай просил вас завтра к шести часам утра быть у нас, — сказала Юзефа Григорьевна.

— Скажите Николаю, что я буду.

На волосок от гибели

Рано утром 5 ноября 1943 года я вскочила с постели в приятном возбуждении: сегодня мы уйдем к партизанам и будем на свободной земле. Вот только одежда у меня не подходящая для леса, неудобная: туфли на высоких каблуках, легкое демисезонное пальто.

Ни мама, ни сестра, ни Володя — никто не пытался даже единым словом остановить меня. Я расцеловалась с ними на прощанье. Маленького Жени не было, бабушка оставила его с дедушкой в Бахчисарае. Прощаясь с Володей, я думала, что прощаюсь с ним навсегда и больше никогда его не увижу. Раньше одна эта мысль привела бы в отчаяние, ну, а теперь сердце мое стало словно каменным, малочувствительным.

В радостном возбуждении пришла к Юрковским. Николай открыл дверь и пытливым взором окинул мое лицо.

— Побольше спокойствия, — сказал он, — смотри не волнуйся, чтобы на лице твоем не было ничего на писано.

Через пять минут, попрощавшись с Юзефой Григорьевной, мы ушли.

— С нами должна пойти еще одна девушка, — предупредил Николай.

— Кто она, ты ее знаешь?

— Нет, видел только раз. Но, говорят, она воевала в

Севастополе и вообще боевая…

Николай привел в Сергеевку, мы зашли в маленький домик. Молодую женщину, хозяйку, звали Клавой, Она предложила сесть, а сама пошла за девушкой, которая должна была с нами идти.

Вскоре в дверях появилась хозяйка, а за ней девушка невысокого роста, плотного сложения, как говорят, крепко сбитая.

Здравствуйте, товарищи, — сказала она отрывисто. Затем сделала два шага и остановилась. — Меня зовут Диной… — она запнулась, и глаза ее широко раскрылись от изумления. Что-то знакомое почудилось мне в этих карих глазах, и я спросила:

— Где мы с вами встречались?

Дина подскочила ко мне и схватила мою протянутую руку.

— Какая встреча, какая встреча, вот уж не думала, вот не ожидала! А вспоминала часто, хотя жизнь столкнула нас случайно и мгновенно. Ну?

— Неясные обрывки воспоминаний мелькнули перед моими глазами, что-то связанное с Севастополем…

— Да вспомните же ваш жакет, ваш черный жакет! В пещере на 35-й батарее вы бросили его в сторону, а я спросила: «Можно его надеть?» Вы сказали: «Можно».

— Да неужели это вы?! — воскликнула я.

— Ну, конечно я. Но вы тогда не знали моего имени.

— Вот и хорошо, — сказал Николай, — значит, нашего полку прибыло, собираются севастопольцы. Вячеслав в лес ушел с пленными моряками, знаете? Да, все моряки: электрики, мотористы, минеры. Морской порядок!

— Расскажите, Дина, как вам удалось вырваться из пещеры? — попросила я.

— Помните, собирались бежать на прорыв? Я была в морской форме и думала: вот бы достать гражданское платье! В форме не скроешься! Я скинула форменку, и к моей черной юбке ваш черный жакет отлично подошел. Немножко узковат, но ничего… Не знаю, как другим, а мне удалось прорваться. Но что было!.. Даже всего не помню. Я падала, вскакивала, бежала, ползла. Темно, ничего не разберешь, вокруг пули жужжат и цокают о камни, потом вдруг осветительные ракеты — ну, думаю, все. Однако выбралась из-под обрыва, ползла дальше…. потом свалилась в какой-то окоп, забилась в уголок и решила: «Пережду, пока не прекратится стрельба…» И заснула, будто провалилась сквозь землю. Сами знаете, сколько ночей не спали, Только слышу, кто-то что-то говорит… Открываю глаза — и о ужас! Белый день, а над окопом стоят немцы с автоматами, смотрят на меня. Признаюсь, я очень испугалась, а потом думаю: как бы от

них удрать. Один из них, спрыгнул в окоп. Я вскочила, оглянулась — саперная лопатка ну — думаю — хоть не убью, а трахну его по башке, даром жизнь свою не отдам. Схватила лопатку и замахнулась, а немец меня поймал за руку, да так сжал, чуть кость не сломал. Ну, тут я совсем осатанела и другой рукой стала царапать ему лицо. Били меня и этой же лопаткой, и кулаками, а потом повели в лагерь. Через две недели отпустили как гражданскую — ваш жакет помог. Так я и отвоевалась тогда.

— Вы севастопольская? — спросила я Дину.

— Нет, одесситка. Я во флот попала очень просто: когда наши части уходили из Одессы, сбежала из дому и пристала к саперам из морской пехоты. Воевала с ними всю оборону Севастополя. Я сапер, — с гордостью сказала она.

В это время вошла Клава, которая куда-то уходила, и обратилась к Николаю:

— Тут еще четверо пленных собираются в лес, они хотят идти с вами.

— Хорошо, — согласился Николай, — но только пускай сейчас выходят и подождут нас в поле, а мы выйдем через пять минут. Хватит разговаривать! — поторопил нас Николай. — Надо отправляться в путь!

Благополучно миновав последние дома симферопольской окраины, мы вышли в поле и в небольшой ложбине увидели четырех пленных. Здесь произошло короткое пятиминутное совещание. Николай рассказал, как идти к деревне Ивановке.

— Но, — сказал он, — нельзя идти толпой, надо разделиться на две партии. Впереди пойдем я, Женя и вы, — он указал на двух мужчин, стоявших рядом. — А вы, — обратился он к другой паре мужчин, — пойдете с Диной сзади. Тронетесь в путь минут через двадцать после нашего ухода, не раньше.

Пошли полем, без дороги, преодолевая холмы и овраги. Резкий норд-ост дул навстречу, погода неприятная, без дождя и снега, но очень холодная. По небу неслись облака, сквозь которые прорывались какие-то неприветливые и негреющие солнечные лучи. Мы шли быстро.

В глубоком овраге немного посидели, отдохнули и перекусили, потом пошли дальше. До нашего слуха стали доноситься частые автоматные очереди: что бы это могло значить? Но, окрыленные удачным выходом из города и благополучно пройденной частью пути, мы решили: это, видимо, партизаны упражняются в стрельбе. Николай высказал такое предположение, и мы все успокоились, будто и впрямь уже были на свободной советской земле.

Я старалась идти большими шагами, не обращая внимания на

кочки и камни, перепрыгивала через ручейки и канавы, не задерживалась, опасаясь, что мои спутники скажут: вот, мол, связались с женщиной, приходится замедлять шаг. Ох, эти высокие каблуки! Я порядочно устала, ноги мои болели.

Николай предложил, на всякий случай, снова разделиться на две группы и идти на расстоянии приблизительно полукилометра друг от друга. Я с одним пленным пошла впереди, Николай и другой пленный — позади.

Поднявшись на холм, мы увидели слева деревню Ивановку, а напротив, на склоне горы у опушки леса — деревню Буру. Плохие вышли из нас разведчики: мы смотрели вдаль, туда, где темнел лес, и, забыв осторожность, не обращали внимания на то, что находилось вблизи.

Мы спустились с холма, намереваясь пересечь дорогу, ведущую к Ивановке. Но тут поднялась пальба из автоматов. Мы обомлели… Перед нами шагах в ста рассыпались по полю румынские солдаты, форма которых сливалась по цвету с осенней увядшей травой. Мы резко повернули налево и пошли по дороге к Ивановке. Нас начали обстреливать, пули свистели вокруг, румыны кричали, махали руками, требуя, чтобы мы к ним подошли. Три раза мы приостанавливались, когда пули свистели возле самых ушей, но спустя мгновенье снова продолжали идти ровным, размеренным шагом, глядя вперед, в одну точку. Это стоило огромного напряжения сил. Но инстинкт подсказывал: проявление слабости приведет к гибели.

Мы не сказали друг другу ни слова, но оба думали одно и то же: пусть лучше убьют здесь на дороге, чем расстреляют или замучают в гестапо. Я отлично знала, что если попадусь на пути в компании с пленными, то мне придется разделить с ними их судьбу. К тому же пленный, с которым я шла, вообще не имел никаких документов, а человек без документов считался партизаном. Я гипнотизировала взглядом ближайший сарай: скорей бы достигнуть его и скрыться с глаз румын! Вдруг мой товарищ с ужасом в голосе произнес:

— Деревня пустая!

И я увидела ясно: деревня мертвая! Нигде ни одного человека, не вьется ни один дымок. Что нас ждет, может быть, там засада? Наконец, достигли спасительного сарая и скрылись за домами. Обстрел утих.

Румынские солдаты потратили много пуль, но ни одна не попала в нас, и это, конечно, не случайность. Просто почему-то пожалели. Немцы, на месте румын, не стали бы тратить лишних пуль. Гитлеровцы и жалость — понятия несовместимые.

Мы не чувствовали себя спасшимися и шли по пустынной

деревне, как по минному полю, с ужасом думая: вот сейчас спустятся с горки наши товарищи и попадут в западню, что же будет с ними?

Вдруг возле единственной хаты, из трубы которой вился тоненький дымок, мы увидели женщину. Я подошла к ней. Женщина встретила меня враждебно и зло спросила:

— Что вы здесь делаете, как вы сюда попали? Тут расположились румынские и немецкие войска, а жители ушли в лес к партизанам. Что за мужчина с вами?

Я все поняла: она не ушла со всеми жителями в лес, значит, враг. Да и тон и злобный взгляд говорили достаточно ясно. Сделав наивно-испуганное лицо, я стала объяснять: мужчина — мой сосед, мы шли в деревню Ивановку к знакомым за картошкой и очень удивлены, совершенно не понимаем, почему здесь такое творится, куда подевались жители? А сама думала лишь о том, как бы скорее уйти отсюда, пока женщина никого не позвала. Я быстро вернулась к своему спутнику и на ходу рассказала, в чем дело. Вдруг со стороны оврага появились наши товарищи. Лица их были напряжены и серьезны. Поравнявшись с нами, Николай сказал:

— Измените направление: там немцы, они обязательно убьют. Мы думали, что вы погорели. Нам едва удалось скрыться от фрицев, они шли наперерез.

Все это Николай произнес на ходу, не останавливаясь, и вдруг я заметила: мы снова идем в деревню. — Куда вы, там румыны! — вскрикнула я. Николай сейчас же резко повернул в гору. Пока шли по ровному, я еще выносила такой ускоренный шаг, но теперь стала задыхаться и отставать. Молча обернулся Николай и посмотрел на меня серьезным взглядом, потом обернулся его товарищ и тоже посмотрел. Напрягая все силы, я старалась их догнать. Но вдруг Николай раздумал лезть в гору и пошел влево по направлению к Симферополю, по проселочной дороге, пересекавшей нам путь.

Оказывается, что, поднявшись на возвышенность и оглянувшись, Николай увидел приближающуюся цепь немецких солдат. На верхушке холма мы представили бы для них великолепную мишень.

Николай снова обернулся и бросил мне: — Скорей, не отставай!

Но я их уже догнала. Никто из нас не знал, куда идти, положение было критическое. Мой спутник, с которым я раньше шла в первой паре, вдруг потерял самообладание, побежал в сторону от дороги, к стогам сена и заметался между ними, как мышь, пойманная в мышеловку. Мы почти бежали. Только

свернули в поле, думая выйти на прежний путь, как внезапно вылетел из-за горки грузовик, полный румынских солдат. Машина немедленно остановилась, и все автоматы нацелились в нас. Из кабины вышел офицер и знаком приказал нам подойти. Делать нечего. Я глянула уголком глаза на Николая: он заулыбался и миролюбиво махнул рукой, чтобы опустили автоматы — мы, мол, люди мирные и эта угроза ни к чему. На лице его ни тени волнения, он бодрым шагом пошел к машине. Мы также последовали его примеру и, придав, своим лицам выражение безмятежного спокойствия, пошли вслед за Николаем. Но, боже, как не хотелось идти! Каждый из двадцати шагов, отделявших нас от машины, казался шагом к смерти. Расстреляют на месте или, что еще хуже, отвезут в гестапо…

Сейчас потребуют документы. А пленные не имеют права выходить за черту города, они должны быть на работе. Если очутились здесь — значит, шли в лес…

Товарищ без документов, который метался между стоми, а потом плелся позади нас, при виде машины бросился в придорожную канаву и, скрытый тенью деревьев, остался не замеченным румынами.

— Документы! — резко произнес офицер, когда мы подошли к машине.

Мы достали документы и подали офицеру. Я посмотрела на машину: солдаты с нескрываемым любопытством рассматривали нас. Я им улыбнулась и, зная, что многие румыны говорят по-русски, сказала наивным тоном:

— Мы шли в деревню за картошкой.

— В лес шли, — произнес кто-то, и все дружно засмеялись.

Но я сделала вид, будто ничего не слышала, и продолжала болтать с солдатами, незаметно поглядывая на офицера. Тот с серьезным видом крутил в руках наши документы, и я поняла, что он ничего в них не смыслит, так как не знает языков. Ведь половина текста написана по-немецки, другая по-русски. Во всяком случае на бумажках были немецкие печати, и это ввело офицера в заблуждение. Два полицейских, сопровождавших машину, молча стояли в стороне возле своих велосипедов.

Вдруг за Ивановкой затрещали автоматы. Офицер всполошился.

— Там сильная бой?… — спросил он нас ломаным русским языком.

— Да, да, ужасный бой, — стали мы его уверять, сделав испуганные лица. Офицер отдал нам документы, влез в кабину грузовика и махнул рукой.

К Николаю подошел полицейский и сказал:

— Только попробуйте не идти дорогой! Все равно догоним и застрелим, мы сейчас же вернемся обратно.

Машина тронулась и покатила к деревне, вслед за ней — оба полицейских на своих велосипедах.

— Подумай, Николай, — сказала я, — если бы им вздумалось развязать наши узелки с зубными щетками, кусками мыла, полотенцами и бельем. Вот так шли менять вещи!

Пленный, перележавший опасный момент в канаве, теперь присоединился к нам.

По всем законам оккупантов, нас должны были пристрелить на месте. С тех пор, как наши войска подошли к Перекопу, гитлеровский приказ гласил: смерть каждому, кто без пропуска переступит черту города. Много трупов людей, убитых карателями, валялось по полям и дорогам. Наше спасенье было редким счастливым случаем.

Обратно в Симферополь шли, не останавливаясь. Волдыри на ногах лопнули и мучили меня острой болью; несмотря на холодный ветер, нам было жарко, терзала жажда. Но все же мы благополучно вырвались из кольца немецких и румынских войск, которые с этого дня начали наступление на лес и бои с партизанами. Ведь нас вел Николай Стороженко, бывший артиллерист и разведчик. Не то, что я со своим напарником: ловили ворон в небе и не видели солдат перед самым носом. Но все же спасибо этим румынским солдатам, пули которых в ста шагах не попали в цель!

Мы пришли в Симферополь еще до наступления сумерек. На окраине расстались с пленными и пошли по городу вдвоем с Николаем, в который раз удивляясь счастливому случаю, подарившему нам жизнь. Тревожила мысль о судьбе второй группы. Что же с нею?

Судьба второй группы

Судьба второй группы, которую составляли Дина и два пленных морских пехотинца — Саша и Антон, оказалась трагичной.

Просидев примерно полчаса в яме, где добывали глину для колыба,[2] и перекусив, они двинулись в путь. Пройдя километров пять, заметили вдали слева колонну немецких солдат. Это заставило группу свернуть в сторону, пройти оврагом километра два, затем снова выйти в поле. Однако особых причин для беспокойства как будто не было: мало ли зачем шагают немцы, они далеко, а вокруг безлюдно и тихо. Шли и говорили о Севастополе: кто в какой части воевал и как попал в плен.

И тут внезапно появились пять немецких автоматчиков. «Хальт!» — донеслось до слуха.

Дина и моряки бросились бежать к оврагу, заросшему мелким кустарником. Вслед им затрещали автоматные очереди. «Хальт! Хальт!» — орали гитлеровцы.

Друзья мчались быстро, делали скачки в стороны, но пуля настигла Антона: он упал, как подкошенный. Дина услышала топот и громкое дыхание: один автоматчик, вырвавшись вперед, догонял их. Саша внезапно остановился, крикнул Дине: «Беги!» — и бросился на гитлеровца. Автоматчик этого не ожидал и, не успев остановиться, попал с разбегу в объятия Саши. Они стали драться. Саша пытался вырвать у немца автомат. Остальные автоматчики было отстали, но теперь прекратили стрельбу, спешили на помощь первому.

Дина снова услышала приглушенный голос Саши: «Беги!» — и побежала с кручи, почти ничего не соображая. Споткнулась о какую-то корягу, рухнула на землю и кубарем покатилась в кусты. Вскочила и побежала дальше. Ее пальто зацепилось за толстый сук, Дина упала на бок, вскочила на ноги, изо всей силы рванулась вперед — пальто затрещало, и на сучке остался кусок материи. Не разбирая дороги, Дина с остервенением пробивалась сквозь кусты. Ветки хлестали ее по лицу, по телу. Дина рвалась напролом, и, когда какой-то большой куст оказался непреодолимым, она не подумала его обойти, а бросилась прямо на куст и застряла в нем. Ветки сомкнулись: голова оказалась у самой земли, а ноги торчали наверху. С большим трудом Дине удалось вывернуться и подтянуть ноги. Куст был высок, его окружали заросли сухого бурьяна. Дина прислушалась: в течение нескольких минут царила тишина. Затем где-то далеко вверху послышались крикливые голоса. «Немцы», — подумала Дина и замерла. Неужели убили и Сашу? Она услышала топот и треск веток, будто дикий кабан продирался сквозь чащу… Потом затрещали автоматные очереди.

Дина свернулась клубочком, затаила дыхание.

Шум все ближе и ближе… Что-то ударилось о ветку, в ушах зазвенело. «Пуля», подсказало сознание. Едва дыша, Дина ждала…

Шли долгие, тяжелые, как свинец, минуты. Дина продолжала лежать, прислушиваясь к звукам, проносившимся по оврагу. Выл ветер, шуршали ветки, потом закаркала ворона, и больше не было слышно ничего. Теперь Дина почувствовала, как болят онемевшие ноги и руки, захотелось их вытянуть и размять. Она приподнялась, прислушалась. Встала и осторожно раздвинула ветки, но ничего не увидела, кроме густых зарослей сухого

бурьяна. Стараясь производить как можно меньше шума, выбралась из Куста и увидела, что находится на самом дне крутого оврага.

Неужели и Саша погиб?

Отчаяние охватило душу. Дина оглянулась вокруг: местность незнакомая, куда идти? Занятая разговором со спутниками, она никакого внимания не обращала на путь, по которому шли, и теперь потеряла ориентировку. Дина вскарабкалась наверх и осторожно выглянула. Нигде никого, местность пустынная. Встала и пошла к тому месту, где Саша боролся с автоматчиком.

Увидев лежащего Антона, подбежала к нему, опустилась на колени, приподняла и повернула к себе голову моряка, посмотрела в остекленевшие глаза и осторожно положила обратно на траву. Да, Антон мертв. И вдруг в нескольких шагах она заметила лужу крови. Дина остановилась, как вкопанная, и застонала. Первой мыслью было, что Саша убит и это его кровь. Но где же тогда его труп?

Дина медленно подошла к луже и внезапно увидела у самого края ее большой перочинный нож — нож Саши. Тот самый, которым сегодня утром резали хлеб. Дина подняла нож — на нем запеклась кровь….

Наверху было опасно долго оставаться. Дина спустилась вниз, в овраг.

«Если Саша убил автоматчика, — подумала она, — то, может быть, ему удалось скрыться в этом овраге. Но вряд ли, ведь остальные солдаты подбегали к Саше, когда он боролся… А вдруг он попал к ним в лапы живым? Лучше бы сразу убили!»

Дина осторожно осмотрела весь овраг, но никого не обнаружила.

Только сейчас она почувствовала, как болит и ноет тело, исхлестанное кустами и избитое камнями, по которым она катилась в овраг. Но все это пустяки в сравнении с потерей друзей.

Что же делать? Надо пробираться обратно в город.

Двигаясь по оврагу, Дина подошла уже почти к самому его концу: вдали виднелось черное вспаханное поле. Вдруг до слуха донеслось легкое потрескиванье сучьев. Дина остановилась и прислушалась: кто-то пробирался навстречу сквозь заросли. Неужели опять немцы? Она посмотрела вокруг, ища спасительного куста, но здесь кустарник был ниже и реже, вот меж голых сучьев мелькнула зеленоватая шинель. Дина метнулась вправо, потом влево, хотела повернуть обратно и побежать, но поздно — немецкие солдаты окружили ее.

«Хальт!» — крикнул лейтенант, держа пистолет наготове. Он

яростно что-то кричал, наступая на нее. Дина попятилась, но солдат ударил ее прикладом в спину. Она переводила взгляд с одного лица на другое. Все фашисты были молоды, некоторые даже красивы, но холодная, бездушная жестокость искажала их лица. Из всего потока ругательств немецких и русских она ясно поняла три слова: «партизан», «бандит» и «дегенерат». Ее почему-то особенно поразило слово «дегенерат». Дина стояла молча, оглушенная и растерянная. Но гитлеровцы не дали ей долго размышлять: снова ощутительный толчок в спину прикладом, грубый окрик — и Дина пошла в ту сторону, откуда они так недавно бежали, спасаясь. Здесь она увидела труп немца, который выволокли из кустов. Один из гитлеровцев взвалил его себе на спину.

«Так, значит, Саша его убил, — подумала Дина, — но где же он сам, что с ним?»

Всю дорогу немцы подгоняли Дину прикладами и ругали, не раз повторяя слова «партизан» и «дегенерат». Она едва плелась, смертельно усталая от всех переживаний того дня, и понимала, что погибла.

Но вот и деревня. Во дворе одного из домов Дина увидела женщину с чугунком в руках, над которым вился легкий пар. Женщина остановилась на крыльце и крикнула:

— Что, партизанку поймали?

Немцы ей что-то ответили по-своему и еще раз толкнули Дину прикладом. Вдруг ее охватила злость.

— Тварь! — бросила она женщине с чугунком. — Продажная тварь!

Немцы не поняли, но заорали, приказывая молчать. Они пошли по деревне, и Дина заметила, что на улицах не видно жителей, одни лишь вражеские солдаты. У небольшого каменного дома остановились. По ступеням крыльца быстро спускался немецкий полковник, который, увидев Дину, спросил о чем-то лейтенанта, и она опять услышала слово «партизан». Полковник окинул ее взглядом с ног до головы и пошел по улице. Лейтенант вошел в дом, оставив Дину и солдат у крыльца.

Противный страх, как яд, стал заползать в душу. Дина подумала: «А что, если пытки? Выдержу ли я? Только бы выдержать, только бы выдержать, не наплевать самой себе в душу перед смертью!»

В это время вышел лейтенант и отдал какое-то распоряжение солдатам. Дина внутренне напряглась. Солдаты подтолкнули Дину и повели ее дальше. Навстречу из-за угла выехал грузовик, посреди кузова в окружении немецких автоматчиков сидели три человека в изорванной штатской одежде, со связанными руками.

Грузовик проехал быстро. Дина узнала Сашу. Его лицо посинело, опухло, на подбородке запеклась кровь, один глаз был закрыт. На Дину сочувственно глянул другой, голубой и чистый, как горное озеро. Только по этому глазу да по завитку светлых волос, упавших на лоб, можно было узнать Сашу. Не оставалось сомнений: схваченных везли в симферопольское гестапо.

«Лучше бы Сашу убили на месте, — снова подумала Дина, внутренне содрогаясь. — Антон счастливее…»

Молча прошли через всю деревню и остановились возле сарая, у дверей которого стоял часовой.

После коротких переговоров часовой достал из кармана ключ, снял большущий замок, приоткрыл двери и втолкнул Дину в сарай. Она споткнулась обо что-то мягкое и чуть не упала. Дверь захлопнулась, замок щелкнул. Ничего не видя в темноте, Дина остановилась, Мужской голос произнес:

— Это кто?

Она молчала.

— Кто ты? — снова раздался тот же тихий голос.

— Женщина, — ответила Дина.

— Я и так вижу — женщина, а не мужчина. Откуда ты, из какой деревни?

— А это что за деревня? — спросила Дина.

— Ивановка.

Ивановка? «Так вот, значит, как мы сюда попали», — подумала Дина. — Я шла за продуктами, — сказала она, — хотела обменять на вещи, а меня почему-то схватили как партизанку.

— Эх, милая моя, — услышала она старушечий голос, — дело твое, как и наше, — дрянь. — И старуха закашлялась.

Глаза Дины стали привыкать к темноте, тем более, что она не была полной, как показалось вначале: в тонкие щели сарая проникал слабый, рассеянный свет. Дина увидела много людей, человек пятнадцать, двадцать, а может быть, и двадцать пять: одни из них сидели, другие лежали на полу.

— Чего стоишь, успеешь еще настояться перед дулом винтовки, садись-ка лучше сюда, рядом с нами, небось, устала? — сказал, подвигаясь, мужчина.

«Сколько тепла и ласки в голосе этого человека!» — подумала Дина и села между ним и женщиной. Вдруг пискнул ребенок.

— Ребеночек? — удивилась Дина.

— Здесь все возрасты налицо, — сказал ее сосед, — от младенцев до стариков. Партизанское семя вырывают с корнем.

— А вы за что сюда попали? — спросила Дина.

— Ушли всей деревней в лес. Да нас, последних, немец

перехватил, не успели далеко уйти.

Чувствуя смертельную усталость, Дина легла на земляной пол сарая. Воцарилось молчание. И ей и всем остальным, видно, не хотелось говорить, каждый думал свою тяжелую думу, каждый понимал: часы его жизни сочтены. Тишину нарушал чей-то резкий, простудный кашель, иногда начинал плакать ребенок, мать покачивала его, тихо и нежно утешала. Где-то в углу будто шелестели листья: то монотонно шептала молитвы старуха.

Дина отдалась своим мыслям. Она вспоминала Одессу, отца и мать, школьных подруг… потом Севастополь, своих саперов и молодого политрука. Андрей был ранен незадолго до оставления Севастополя и эвакуирован на Кавказ. И ей стало больно и страшно от мысли, что ее Андрей так никогда и не узнает, где она погибла, с честью ли умерла или в предсмертном страхе ползала у вражеских ног.

«Нет, я не стану ползать, — мысленно поклялась Дина Андрею, — не буду! Может быть, дрогну, — не знаю. Но только бы выдержать! До последней минуты я с тобой, Андрей, и ты поможешь мне…»

На дворе, видно, уже стемнело, так как в щели сарая больше не проникал дневной свет. Послышался топот солдатских сапог. Все встрепенулись и насторожились. Ближе… Ближе… Остановились у дверей.

— Немцы! — сказал кто-то. — За нами пришли.

И эта короткая фраза кинжалом ударила в самое сердце. «За всеми или за кем-нибудь? Может быть, за мной? — подумала Дина. — Начнут издеваться и пытать».. Сердце учащенно забилось, нервная дрожь прошла по телу, стало страшно.

Гитлеровцы громко переговаривались между собой. Слышно было, как часовой вкладывал ключ в замок, потом дверь широко распахнулась. Яркий свет фонарей ударил в глаза. Двое автоматчиков вошли в сарай и начали всех выгонять, подталкивая людей прикладами.

Закричал разбуженный ребенок, заплакала женщина.

— Что это, царица небесная! — испуганно всхлипнула старуха.

Немцы свирепо заорали, работая прикладами и наступая на людей, которые топтались у двери, не решаясь выходить.

— Проклятые бандиты, — процедил сквозь зубы сосед Дины и шагнул к двери; автоматчик сбоку ударил его прикладом.

Дина пошла вместе со всеми. Их конвоировали восемь автоматчиков.

Направились куда-то в сторону от деревни, в поле. Ночь была холодная, но ветер стих и прояснилось. Ярко мерцали звезды на

темном высоком небе, луна еще не взошла.

«Звездочка, передай привет моему Андрею», — Дина стиснула зубы от душевной боли. Противная слабость подкосила ноги. Дина споткнулась, но тут же выпрямилась: «Выше голову! Ты умираешь за Родину, так умри же с честью, не позорь себя, не позорь своего Андрея. Ты родилась и выросла у моря, воевала вместе с моряками, так умри же, как умирают моряки!»

Дина не помнила, сколько времени шли, наверное, не очень долго. Спустились в какую-то балку. Внезапно перед ногами оказался ров. «Хальт!» — закричали немцы, но все и так остановились: ров преграждал путь, и сразу стало понятно, что именно сюда их вели.

Все сбились в кучу, инстинктивно прижимаясь друг к другу. Гитлеровцы закричали и начали разгонять людей, заставляя стать в шеренгу, лицом ко рву. Дина крепко сжала зубы, казалось, ее кровь уже заледенела. Вытянувшись и неподвижно застыв, ждала залпа.

В это время взвыла каким-то страшным, волчьим голосом старуха. Испуганный ребенок захлебнулся в плаче. Дина в смятении обернулась и увидела, как тощий крестьянин с острой бородкой заплакал бабьим голосом, бросился на колени и стал умолять фашистов пощадить ему жизнь:

— Я не партизан, в лес шел за дровами, не убивайте, не убивайте!

Взбешенный гитлеровский офицер выхватил револьвер и застрелил его. Страшный женский крик потряс воздух, кто-то побежал в сторону, раздалось несколько беспорядочных выстрелов. Безумная мысль мгновенно прорезала мозг Дины: попытаться спастись. И не успела она промелькнуть, как Дина упала в ров. Падая, будто сквозь сон, слышала выстрелы, и тотчас же кто-то тяжелый грохнулся на нее и придавил. Она потеряла сознание.

Дина приоткрыла глаза и увидела небо. Яркая, полная луна светила прямо в лицо. Дине было душно, она хотела повернуться, и от движения что-то скатилось с ее ноги. Девушка широко открыла глаза: на ее груди лежала чья-то голова. Дина вскрикнула и толкнула ее рукой: голова закачалась, но осталась на месте. В страхе Дина обхватила ее обеими руками и приподняла — на нее глянули мертвые, остекленевшие глаза. Дико вскрикнув, она, как безумная, начала бороться с трупом, пытаясь сбросить его с себя. Холодные руки мертвеца, казалось, цеплялись за нее и не пускали. Наконец, Дина сбросила с себя труп, встала на ноги. Она стояла во рву среди трупов, и почему-то

особенно страшней ей показалась запрокинутая голова с редкой острой бородкой, торчащей кверху. Ров был неглубок. Дина стала карабкаться наверх с быстротой и силой, которой в себе не подозревала.

Прочь от этого страшного места, скорей! Выбравшись наверх, с широко открытыми глазами Дина побежала вдоль оврага, спотыкаясь о кочки и камни. Она не знала, куда бежит, лишь бы выбраться из оврага, который казался ей адом. Дина понимала, что шансов на спасение слишком мало. Вернуться отсюда в Симферополь, не зная точно дороги, очень трудно. «Разве хватит у меня сил благополучно пройти через весь этот ночной кошмар? — думала она. — Только чудо может спасти…»

Но вот, наконец, и поле, залитое ровным голубым светом луны. Вокруг тихо и совершенно пустынно. Дина брела наугад, страх подгонял, а инстинкт направлял в сторону Симферополя. Каждый шорох пугал, заставляя отскакивать в сторону и озираться. Часто ей казалось, что кто-то идет, тогда она стремительно падала на землю.

Когда небо над горами начало светлеть, Дина неожиданно увидела перед собой домики симферопольской окраины. Но это еще не было спасением. В такой час войти в город не менее опасно, чем среди бела дня пробираться по полю, где рассыпаны фашистские войска. Первый же патруль может схватить.

«Спрятаться где-нибудь и дождаться дня», — подумала Дина сначала, но тут же вспомнила о своем ужасном виде, который привлечет взгляды каждого. Платка на голове нет, волосы растрепаны и всклокочены, одежда залита чужой кровью.

«Будь что будет, — решила она, — пойду к тому маленькому домику, откуда мы все уходили, ведь он должен быть близко». Дина пошла, держась в тени заборов и домов. Вдруг она услышала стук солдатских сапог. Думать и рассуждать не было времени. Дина с силой толкнула ворота какого-то двора — закрыты, но высокий забор полуразрушен. Девушка с ловкостью кошки вскарабкалась на забор и прыгнула вниз. Во дворе рванулась на цепи собака и залилась лаем. Дина подбежала к мусорному ящику, открыла крышку — полон доверху. Услышала, как загремел запор в дверях домика: кто-то их открывал. «Пан или пропал», — решила Дина и бросилась на крыльцо, но дверь не открылась.

— Кто там? — услышала Дина встревоженный голос, и через секунду за стеклом окна рядом с дверью появилось и сейчас же пропало испуганное женское лицо. Дина прильнула к окну и прошептала:

— Не бойтесь, откройте, умоляю, спасите меня, спасите!

Женщина, казалось, оцепенела от страха и не двигалась, потом вдруг исчезла. Отчаяние охватило Дину и она подумала: неужели мой вид так ее напугал, что она побоится меня впустить? А может быть, позовет патруль, продаст меня?

Но в это время загремела цепочка, щелкнула задвижка, дверь открылась: в глубине стояла женщина в белой ночной рубашке и шепотом звала: «Входите скорей!»

Дину охватило тепло нагретого воздуха. В изнеможении она упала на стул. Женщина закрыла дверь, ставни и зажгла лампу.

Дина рассказала ей все, как было, и заключила словами:

— Спасти меня вам нетрудно, но и предать легко.

— Предать! — возмутилась женщина. — Пусть будут прокляты те, кто предает! — Помолчав, она добавила: — Мой семнадцатилетний сын ушел добровольно в армию в первые дни войны…

Потом она начала растапливать погасшую печь.

Все это мне Дина рассказала при встрече. Вскоре она все же ушла к партизанам и, как я узнала впоследствии, неплохо воевала. Но месяца через два, во время одного из прочесов леса, была ранена в плечо и отправлена самолетом на «Большую землю».

Две смерти в один день

Через несколько дней снова приехала мама. Ее мучила мысль об умирающем Володе и тревожила моя судьба. Прошло три дня. 10 ноября около восьми часов утра Володя умер.

Бедняга последние две недели страшно мучился. Соседка-врач каждый день делала ему уколы камфары и морфия. Он умер тихо, как будто уснул. До войны смерть его была бы потрясающим горем, а сейчас? Сейчас мы все отупели от бесконечных ударов, несчастий и не могли остро реагировать. Я запрещала себе плакать. Нужно много сил, чтобы выдержать эту жизнь.

Наше горе — общее горе, в стране гибнут миллионы.

Мы знали, что наши стоят на Перекопе, но, может быть, ждут весны? А гитлеровцы стали еще свирепей, и до последнего дня предстоит борьба, которая унесет, наверное, немало жизней.

На другой день, когда гроб с Володей стоял в комнате и мы ждали линейку, чтобы отвезти его на кладбище, открылась дверь и вошел маленький Женя. Мы были поражены: ведь он оставался с папой в Бахчисарае… Мама вскрикнула:

— Что случилось, Женечка? Почему ты приехал?

— Дедушке очень плохо, он заболел. — Женя стоял бледный и растерянный.

— Что с дедушкой?

Но Женя ничего не мог толком объяснить и только твердил: дедушке плохо. Мама растерялась, не зная, что делать. В это время Женя вышел из комнаты, а минут через пять дверь приоткрылась и сестра знаком поманила меня.

Она повела меня в сарай во дворе, где работал плотник, заканчивая крышку гроба.

— Папа не болен, а умер, — сказала она.

Ну, жизнь, если уж начала бить, то бей без передышки! Две скупые слезы выкатились из моих глаз. Но снова прошептал суровый голос: не плачь, может быть, он вовремя умер, избавился от еще более страшной жизни и смерти.

Папа умер ночью с 10 на 11 ноября от паралича сердца. Таким образом, сбылось одно его желание, которое он не раз высказывал: умереть внезапно, без мучений.

— Пока не будем говорить маме, — сказала сестра.

Но что делать! Еще не успели похоронить одного, как надо хоронить другого.

Вернувшись в комнату, застали маму в большом смятении.

— Что делать? — обратилась она к нам. — Ехать сейчас? Но

как же с Володей? Он так хотел, чтобы я его похоронила. И поздно, я не успею до темноты добраться в Бахчисарай.

— Оставайся, — уговаривали ее мы с сестрой, — нет смысла сейчас идти, все равно в Альме придется ночевать. Похороним Володю, а завтра рано утром отправимся в дорогу все вместе.

Так и решили. Но мама все не могла успокоиться и допытывалась у Жени: как он сюда приехал, кто его посадил на машину, что говорил папа и где у него болело?

За гробом Володи, кроме нас и двух его знакомых, никто не шел: здесь мы были чужими и новыми людьми.

На следующее утро с рассветом мы собрались в путь. Отправляясь к нам, мама захватила разное старье, думая сшить Жене зимнее пальто, и теперь складывала, чтобы забрать обратно. Сестра стала ее уговаривать:

— Оставь здесь, ведь ты еще вернешься. Но мама не соглашалась:

— Неизвестно, когда я опять сюда приеду.

— Ты скоро приедешь, папе очень плохо, мало ли что может случиться.

Сестра всячески намекала на возможную папину смерть, а я молча стояла в стороне и видела: мама далека от этой мысли. Обычно ее трудно обмануть, но сейчас она ничего плохого не подозревала. И вот, когда мама с узелками в руках уже собралась выходить из дверей, сестра остановила ее:.

— Мама, крепись, папа умер. Тебе незачем тащить все это, вы с Женей вернетесь с нами и будете жить здесь…

Узелки выпали из маминых рук, ошеломленная и растерянная, она остановилась у дверей.

— Успокойся, все сейчас теряют близких.

Этот аргумент был силен. Мама не упала в обморок, не забилась в истерике, а как-то покорно примирилась с судьбой. Я подумала: настанет время, когда мы ясно поймем и почувствуем всю тяжесть наших потерь.

При выходе из Симферополя наткнулись на гитлеровскую заставу. Огромный, рыжий жандарм с бляхами на груди преградил дорогу.

— Вэг!

Мама стала просить, умолять его пропустить нас, говоря, что в Бахчисарае умер ее муж и мы спешим его хоронить, но жандарм оставался неумолим. Спокойно прохаживаясь взад и вперед, он резко и настойчиво повторял: «Вэг Симферополь!», протягивая руку по направлению к городу.

Мама чуть не заплакала и со слезами отчаяния в голосе обратилась к пленному, мостившему дорогу.

— Объясните ему, что мы идем хоронить, что умер муж и отец: он, наверное, не понимает.

Рыжий жандарм приостановился и захохотал.

— Я все понимаю, я прекрасно говорю по-русски, — произнес он на чистом русском языке. — Вэг Симферополь! — И снова повелительным жестом протянул руку по направлению к городу.

— Не пререкайтесь с ним, — тихо сказал пленный, а то он вас отправит в гестапо.

Делать было нечего. Противоречить гитлеровцам опасно, мы это прекрасно знали. Пришлось повернуть назад. Отошли шагов на пятьдесят и остановились, не зная, что делать. Дикая злоба душила меня, я так и вцепилась бы в горло этому рыжему!

Тот же пленный прошел мимо нас и тихо сказал:

— Перейдите через речку и обойдите заставу.

Мы последовали его совету и, благополучно миновав заставу, вышли на дорогу.

Дул резкий, холодный ветер, было сыро и пасмурно. Низкие мрачные тучи нависли над землей. Не успели пройти и трех километров, как начался проливной дождь. Потоки воды обрушились на землю. Мы продолжали идти, по щиколотку утопая в жидкой, холодной грязи, так как разбитые войной дороги не чинились. Обувь у всех была рваная, ноги моментально промокли. Дождь и ветер хлестали нас. Скоро промокла и вся одежда, по ногам скатывались струи воды. Мы закоченели. Проходя мимо деревни Чистенькой, в семи километрах от Симферополя, решили попроситься к кому-нибудь переждать дождь и постучались в ближайшую хату. На пороге появилась девчонка лет шестнадцати. Она сказала, холодно и презрительно оглядев нас:

— Здесь живут немцы, в хату нельзя, — и захлопнула дверь.

— Сволочь такая! Идем к черту отсюда, лучше будем мокнуть под дождем, — сказала я.

Мы прошли по деревне, не рискуя больше просить приюта, боясь нарваться на такую же дрянь. Но из дверей одной хаты вышла старуха и позвала нас. В хате больной старик лежал на кровати. Старуха предложила нам снять и просушить одежду. Мы расположились возле печки, с удовольствием согреваясь, но раздеваться отказались: нельзя долго задерживаться. Узнав о нашем несчастье, старики искренне посочувствовали. Я рассказала про девчонку.

— Надо же вам было туда постучать, это дом полицейского! — сказала старуха.

Дождь не уменьшался, он, видимо, зарядил на целый день. Голые, мокрые ветки стучали о стекла окон, заунывно стонал

ветер. Немного обогревшись, мы поднялись и, поблагодарив стариков, снова пошли месить грязь на дороге. Тяжел был этот путь. Маленький Женя походил на несчастного намокшего воробышка, впрочем, и у всех нас вид был достаточно жалкий. Но мы боялись опоздать. Что, если отца похоронят без нас? Это будет ужасно! Мы больше не обращали внимания ни на дождь, ни на грязь.

Расставленные по всей дороге румынские часовые нас пропускали. К трем часам дня пришли в Альму и зашли к Воронцовым. Они были очень опечалены вестью о смерти отца. Жена Воронцова сейчас же принесла чашку с теплой водой, чтобы мы вымыли ноги и постирали чулки. Дмитрий Григорьевич, укоризненно качая головой, повторял:

— Верная простуда, верная простуда!

Что же делать? Ходить можно только до пяти часов, а сейчас три. До станции Бахчисарай еще двенадцать километров, а оттуда до города два. Не успеем дойти. Воронцовы уговаривали остаться ночевать. Но ведь завтра могут без нас похоронить отца!

— Я пойду к мосту, — сказала мама, — а вы смотрите в окно, может быть, кто-нибудь, проезжая, согласится нас взять, я тогда махну рукой.

Вскоре Леля крикнула:.

— Мама машет!

Я моментально выкрутила чулки и натянула их на ноги.

— Верная простуда, — простонал Дмитрий Григорьевич, но мы уже выбегали из дому.

Двое румынских солдат везли на подводе в Бахчисарай сундук с вещами своего офицера. Они согласились нас взять.

Дождь, наконец, прекратился. Мы сели на подводу, устланную сеном, и поехали. Начало темнеть.

— Партизан не бойся, — вдруг сказал румын, неизвестно к кому обращаясь, — они не страшный, они убивают только офицер.

Я усмехнулась и подумала: хорошо, если бы сейчас нас остановили партизаны, к которым я так неудачно пробиралась!

Я стала вглядываться в сумеречную даль: не видно ли где партизан. Но всюду было пустынно и тихо. Когда мы уже находились недалеко от станции, воздух прорезал знакомый свист падающих бомб, на железнодорожном пути взметнулись в небо два огненных столба.

— Русский самолет, — сказал румын.

Я смотрела в темнее небо, откуда едва доносился звук мотора, и думала: счастливый человек там в самолете с «Большой земли».

Подъехали к станции Бахчисарай, когда уже совсем стемнело. Нас остановила румынская застава. Здесь сгрудилось много автомашин и подвод. Офицер что-то кричал, никому не разрешая двигаться дальше. Наш солдат слез и пошел объясняться. Вскоре он вернулся, и мы поехали дальше.

— Нас пропустили потому, что мы едем в Бахчисарай, — сказал он, — а на Севастополь не разрешают ехать, пока не соберется побольше подвод и машин: боятся партизан.

Был уже комендантский час, когда мы ехали притихшим городом, погруженным в абсолютный мрак. По дороге встречались патрули, но румынскую подводу никто не остановил. Наконец-то добрались домой — измученные, голодные и промерзшие до костей. Под нашим домом был большой сарай, в двери которого свободно могла заехать подвода с лошадьми, и румыны решили здесь заночевать.

Я никогда не забуду этой картины: на старой поржавевшей кровати, устланной лохмотьями, лежит мой отец. Его голова с зачесанными назад густыми, седыми волосами покоится на рваной подушке. На стене тень от профиля: прямая линия лба, тонкий с горбинкой нос. В изголовье, на грязной облупленной стене нищей комнаты висит огромный, роскошный венок из пышных хризантем, принесенный учениками. Дико выглядят эти хризантемы на грязной стене, так же странно видеть такое благородное, спокойное, будто спящее лицо моего отца на рваной подушке. Веки плотно закрыты, но я вижу выражение его честных, умных глаз, часто добрых, ласкающих, а иногда огненно-гневных от возмущения…

Сейчас, когда я пишу эти строки, слезы льются из моих глаз, сейчас я имею право плакать. Сердце оттаяло, и не шепчет суровый и жесткий голос: «Не смей, ты должна собрать все силы, чтобы выдержать!»

Смерть отца не явилась для меня неожиданностью. С грустью я часто смотрела на него и чувствовала, что голод его сломил и дни его жизни сочтены. Я только молила судьбу об одном: дать ему пожить хоть один год после освобождения, чтобы он умер не в нищете и неволе. Но, увы, так не получилось.

Закончилась жизнь моего отца. В честном труде прошла она. Около сорока лет прожил он в Севастополе. Там его знали почти все. Петр Яковлевич Клапатюк пользовался в городе славой лучшего преподавателя математики, прекрасного педагога, безукоризненно честного человека, уважаемого и любимого многими. В школе он был строг, требователен, но по-товарищески добр. Во время летних каникулярных путешествий отец часто встречал в разных городах Союза своих бывших учеников. Такие

встречи были всегда обоюдно радостными.

Вспомнилось, как четыре года назад отец заболел крупозным воспалением легких. Мы все буквально валились с ног, ночами не отходили от кровати. Когда же миновал кризис и отец стал поправляться, врачи сказали: «Вы спасли его своим уходом».

Тогда мы чувствовали себя счастливыми, но теперь… теперь даже об этом жалели. Зачем не дали ему умереть в своей постели, окруженным заботой и любовью?.. Зачем нужно было ему на старости лет перенести столько страданий?

Тихо вошел в комнату солдат-румын, посмотрел на отца, постоял немного у его кровати, перекрестился и так же тихо вышел..

Я подошла к отцу, погладила по волосам, поцеловала в побелевшие, холодные губы, как поцеловала — бы живого. И странно было, что он умер, казалось, просто крепко спит, так безмятежно было папино лицо. Не верилось, что это навсегда и больше никогда, никогда он не проснется.

На столе лежала записная книжка отца, его последняя книжка. В письменном столе в севастопольской квартире много сгорело таких книжек. В них отец систематически, из года в год, записывал даты и краткие заметки о всяких знаменательных событиях, государственных и семейных. Иногда в ходе разговора отец открывал ящик письменного стола и сообщал: в таком-то году зима была особенно суровая и даже такого-то числа появился лед у берегов…

Я стала перелистывать эту последнюю, неоконченную книжку. Наткнулась на перечень бомбежек с указанием чисел, часов начала и конца воздушных тревог — вплоть до последнего месяца осады, когда не было больше уже конца этим тревогам. Потом вдруг на одной страничке увидела, запись: «5 ноября 1943 года ушла Женя». И снова острая боль пронзила сердце. Всю дорогу я мысленно говорила отцу: я вернулась, я иду к тебе, я прощусь с тобой! Опоздала!.. Он не услышит и никогда не узнает. Долго сидела над раскрытой книжкой и смотрела на короткую запись, спрашивая себя: что переживал в последние дни отец? Потом взяла ножницы и отрезала маленький локон седых волос с головы отца. Пусть не все уйдет в землю, пусть останется что-нибудь мне.

Потом мы с мамой легли вместе в кровать и, сломленные нравственной и физической усталостью, заснули тяжелым и тревожным сном.

Наутро принесли гроб. Учащиеся и педагоги завалили всю комнату букетами и венками из хризантем. На кладбище отца провожала огромная толпа, преимущественно дети, которые

плакали навзрыд. За гробом несли двенадцать венков. Фашисты останавливались и с удивлением спрашивали: «Кого это так торжественно хоронят?» В покойнике, лежавшем в гробу среди хризантем, они, конечно, не признали того нищего худого старика, который еще недавно ходил, спотыкаясь от слабости, по улицам Бахчисарая.

Знакомство с Ольгой Шевченко и начало подпольной работы

На этот раз, к нашему удивлению, очень легко удалось прописать маму. Или гитлеровцы изменили свои обычаи, или просто им было теперь не до того, но дело обошлось без разрешения от коменданта. Женю сейчас, же определили в школу. С особой теплотой встретили меня в столовой, когда после двойных похорон я в первый раз туда явилась.

— Судьба зверски с тобой обращается, — сказал Иван Иванович, — ну, что ж поделаешь, забудь все, плакать сейчас не время, будем жить по-старому: работать, беседовать, надеяться. На, съешь котлетку, она из хорошей жирной коняки.

— Не хочется что-то, Иван Иванович…

— Я тебе дам не хочется! Ешь, говорят!

Повара, официанты, буфетчица Мария Васильевна, кассирша Шура — все старались сделать мне приятное. Никто ни единым словом не обмолвился о моем горе и ни о чем не расспрашивал. Мура Артюхова принесла попробовать «необыкновенно вкусного» ликера. «Такого ты никогда не пила», — сказала она.

Все старались вселить в меня бодрость духа. У плиты, у кухонного окна или буфетной стойки так же шепотом сообщали новости о наших победах, обменивались мыслями. Снова работа, все шло по-старому. Только сердце стало еще тяжелее, будто прибавилось несколько гранитных камней в его кладовых, крепко запертых на большие замки.

Прошло несколько дней, и сестру вызвали на биржу.

Вернувшись, она сообщила:

— У меня отобрали все документы и сказали, что направляют на работу в Евпаторийский район. Завтра должна явиться с вещами.

5 декабря уехала сестра. Месяца через два мы получили от нее открытку с границы Германии, где она занималась расчисткой снега на железнодорожных путях. Слова ее короткого письма были проникнуты трагизмом: «Как бы я хотела снова увидеть дорогие могилки!» — писала она.

Таяла наша семья. Теперь мы остались втроем: мама, я и

маленький Женя.

…После ухода Вячеслава Николай окончательно перебрался на улицу Карла Маркса. Я опять работала без выходных с утра до сумерек. Теперь нам очень трудно было с ним встречаться. Однако вскоре после всего происшедшего Николай пришел в столовую, и мы снова заговорили об Ольге.

— Познакомь меня с Ольгой, — попросила я.

Меня вдруг страстно потянуло к этой женщине, которую я никогда не видела в глаза. Мы условились с Николаем, что я пораньше отпрошусь у Ивана Ивановича, и мы тогда отправимся к Ольге.

На другой день я с нетерпением ждала условленного часа. Наконец, явился Николай. Мы пообедали и пошли. На дворе шел дождь, была слякоть. В глинистой вязкой грязи я часто теряла Володины галоши, надетые на короткие ватные сапожки, сшитые мной. «Ты смахиваешь на Чарли Чаплина», — усмехнувшись, сказал Николай.

Шевченко жила далеко, в стороне вокзала. Мы вошли в маленькую, уютную квартирку, всю украшенную вышивками. С первого взгляда Ольга произвела на меня незабываемое впечатление. Молодая красивая женщина среднего роста, украинского типа: смуглое лицо с ярким румянцем, темные густые дуги бровей. Милая, приветливая. Я никогда не встречала таких спокойных, прямых глаз, которые говорили о силе характера, выдержке и душевной чистоте. «Она не может лгать», — подумала я.

Через пять минут мы вели откровенный разговор, как старые друзья. До некоторой степени так и было. Я давно знала Ольгу по рассказам Николая, а она от него слышала обо мне. Мы говорили о своем неудавшемся походе в лес к партизанам, о зависти к счастливому Вячеславу, попавшему на советскую землю. Я попросила Ольгу:

— Переправьте меня к партизанам.

— А что вы там будете делать? — спросила она.

— Думаю, что для меня найдется винтовка.

Помолчав минуту, Ольга сказала:

— Приходите ко мне послезавтра, мы с вами поговорим.

— Приду обязательно, только очень рано, в шесть часов утра, до работы. Можно?

— Приходите в шесть утра, я рано встаю.

С этого памятного дня в жизни моей начался новый период.

В назначенный день и час я была у дома Ольги. Решила постучать в окошко — может быть, она еще спит, но Ольга сразу

подошла к окну и сказала:

— Идите во двор, я сейчас открою.

Она уже растопила плиту и готовила завтрак. Я села в старое, мягкое кресло и протянула ноги к открытой духовке.

— Я говорила о вас, — сказала Ольга. — Можно переправить в лес, но я хочу вам предложить остаться здесь и работать со мной.

Я задумалась… Конечно, быть на свободной земле, среди своих людей, не видеть самодовольных, наглых лиц гитлеровцев куда приятнее…

— Я подумаю, Ольга, и завтра отвечу.

На другое утро я снова была у Ольги и дала согласие работать с ней.

Теперь я почувствовала, как окрепла под моими ногами почва. К Ольге я всегда приходила рано утром, до работы, стучала в окошко, в котором моментально появлялось ее приветливое и улыбающееся лицо. Прежде всего узнавала последние новости с фронтов, потом брала газеты, листовки, книжки. Очень огорчалась, если уходила с пустыми руками. С полчаса мы обычно разговаривали. Я кое-что рассказывала о себе, о Севастополе и батарее.

— А как вы сейчас живете? — спросила однажды Ольга. — Не голодаете, может быть, в чем-нибудь нуждаетесь?

— Нет, — ответила я, — благодаря столовой мы более или менее сыты. Конечно, никаких излишеств: масла и сахара не едим, шоколада тоже. Вот только справки о работе не имею, хитрю во время облавы и надеюсь на судьбу. От биржи скрываюсь.

И я показала свой аусвайс, испорченный надписью «уволена».

Ольга задумчиво покрутила в руках аусвайс и сказала:

— С чувством расписался, через весь документ! Можно попробовать сделать вам новый.

Я промолчала и больше никогда об этом не заводила разговора: мне казалось неудобным обременять подпольную организацию своими личными делами…

Часто в разговоре слышала от Ольги: «Была вчера в комитете, говорила в комитете…»

Я знала, что Ольгу посещают подпольщики, иногда она мне рассказывала о некоторых эпизодах их работы. Я слушала и никогда не задавала лишних вопросов, не просила познакомить с кем-нибудь из комитета даже не спрашивала, знают ли там о моем участии в работе подполья. А Ольга не называла мне ни имен, ни фамилий, ни адресов, и за все время я в этом доме не встретила никого, кроме ее мужа, Сергея. Шевченко. Я узнала имя руководителя подполья Ивана Андреевича Козлова и увидела его

самого лишь после освобождения. Понятия не имела тогда, что Ольга — связная подпольного горкома.

Однажды Ольга рассказала, как переносила с одной женщиной мины. У каждой подпольщицы было по пять мин, плотно привязанных к талии. Запалы Ольга несла в кармане. Шли долго, выбирая пустынные улицы. При каждом шаге мины слегка ударялись друг о друга и тихо цокали.

— А вы не боялись, что мины взорвутся, если кто-нибудь нечаянно толкнет? — спросила я.

— Нет, они без запалов не взорвутся, этого бояться нечего. Но вот когда подошли к дому, где надо было спрятать мины, и увидели, что ворота закрыты на большой висячий замок, тут нам сразу стало жутко. Ведь заранее условились, а хозяйка ушла. Такая получилась неожиданность. Пришлось нести мины к себе домой. А у меня дверь в дверь живет гестаповский зондерфюрер. Вдруг, думаю, похлопает меня, да по минам, — знаешь манеру немцев. Мы быстро перешли через двор, напряженные были минуты, но зондерфюрера, на счастье, не оказалось.

— А куда же вы девали мины?

— Я их и запалы отнесла в сарай и зарыла в уголь, а к вечеру переправила по назначению. В нашей жизни бывают жуткие моменты и всякие неожиданные случайности, к ним надо быть всегда готовой. Самое главное — быстро соображать и уметь держать себя в руках. От этого зависят и успех дела и жизнь.

Я с завистью подумала о женщине-подпольщице, которой Ольга так доверяла, и мне захотелось сказать: «Возьми и меня переносить мины», но остановила мысль, что Ольга еще слишком мало знает меня, нельзя напрашиваться на большое доверие. Я ничего не сказала и лишь тяжело вздохнула.

Ольга расценила мой вздох, как сожаление о том, что надо покинуть старое кресло возле плиты, где я уютно пригрелась, и спросила:

— Тебе уже надо уходить?

А мне действительно не хотелось уходить: вечно спешишь, никогда не поговоришь по-человечески. Я посмотрела на часы — да, пора, — и хотела встать, но Ольга сказала:

— Это что, а вот недавно со мной был случай похуже, когда-нибудь расскажу.

Но я возразила:

— Нет уж, начала, так продолжай, один раз можно опоздать, Иван Иванович не выдаст.

Ольга не отличалась болтливостью, но сегодня, как видно, расположилась к задушевной беседе. Видимо, ей захотелось поделиться тем, что пришлось пережить.

Она рассказывала:.

— Надо было занести в один дом большую пачку газет и листовок и на этот раз объемистей обычной.

Вхожу в коридор, берусь за ручку двери, которая оказалась не запертой, открываю без стука… И что же вижу? В комнате сидят пять жандармов с бляхами на груди и все смотрят на меня. Я обомлела. Захлопнуть дверь и бежать? Невозможно, бессмысленно.

Я спокойно вошла, может быть, слишком спокойно улыбнулась и поздоровалась.

В дверях соседней комнаты, облокотившись о косяк, стояла хозяйка квартиры и тоже смотрела на меня. Глаза ее были широко открыты, и в них промелькнуло выражение ужаса. Она прекрасно знала, с чем я пришла.

Жандарм спросил:

— Кто такая? — и стал переводить взгляд с меня на нее.

Я ответила:

— Соседка, живу здесь во дворе. И обратилась к хозяйке:

— У тебя есть мясорубка?

— Есть.

— Дай, пожалуйста. Мне надо помолоть мясо, хочу сделать котлеты.

Хозяйка пошла в кухню, а я осталась наедине с жандармами. Они молча меня рассматривали, я тоже молчала и улыбалась им. Когда возвратилась хозяйка и дала мне мясорубку, руки ее дрожали, но никто этого не заметил, кроме меня.

Я вышла во двор и увидела, что у ворот тоже стоят жандармы, которых раньше не было. Что делать? Я не решалась со своим грузом идти мимо них и огляделась по сторонам: куда бы спрятать литературу? В глубине двора стояла уборная, я быстро туда зашла. Два бака для воды были пусты: водопровод ведь давно не работает. Но до них трудно дотянуться. Кое-как удалось открыть один бак, по частям побросать туда литературу и опустить крышку. Потом обошла вокруг уборной и отдала мясорубку одной соседке с просьбой передать хозяйке на другой день. Теперь со спокойной душой вышла со двора. Недели через полторы мы с Галкой — моей дочкой забрали из бака всю литературу.

А почему в квартире сидели жандармы? — спросила я.

Сторожили брата хозяина, подпольщика. Думали, что он явится сюда, и устроили засаду. Но безуспешно, не таким уж глупцом оказался брат!

Ольга и Сергей Шевченко

Как-то я познакомилась с мужем Ольги — Сергеем, приезжавшим по субботам из Сарабуза. Высокий, худощавый, со впалыми щеками и выражением суровой непреклонности в светло-серых глазах, Сергей казался мне решительным человеком, который никогда не сойдет с однажды выбранного пути, не отступит перед любой опасностью. Вот только суровость являлась не основной, а временной чертой характера Сергея. Суровость, ненависть и жажда мести, порожденные войной, были в то время свойственны многим, даже самым добрым, мягким и незлобивым людям.

Почти все, о чем я хочу сейчас рассказать, стало мне известно от Ольги и Сергея лишь после освобождения.

До войны Сергей работал начальником учебно-спортивного отдела общества «Пищевик», а Ольга — бухгалтером на базе «Динамо». Когда началась война, Сергея призвали на бронепоезд «Смерть фашизму». Он командовал пулеметным расчетом. На Перекопе бронепоезд участвовал в боях за бромзавод, поддерживая контратаки нашей пехоты.

Ольга с девятилетней Галочкой очень хотела эвакуироваться, но в Симферополе ее удерживала работа. А потом оказалось, что дороги уже отрезаны. Тщетно металась Ольга по вокзалу в надежде на какой-нибудь поезд: эвакуироваться было уже поздно.

Направляясь в Севастополь, бронепоезд, на котором находился Сергей, попал под Альмой в засаду. Фашистский танк прямой наводкой расстрелял паровоз: котлы взорвались, команда пустила поезд под откос. Бойцов, рассыпавшихся по кустам, гитлеровские самолеты расстреливали с бреющего полета. Оставшихся в живых окружили немецкие автоматчики и пригнали в Симферополь, в гостиницу «Европейская», откуда Сергей сбежал через окно. Спустя несколько дней его забрали из дома и засадили в «Картофельный городок». Потом перевели в тюрьму, а из тюрьмы по этапу отправили в лагерь на Перекопе.

В первые же дни плена Сергей задумал побег и стал подговаривать трех товарищей, в числе которых находился и Колдун, впоследствии работавший в подпольной организации и погибший в застенках гестапо.

В конце декабря им удалось бежать. Шли полем на Симферополь. А в это время по заснеженной дороге, направляясь к Перекопу, пять женщин и старик тянули по очереди санки, груженные продуктами и одеждой, предназначенными для побега военнопленных из лагеря. Среди женщин была и Ольга. Всю дорогу прошли пешком по колено в снегу.

Узнав о том, что Сергей с товарищами бежал, Ольга бродила у ворот лагеря, пытаясь передать кому-нибудь из пленных

продукты, принесенные для Сергея. В это время гитлеровцы вывели за ворота человек двести мужчин, выстроили их и приказали стоявшим впереди снять обувь и плясать, а остальным петь «Интернационал». Поднялись крики, послышалась ругань, посыпались удары прикладами. Толпа запела, но не «Интернационал», а веселую украинскую плясовую, и десять босых мужчин заплясали на снегу. Если кто-нибудь останавливался, палачи его колотили до тех пор, пока он снова не начинал плясать. Гитлеровцы гоготали. У Ольги из глаз покатились слезы. Часовой обернулся к ней и сказал:

— Чего плачешь? Это юды.

— А разве «юды» не люди? — ответила Ольга. — У нас все люди одинаковы.

Часовой зло поглядел на нее и отвернулся. Натешившись, гитлеровцы стали прикладами загонять людей в подвалы зданий, стоявших рядом с лагерем. Ольга сжала кулаки и поклялась себе бороться с проклятыми врагами всем, чем только сможет.

Вернувшись в Симферополь, она застала Сергея дома. Долго он не имел документов и жил, скрываясь от облав. Потом поступил чернорабочим на розовые плантации и получил аусвайс.

Сначала Ольга и несколько женщин, организованных ею, занимались тем, что готовили суп и носили его к территории «Картофельного городка», где находились военнопленные. Несмотря на ругань и побои, порою с опасностью для жизни, они передавали этот суп и куски хлеба умиравшим от голода людям. Не всегда это удавалось. Ольга не раз была свидетельницей дикой расправы, когда пленные обливались кровью за попытку взять у женщин еду.

Несколько слов следует сказать о так называемом «Картофельном городке», находившемся на окраине Симферополя. Раньше в подвалах, занимавших большую площадь, хранился картофель. Гитлеровцы устроили здесь лагерь военнопленных, самый большой и самый известный в Крыму своей дурной славой.

Иногда лагерные власти принимали от населения пищу для военнопленных и опять устраивали издевательское «представление». Выкатывали к воротам большие бочки и в них лили и бросали все без разбора: суп, борщ, сырые овощи, кашу, хлеб…

Жестокость гитлеровцев согнала сюда почти всех мужчин города Ялты. Как известно, Ялта находится на Южном берегу Крыма, за грядой гор, и не имеет по соседству хлебных районов. Голод в Крыму прежде всего свил себе гнездо на южном

побережье. Жители с тачками ходили через перевал «на обмен» в степные районы Крыма. Зимой многие замерзали по дороге. И вот гитлеровцы объявили, что, ввиду тяжелого продовольственного положения в Ялте, они организуют массовый поход для обмена вещей на продукты. Был дан приказ о явке на сборный пункт всех мужчин. Затем их повели через перевал в Симферополь и загнали в «Картофельный городок», где большинство погибло от голода и зимней стужи, так как подвалов не хватало и люди находились под открытым небом.

Огромные ямы, куда гитлеровцы ежедневно свозили сотни трупов, не засыпались до тех пор, пока не бывали наполнены.

Как-то Сергей встретился с инженером Григоровым — своим старым знакомым, членом партии. Узнав, что Сергей бежал из лагеря, Григоров пригласил его к себе домой. Вскоре Сергей вступил в подпольную организацию Григорова, которая занималась вредительством, агитационной работой с распространением листовок, писанных от руки. Кроме Сергея, вся организация состояла из инженеров.

Ольга записывала сводки Совинформбюро. Для этой цели она постаралась завязать «добрососедские» отношения с зондерфюрером и его сожительницей. Они часто уходили из дома, а Ольга, предложив свою помощь по хозяйству, оставалась одна в квартире, надевала наушники, включала приемник и записывала сводку.

В январе 1943 года, преданные провокатором, все члены организации Григорова, кроме Сергея, были арестованы. Сразу же после ареста они из тюрьмы передали Сергею, чтобы он немедленно скрылся. Сергей уехал в Сарабуз и через знакомого устроился на зерновом складе, а затем стал весовщиком.

В мае 1943 года всех членов организации Григорова освободили «за недоказанностью преступления». Их спасли мужество, стойкость и спаянность: они говорили одно и то же, отрицая существование организации и свое участие в работе подполья. После освобождения из гестапо Григоров с женой немедленно бежали в лес, в Северное соединение партизан.

Сергей в Сарабузе встретился со знакомым — бывшим инструктором физкультуры, имевшим какую-то тайную связь с Симферополем, откуда он привозил газеты и листовки. Сергей стал вместе с ним работать. Быстро сколотилась группа патриотов, занимавшихся агитацией и распространением газет и листовок, источник появления которых оставался для Сергея неизвестным. А в это время Ольга в Симферополе завязала связь с партизанским разведчиком Германом Тайшиным, хорошо знакомым семье Шевченко еще по работе на железной дороге.

С помощью актива советских патриоток Ольга организовывала побеги военнопленных из лагерей, и переправляла бежавших с Германом в лес.

Осенью 1943 года ей удалось связаться с руководителем подпольной группы сапожником по кличке «Фунель» и через него — с Иваном Андреевичем Козловым, возглавившим с конца октября 1943 года все симферопольское подполье.

Этот период оказался особо тяжелым для Ольги: у знакомых женщин скрывались двое военнопленных. Один из них был смертник — комиссар Подскребов, умудрившийся бежать со двора гестапо. Подскребова приходилось часто переводить из одной квартиры в другую. Долгое время он скрывался у Ольги. Это было очень опасно и для него и для нее.

Ольга попробовала укрыть Подскребова в подвале дома, где жили родные Сергея. Но однажды, зайдя в этот подвал, она заметила, что Подскребов, сидя в углу, от кого-то отмахивался, и к своему ужасу увидела больших жирных крыс, наступавших на человека. Ольга немедленно забрала Подскребова снова к себе, решив не ждать прихода Германа и поискать других путей переброски в лес.

Волновались пленные, волновались и те, кто их скрывал: женщины прибегали к Ольге и умоляли поспешить. Нервничал Подскребов, измученный и затравленный бесконечным преследованием. Но (не меньше всех терзалась Ольга. Дав обещание переправить людей в лес, она теперь чувствовала себя морально ответственной за их жизни. Кроме того, Ольга привыкла держать свое слово, а теперь получалось так, будто она всех обманывает.

Расстроенная Ольга как-то шла по улице и встретила сапожника Колдуна. Иногда он к ней заходил и давал прочесть листовку или газету.

«Не поможет ли мне в этом деле Колдун?» — подумала Ольга и остановила его. Рассказав обо всем, она закончила словами:

— Я жду человека из леса, а его все нет. Колдун молча выслушал и сказал:

— Идем, я тебе помогу.

Каково же было удивление Ольги, когда в человеке, к которому привел ее Колдун, она узнала знакомого ей и Сергею сапожника Григорьева. Тут выяснилось, что и Сергей в Сарабузе получает от Григорьева литературу и Герман Тайшин связан с ним, как с руководителем подпольной группы, известным под кличкой «Фунель».

Вскоре комиссара Подскребова и других военнопленных

отправили в лес. Хорошо воевал Подскребов, но погиб в бою во время большого прочеса. Ольга глубоко о нем сожалела.

Подскребов оказался хорошим знакомым Ивана Андреевича Козлова, с которым Ольга познакомилась через «Фунеля», и сделалась его связной и ближайшей помощницей.

Комсомольцы молодежной группы во главе с Анатолием Косухиным доставляли литературу и мины из леса на свои базы, а затем — меньшими партиями — на конспиративные квартиры. Ольга забирала все это с конспиративных квартир и разносила руководителям подпольных групп. Она обкладывалась литературой так, что едва могла повернуться, и шла будто в картонном корсете.

Услышав от Ольги о работе Сергея в Сарабузе, Иван Андреевич попросил пригласить Сергея к нему.

Сергей, переживший провал организации Григорова, происшедший из-за провокатора, проникшего в ряды подпольщиков, был теперь очень осторожен. Он даже возмущался обширным знакомством Ольги чуть ли не со всем советским активом Симферополя. И когда Ольга сообщила Сергею о своем новом знакомстве с руководителем подполья, Сергей отнесся к ее словам недоверчиво.

— Ты, кажется, нарвешься на провокатора, — отчитывал он жену, однако к Ивану Андреевичу пошел.

В первый момент, увидев голубые глаза и рыжеватые волосы Козлова, Сергей подумал: «Ну, конечно, переодетый немец и провокатор. Вляпалась Ольга!»

Но в ходе разговора с Иваном Андреевичем, когда Сергей старался поменьше говорить, но побольше слушать и замечать, его подозрения быстро растаяли.

Иван Андреевич поручил Сергею организовать диверсионную группу на станции Сарабуз. Люди у Сергея уже были и горели желанием настоящего серьезного дела. Сергей очень удачно построил свою организацию, гестаповцы так и не смогли найти к ней пути. Подпольщики диверсионной группы Шевченко минировали и взрывали поезда, выводили из строя паровозы и вагоны, поджигали горючее, которое немцы подвозили к сарабузскому аэродрому. Группа Сергея работала непрерывно, и все ее члены остались живы.

Люди нашей столовой и подпольная работа

Вначале Ольга давала мне газету «Красный Крым», печатавшуюся в лесу, листовки на русском языке, изредка центральные газеты «Известия» и «Правду», которые доставлялись

в лес на самолетах. Получив драгоценную пачку и запихнув ее под ватник, я, словно на крыльях, неслась в столовую, чувствуя себя именинницей. Часть газет и листовок раздавала там — прежде всего Ивану Ивановичу и Муре Артюховой, затем буфетчице Марии Васильевне, калькулятору Нате, кассирше, официанткам и кладовщику Белкину. Им разрешалось в свою очередь дать литературу знакомым, которым они доверяли. Мура Артюхова никогда не ограничивалась одним экземпляром и выпрашивала несколько. У нее была связь с обувной фарбикой им. Ильича, где работал ее муж. Мура приводила множество аргументов: люди ждут, люди жаждут газет и листовок, любого печатного слова Родины.

Разумеется, я давала газеты и листовки только тем, кому вполне доверяла, главное, чтобы люди умели молчать. Надо было соблюдать осторожность и обходить языкастых, легкомысленных, они могли провалить все дело случайно, без злого умысла. А ведь даже за одну листовку или газету пытали и убивали в гестапо.

Изредка у Ивана Ивановича и Муры появлялись листовки, которых не было у меня. Откуда они их брали? Это меня не касалось, но я кое о чем догадывалась.

Устная агитация среди народа и распространение газет и листовок делали свое дело. Люди передавали друг другу вести, которые зажигали в исстрадавшихся душах надежду, вызывали восхищение героизмом советских воинов.

Ходили в народе слухи, которые превращались в легенды. Говорили, например, что когда немцы потопили под Керчью, в другом варианте — под Севастополем, наш военный корабль, то офицеры и матросы, выстроившись на палубе, пели «Интернационал», пока не погрузились вместе с кораблем в морскую пучину.

— В Инкермане, — рассказывала мне одна девушка, которая там жила, — по ночам выходят из глубины взорванной горы, где были каменоломни, четыре краснофлотца в черных бушлатах и бескозырках с ленточками. Они бродят везде и поют советские песни. Многие слышали пение, а некоторые даже видели темные силуэты моряков…

На мой вопрос: «Как же они остались живы и вышли оттуда?» — девушка ответила:

— В щели обвала просачивался воздух, меж камнями пробивался родничок, а продуктов оставалось много. Целый год краснофлотцы долбили скалу ножами, — говорила девушка, — пока не прорубили выход.

Они очень долго находились в темноте и теперь не могут

смотреть на дневной свет…

Девушка верила в эту легенду, и мне хотелось верить: нет, не погибли, остались живы в недрах горы мужественные краснофлотцы, и по ночам над истерзанной, пропитанной кровью землей Инкермана, нарушая гнетущую тишину, разносятся песни непокоренных моряков!

Варианты этой легенды и сейчас рассказывают в Севастополе. Но, может быть, то не легенда, а быль?

О слухах плохих люди говорили возмущенно и презрительно: «Вот, мол, какую брехню распространяют проклятые фашисты!».

Мы с Иваном Ивановичем вели постоянные беседы на политические и военные темы и прежде всего о действиях Красной Армии на фронте.

Иван Иванович был человеком оригинальным. С тринадцати лет он служил во флоте (тогда еще царском) и, надо сказать, изрядно «украсился» татуировкой. Черты лица имел правильные, тонкие, рост высокий. Несмотря на то, что всю жизнь работал коком, был очень худым. Характером обладал властным, любил высказывать правду в глаза. Даже друзьям подчас говорил пренеприятные вещи, а уж врагам доставалось — не приведи бог!

Каждый день он кормил в столовой кого-то из своих многочисленных приятелей, которые систематически его посещали. Часто снимал фартук и просил меня: «Посмотри, пожалуйста, за кухней и распорядись, а я пойду посижу немного с другом».

Наблюдая за ним, я думала: нет, друзья Ивана Ивановича — не просто друзья. Сядут они за столиком у окошка и о чем-то тихо и оживленно говорят, заговорятся так, что и поесть некогда, все на тарелках застынет. А когда уйдет такой друг, Иван Иванович вернется к стойке и тихо скажет мне, перебирая чеки:

— Говорят, Киев наши уже взяли.

Иван Иванович любил выпить, но всегда знал, меру и не терял твердой памяти и здравого рассудка. Говорил удивительно красиво и увлекательно, хотя и пересыпал речь словами, которых не выдержит бумага. Собственно, слово «говорил» не совсем подходит, надо сказать «травил», что на морском жаргоне означает нечто среднее между враньем и фантазией.

А фантазией Иван Иванович обладал богатой, и, когда был в ударе, речь его лилась беспрерывным потоком. Мы все часто заслушивались его рассказами, но я одна имела счастье узнать от него совсем уж необычные истории. Бывало, все разойдутся с работы, а мы с Иваном Ивановичем пересядем к маленькому столику возле окна — и начинается: он с увлечением «травит», а я

делаю вид, что верю.

— Они подняли винтовки и прицелились, — рассказывает Иван Иванович, дойдя до самого страшного места, — ждут команды офицера, а я рванул рубашку, раскрыл грудь и крикнул… — Иван Иванович вскакивает, гордо вскидывает голову. — Стреляйте, фашистские гады, если можете! И гады не могли… Эти слабонервные гады не выдерживали и опускали винтовки…

Таков был один из вариантов спасения Ивана Ивановича от неоднократных расстрелов. Я попеременно пугаюсь, восторгаюсь, поражаюсь, в зависимости от требований рассказа. Наконец, доведя себя до высшей степени восхищения собственным величием и храбростью, Иван Иванович принимает гордую позу римского патриция и говорит внушительно, медленно и раздельно: — Когда-нибудь ты узнаешь, с кем имеешь дело. Но мне не приходится долго ждать. — Я ад-ми-рал!

Минутное молчание… Нельзя же так огорошить человека. Я поражена! Затем с моей стороны следует поток восточно-льстивых слов. Иван Иванович снисходительно принимает знаки почтения. Но в это время оба замечаем: начинает темнеть и близок комендантский час. Представление окончено. «Адмирал» и его слушательница снова превращаются в повара и марочницу, берутся за судки, сумки с углем и спешат по домам.

В следующий раз Иван Иванович «травить» будет «из другой оперы» и начисто забудет о предыдущей. Но надо сказать, что в обыденной жизни Иван Иванович не лгал. Скетчи, которые мы иногда с ним разыгрывали, отвлекали нас от суровой действительности, хотя бы на пятнадцать-двадцать минут.

Я и не подозревала, что высокий, плечистый мужчина, частый посетитель нашей столовой и большой приятель официантки Муры Артюховой, — подпольщик. Мура, как никто, умела молчать и хранить свои и чужие тайны. Она обо всем мне рассказала только после его трагической гибели, и обидно, что это случилось перед самым концом гитлеровской оккупации.

Был схвачен его брат. Друг Муры пошел в гестапо и пытался спасти брата, предлагая выкуп. Там согласились и назначили большую сумму. Родственники и друзья помогли собрать много ценных вещей. Гестаповцы взяли вещи, арестовали самого друга Муры и всю его семью. Впоследствии, когда вскрывались братские могилы расстрелянных и замученных в гестапо, он был найден лежащим сверху с распростертыми руками — как бы охватывая объятием всех своих близких: брата, жену, двенадцатилетнюю девочку и старуху-мать.

У Муры были две хорошенькие дочери: одна родная, а другая

приемная. Спасая от угона в Германию старшую, приемную дочь, Артюхова скрыла ее в прилесной деревне, где хозяйничали партизаны, а потом девушка ушла с ними в лес. Другая дочь, младшая, жила с матерью.

Мура была доброй, самоотверженной и храброй женщиной, готовой помочь каждому советскому человеку. Но помогать она старалась незаметно и тихо. Скромность — вот ее отличительное качество. И когда я думаю об идеальном типе русской женщины, передо мной встает образ Муры Артюховой.

— Однажды она пришла в столовую внешне спокойная, но бледная.

— Что с тобой? — спросила я.

— Расклеивала по городу листовки, — ответила она, — и не за себя боялась, а за дочь. Ты же знаешь, что с ней сделают, если меня поймают. Я уверена в дочери, она никого не выдаст, но страшно думать…

И я задумалась. Как себя должна чувствовать мать, которая приносит в жертву своего единственного ребенка!

После освобождения я узнала, что Мура была связана с группой печатников.

Мне не раз приходилось слышать впоследствии от некоторых людей такие слова: «Я не мог работать в подпольной организации, у меня семья, я слишком ее любил и не имел права приносить в жертву». Я этих малодушных людей никогда не оправдывала, потому что знала других: Муру Артюхову, Ольгу Шевченко, имевшую единственную двенадцатилетнюю, горячо любимую дочь, которая помогала ей переносить мины, Вячеслава Юрковского, Нюсю Овечкину с тремя маленькими детьми и матерью и многих других.

Ходили слухи, что в Симферополе с первого дня немецкой оккупации создавались различные подпольные группы и организации. Многие работавшие в них люди погибали в застенках гестапо, но их место занимали другие. Пытки, казни, грозные приказы, расстрелы за одну листовку или газету не тушили пожара. Советские люди продолжали борьбу…

После работы я спешила разнести литературу своим знакомым, в том числе матери Юрковского и Поморцевой.

Домой обычно шла вместе с Женей, который вторую половину дня проводил со мной в столовой. Он часто помогал нести судки с обедом, так как я нагружалась углем и перегаром. До комендантского часа оставалось мало времени, за один вечер я не могла успеть разнести литературу и большую ее часть приносила домой. Мы отгораживались от внешнего мира ставнями и замками, мама с жадностью набрасывалась на газеты

и листовки Садились за стол и при свете маленькой керосиновой лампочки предавались чтению. Прежде всего сводки Совинформбюро. Первые же слова приносили радость: наши войска победоносно наступают! Газеты прочитывались, как говорится, «от корки до корки» — начиная с передовой статьи в центральных газетах и кончая театральными объявлениями.

Мама никогда не спрашивала, откуда я приношу литературу, и не задавала никаких вопросов, не выражала беспокойства, прекрасно понимая, что я имею какие-то тайные связи. При виде литературы ее глаза загорались радостью, но зачастую я ловила на себе мамин взгляд, полный тайной тревоги.

Иногда Ольга приходила ко мне в столовую. Она говорила, что ей запрещают это делать, так как столовая слишком людное место, посещаемое гитлеровцами, но все же приходила. В темном корироде происходила быстрая передача литературы из одной пазухи в другую. Затянув потуже ватник, я целый день ходила по столовой, пригревая на груди пачку новеньких листовок и газет.

Однажды Ольга и мама пришли в столовую одновременно. Я попросила маму подождать и вышла в коридор с Ольгой. Отлично зная наблюдательность мамы и ее любопытство, я ждала вопроса: «Что это за женщина и какие у тебя с ней дела?» Но мама не сказала ни слова. И только после освобождения, когда я впервые произнесла имя Ольги, мама спросила:

— Кто это Ольга? Наверное, с ней я встретилась тогда в столовой?

Калькуляторша Ната, та самая Ната, которая первой поняла, что я человек свой, отличалась добрым, хорошим характером. У нее, украинки по национальности, была прелестная пятилетняя дочка от мужа-еврея. С ним она разошлась еще до войны, а сейчас он служил в армии. Когда пришли немцы, Ната переехала в другой конец города, где ее никто не знал, но все время боялась за жизнь дочки.

Однажды в ее дверь сильно постучали. Ната открыла и обомлела: на пороге стоял высокий немец в черной одежде, а у крыльца пофыркивала такая же черная машина-душегубка. Первые двери душегубки были открыты, за ними виднелся тамбур и массивные вторые двери. На подножке машины сидел другой немец, тоже в черном. Ната думала, что приехали за ее дочкой. Она давно решила идти на смерть вместе с нею, и теперь не сразу поняла, что палач ищет кого-то другого. Фашист спрашивал соседку-еврейку..

— Ее в нашем доме нет, она давно куда-то уехала, — ответила, наконец, Ната.

Так в вечном страхе, не зная ни днем, ни ночью покоя,

прожила Ната три года гитлеровской оккупации. Я часто беседовала с ней, давала читать газеты и листовки. Случайно Ната познакомилась с одним румынским солдатом из части, стоявшей по соседству. Густав — так его звали — ненавидел гитлеровцев и Антонеску со всей его сворой и с нетерпением ждал прихода Красной Армии.

— Ты знаешь, — как-то сказала мне Ната, — Густав научился говорить по-русски, а вот читать не умеет, ему очень хотелось бы почитать листовку на румынском языке.

Я попросила у Ольги такую листовку и отдала Нате. На следующий день она сказала:

— Густав был в восторге, листовку двадцать раз перечитали все его товарищи.

Я снова отправилась к Ольге, и с тех пор получала от нее листовки на румынском языке.

— Часть листовок отдавай солдату, а остальные разбрасывай возле румынских частей. Только не клей, а разбрасывай, — говорила Ольга.

Я так и делала. С Густавом непосредственно не сталкивалась, действовала через Нату, которая поклялась мне в том, что никогда и никому не скажет, от кого получает листовки.

Ольга однажды спросила:

— Ты уверена в этом румынском солдате? Он не выдаст?

— Нет, — ответила я, — не уверена. Если не попадется, то не выдаст. Но если схватят гестаповцы и будут пытать? Однако надеюсь, что он не попадется, а если попадется, то не захочет выдать Нату.

— Ну смотри, будь осторожна! — предупредила Ольга.

Но Ольга, конечно, понимала, что если стремиться к полной безопасности и уходить от риска. — то это значит не вести никакой агитации, никому не давать ни одной газеты и листовки.

Нате я передала как-то большую пачку листовок и сказала:

— Двадцать штук для Густава. Пусть раздаст своим товарищам и предупредит, чтобы соблюдали большую осторожность. Остальные положи в их уборной, в ящик для бумаги, ты ведь бываешь в части. Не побоишься?

— Положу, в этом дворе ходит разный народ, не подумают на меня, — ответила Ната.

Однажды Ната сказала, что румыны очень хотят получить листовки с пропуском для сдачи в плен Красной Армии. Через несколько дней я достала для них и такие листовки.

Ната жила в одноэтажном домике, недалеко от трамвайного кольца, напротив гестапо, находившегося в бывшем студенческом городке. Рядом стояла румынская часть, где служил Густав.

После освобождения, когда Ната уже уехала из Крыма, я проходила однажды мимо ее дома и остановилась удивленная: почти рядом с парадной дверью ее квартиры, куда вели несколько ступенек крыльца, на стене появилась мемориальная доска. Она гласила, что во дворе этого дома находилась конспиративная квартира. Оказывается, мир тесен, и даже в таком маленьком доме, кроме Наты, жили и другие люди, боровшиеся за освобождение.

После работы мне предстояло разбросать листовки возле некоторых румынских подразделений. Из столовой вышли с маленьким Женей, и я повела его с собой, рассуждая так: Галка — ровесница нашего Жени — помогает Ольге переносить мины. Значит, и я должна закалять характер мальчика, воспитывать его патриотом, достойным своего отца.

Приближался комендантский час, но только начинало смеркаться. Белые листовки резко выделялись на земле.

«Черт возьми! — подумала я. — Газеты печатают на темной бумаге, а листовки на белой, лучше бы наоборот!..»

Поставив на землю сумки, я делала вид, что копаюсь в них, и тем временем рассыпала листовки. Женя наблюдал за окружающей обстановкой и нервничал.

— Мама, часовой увидит, — шептал он, — идем скорей отсюда!

Когда я разбрасывала листовки при выходе со двора Юзефы Григорьевны, где недавно разместилось румынское подразделение, пробегавший мимо ворот маленький татарчонок что-то заметил и остановился. Я вышла на улицу, загородив ворота сумками, в которых вместе с углем еще лежали листовки, стала долго и упорно копаться в них. Татарчонок не уходит. Тогда я принялась поправлять чулки, решив во что бы то ни стало заставить его уйти. Медлить было опасно, могли поймать с поличным. Надо скрыться как можно скорей. Но проклятый татарчонок тоже выжидал. Наконец у него кончилось терпение, и он удрал.

Несколько листовок я бросила возле дома, где жило много румын, остальные — у места расположения румынской части на улице Субхи, недалеко от нашего дома.

Иногда Женя тоже носил брошюры и листовки в судках или в своих карманах и нисколько не волновался. Но я понимала, что разбрасывание листовок и газет — опасное дело, и, боясь рисковать жизнью мальчика, перестала брать его с собой.

Так проходила зима с 1943 на 1944 год. Перекоп еще с осени был закрыт нашими войсками. В Керчи удерживал плацдарм высаженный там десант. Гитлеровцев захлопнули в мышеловке.

Связь они имели только по морю и воздуху с Одессой и Констанцей, но эти коммуникации находились под угрозой наших кораблей, самолетов и подводных лодок. И на территории Крыма, в своем тылу, гитлеровцам приходилось беспрерывно вести войну. Фашисты жгли все прилесные деревни, не прекращали прочесов леса, бросали на борьбу с партизанами много войск, но война шла и в лесах, и в городах, на всех дорогах.

Немцы пытались вести лживую агитацию против партизан. На Пушкинской в витрине магазина выставили грязное белье и лохмотья с объяснением, что это «одежда партизан». Тут же поместили снимок с надписью: «Жидовка партизанка Дишарова». Но люди обращали внимание не на вшивую одежду, а, вглядываясь в снимок, замечали, что Дишарова вся распухла от побоев и едва стоит на ногах, поддерживаемая двумя гестаповцами. Продавалась по дешевке грязная книжонка «Дневник партизана», якобы найденная в кармане убитого. В книжонке оккупанты врали о том, что в партизаны вербуют насильственно, что партизаны — людоеды, питаются человеческим мясом, жаря его на кострах.

Однажды Ната пришла на работу очень встревоженная и сообщила мне: Густав рассказывал, что их водили смотреть зверски изуродованные трупы румын, которых посылали в лес за дровами. У убитых отрезаны уши, носы, вырезаны куски кожи. Немцы утверждают, что это дело рук партизан. Густав и его товарищи растеряны и очень расстроены.

Я стала с жаром убеждать Нату:

— Очередная гитлеровская провокация, обман и ложь! Сами изуродовали, а теперь валят на партизан. Убеди в этом Густава, и пусть он переубедит своих товарищей. Сама посуди: ведь ты знаешь, какую политику ведут наша армия и партизаны. Никаких зверств у нас не разрешается, а хорошим отношением к военнопленным мы действуем в, свою пользу.

Рано утром на другой день я пошла к Ольге и рассказала обо всем.

— Надо принять меры, — . сказала Ольга, — большинство румын мечтает о приходе Красной Армии, верит партизанам — и вдруг такая провокация!

Подпольная организация срочно отпечатала и распространила листовки, разоблачающие гнусную провокацию гитлеровцев.

Часто у Ольги не было литературы, и мне приходилось клянчить:

— Дай хоть что-нибудь, не могу я уйти с пустыми руками: меня заедят в столовой. Товарищи и так целыми днями грызут:

принеси газеты, принеси листовки.

Особенно донимает кладовщик Белкин…

Бухгалтер по профессии, Белкин в первые дни оккупации работал сторожем. Его нервнобольную жену расстреляли немцы, так как она ходила по улицам и громко их проклинала. Белкин дрожал от ярости, когда говорил о фашистах, а между тем был человеком тихим, скромным, с очень мягким характером. Его всегда защищали повара, иначе «Степка» сожрал и пропил бы всю его кладовую. Маленький, худенький, слегка прихрамывающий на одну ногу, Белкин казался совсем беспомощным, а «Степка» вечно орал на него, как гитлеровский жандарм. Белкину я доверяла и понимала, почему он может целый день ходить за мной и с назойливостью осенней мухи без конца жужжать на ухо:

— Ну пойди, пожалуйста, туда, ты давно уже ничего не приносила. Разве ты не понимаешь, что значат для нас газеты, они нужны, как воздух, как пища!

Белкин, нет ничего, ведь я вам уже говорила, я была там, но поймите, нет ничего, где же я вам возьму. Потерпите немного, обещают через несколько дней.

Но слова его не убеждали, он продолжал ходить за мной и шептать:

— Эх, ты ничего не понимаешь! Ну прошу тебя, пойди принеси хоть что-нибудь, ты просто ленишься, ну сходи!

В связи с прочесами леса литература поступала нерегулярно. Но все же то Сергей даст сводку, написанную от руки, то Ольга добудет какую-нибудь книжку, листовку или газету. Получив такую маленькую драгоценность, я запрятывала ее в шерстяной носок и, удовлетворенная, неслась в столовую. Этим единственным экземпляром приходилось в таких случаях обслуживать всех «клиентов», включая и Муру с обувной фабрикой.

Однажды Ольга дала мне маленькую книжку: доклад товарища Сталина о 26-й годовщине Октябрьской революции. Уже давно прошел ноябрь, когда в наши руки попала эта книжка. Но невозможно забыть то чувство наслаждения, с которым читался доклад. Так путник, умирающий от жажды, хватает пересохшими губами холодную воду. Я поступила в тот раз как эгоистка, никому не дала книжку и унесла домой. Огромная радость и гордость за наш народ, за Красную Армию охватила меня и маму. В докладе говорилось о победах, о наступлении, о скором разгроме врага. Доклад этот влил в нас свежие силы, пожаром зажег души.

Я проглотила доклад и уже с нетерпением ждала, когда мама

закончит чтение, чтобы снова завладеть книжкой. Мы чуть ли не выучили доклад наизусть.

С таким чувством читали доклад все мои «клиенты».

В другой раз мне удалось выпросить у Ольги два экземпляра газет «Известия» и «Правда», но с условием возврата, так как они предназначались для кого-то другого. Меня удивило, что газеты Ольга вытащила из-за буфета. В случае обыска их ничего не стоило бы найти. А впрочем, и я не лучше прятала свои — в дрова, лежавшие в коридорчике.

С этими газетами произошла неприятность: я не смогла их возвратить Ольге. Только я вошла в столовую, как Белкин выклянчил у меня газеты и забрал к себе домой. Ведь газету, да еще центральную, не прочтешь украдкой, на работе. Через два дня он виновато оправдывался.

— Я прочел твои газеты и на одни сутки отдал близким друзьям. Ночью к ним пришли гестаповцы. Хорошо, что топилась печь: пока открывали двери, газеты сожгли. Поэтому я и не могу тебе их возвратить…

В другой раз самого Белкина возле базара едва не арестовал жандарм, приняв за спекулянта, а у Белкина в кармане лежала газета «Красный Крым». Всегда грозила гибель от таких случайностей, но об этом не думалось.

Однажды и со мной произошел пренеприятный случай, который мог стоить жизни, В этот раз я получила от Ольги очень большую пачку газет и листовок на русском и румынском языках, напечатанных на плотной глянцевой бумаге. Как обычно, я положила их за пазуху и целый день проходила так. Окончив работу, шла домой по Кантарной улице: в одной руке несла судки с обедом, а в другой сумку с перегаром. Было еще совсем светло. Вдруг что-то скользнуло вниз по ноге. Я сначала не обратила на это внимания, но, пройдя шагов десять, внезапно сообразила: газеты! Резко обернувшись, увидела картину, от которой на мгновенье туман пополз перед глазами: посреди тротуара лежали мои газеты и листовки. Над ними стояла женщина. Если что-нибудь и могло меня теперь спасти, так это быстрота. Я бросилась назад, нагнулась и стала проворно сгребать газеты и листовки.

Я не взглянула в лицо женщины — на это надо было тратить время, — но видела неподвижно стоявшие ноги в черных сапогах и с тревогой думала: друг или враг? Какие мысли проносятся в ее голове? Закрывает ли она меня своей фигурой от прохожих или соображает, что предпринять? Вдруг сейчас крикнет: «Партизанка, держите!» И все кончено, никуда не скроешься на людной улице.

Собрав всю литературу, я сунула ее в сумку с перегаром,

поднялась и, не глядя на женщину, быстро перешла на другую сторону улицы. Там замедлила шаг и посмотрела, как женщина реагирует. Она пошла вверх по улице. Я дала ей возможность меня опередить и до первого переулка следила за ней. Она не оборачивалась… Тогда я свернула в переулок и пошла быстрее.

Этот случай заставил меня быть осторожней, с тех пор я стала туго перетягивать ватник поясом.

Тревоги и подозрения

Зима была снежная и морозная, с частыми метелями. Но мы радовались.

— Смотри, как закрутило, — многозначительно подмигивал Иван Иванович. — Пусть крепнет мороз. Сиваш замерзнет, и наши пойдут в наступление.

В кухне адский холод от сквозняков, но мы, отогревая руки возле плиты, молили небесную канцелярию еще больше расщедриться на морозы, и метели. Глупцы, мы не понимали того, что части Красной Армии на Перекопе не только не видели пользы от морозов, но и очень страдали.

Теперь ко мне часто обращались с вопросами:

— Скажите, Женя, скоро мы дождемся освобождения? А что сделают с нами немцы при отступлении?

Чаще всех спрашивала буфетчица Мария Васильевна. В ее голосе слышались и надежда, и тревога, и сомнение.

Вопрос о том, что с нами сделают немцы при отступлении, оставался открытым и обсуждался до самого дня освобождения.

— Все зависит от быстроты наступления, — говорила я, — а вы теперь знаете темпы Красной Армии.

Теперь в каждом номере газеты «Голос Крыма» фашисты писали: «Наши части успешно оторвались от противника». Всем было понятно, что это значило: «Мы драпаем с предельной быстротой и не успеваем даже оглянуться на противника, который наступает на наши пятки». Значит, у немцев может не хватить времени, чтобы расправиться с нами, не до того будет, придется «молниеносно отрываться» от противника.

Не все служащие столовой были людьми патриотически настроенными, трех-четырех приходилось опасаться. Но как ни скрывайся, а при ежедневном общении о многом можно догадаться. Это подтвердил чебуречник Окай. Поссорившись с Иваном Ивановичем, он напился пьяным, ввалился к «Степке» в кабинет и там орал на всю столовую:

— Я знаю, здесь настоящее партизанское гнездо!

И еще что-то в таком духе.

Мы притихли, пораженные. Обычно трезвый и незлобивый, Окай вдруг открыл перед нами свои тайные мысли.

На счастье, столовая была еще закрыта, а те, кого мы опасались, включая «Степку», пропустили слова Окая мимо ушей. Но неизвестно, чем бы все кончилось в обеденный час, когда столовую наводняли гитлеровские солдаты, базарные торговцы, спекулянты и тому подобная шантрапа. А с момента открытия и до закрытия возле кассирши Шуры крутился агент криминальной полиции, грек по национальности. Для отвода глаз он делал вид, что без ума от нашей кассирши, и бедная.

Шура ежедневно терпела его назойливое ухаживание. Мы знали, кто такой этот «ухажор», но опасались его мало: самовлюбленный, глупый, ничего вокруг себя не замечавший, он больше занимался темными спекулятивными делами да любовался собственной персоной.

Окая постарались успокоить до открытия столовой, и все обошлось благополучно. Нашу столовую действительно можно было назвать партизанским гнездом: ее посещали и подпольщики, и партизаны. Но ни Окай, ни кто другой не натравили на нас гестапо.

Наступили первые дни марта. Рано утром я постучала в окошко Ольги, и, как всегда, через две-три секунды за стеклом показалось ее лицо. Я вошла и с удовольствием уселась в любимое кресло, отогреваясь возле горящей плиты. На дворе было очень холодно. Март «порадовал» новыми морозами и метелями.

В этот раз у Ольги не оказалось никакой литературы.

— Знаешь, — сказала она, — начались провалы организации.

— Да, я слышала о вооруженном сопротивлении подпольщиков на Речной. Весь город о нем говорит.

— Не исключена возможность, что мне придется уйти в лес, — продолжала Ольга. — Правда, прямой опасности еще нет, никто из арестованных меня не знает, но неизвестно, как дальше все обернется. А ты не беспокойся, можешь оставаться: кроме меня и Сергея, тебя никто не знает.

На прощанье Ольга сказала:

— Ко мне не приходи, жди. Если будет литература, сама принесу.

Я ушла ни с чем. Отойдя уже довольно далеко, вдруг вспомнила, что мы с Ольгой не условились о каком-нибудь знаке в окне на случай ее бегства в лес. Но возвращаться не было времени, я спешила в столовую.

Прошла неделя — Ольги нет. К концу подходила вторая, а ее

все не было. Я выжидала, но «клиенты» меня терзали. В особенности Белкин с утра до вечера не давал покоя. Он начал действовать самыми сильными средствами, апеллируя к моей совести.

— Ну какой ты агитатор! — говорил он. — Под лежачий камень вода не течет. Ну что стоит тебе пойти? Нет так нет, но почему же не узнать?

Я подумала: в самом деле, может быть, Ольга боится появляться в столовой, ведь ей это запрещают. Я тоже боюсь идти к ней. Мы обе будем бояться, а к чему это приведет? Нет, нельзя отсиживаться, надо выполнять свой долг.

Возле дома Шевченко остановилась в нерешительности: окна квартиры плотно закрыты ставнями, это было необычно. Я сразу почувствовала: Ольги нет, а квартира пуста и опасна. Все же тихо постучала. Молчание… Подождала и стукнула еще раз. Молчание… Я стояла и думала… Нет, во двор не стоит идти, надо скорей уходить отсюда. Вдруг из-за дома Ольги вышел человек в тулупе. Он так и вышел с повернутой в мою сторону головой и, не спуская с меня пристального взгляда, стал медленной походкой переходить улицу, пока не скрылся за углом противоположного дома.

Я быстро пошла прочь той же дорогой, вслед за человеком в тулупе. Но где он, куда девался? Будто сквозь землю провалился. Тревожила мысль: не следит ли кто, не идет ли по моим пятам? Я оборачивалась, но никого подозрительного не заметила. Значит, в гестапо узнали об Ольге и она бежала в лес? В квартире, наверное, засада, так всегда бывает. Но почему же меня не схватили? Ведь сама полезла в лапы к зверю! Какое-то чудо, редкое везение. Наверное, спас меня ранний час, гестаповцы дрыхли и не слышали стука. У них все по часам, даже аресты… Так думала я, но так ли думали гестаповцы?

На другой день перед самым открытием столовой ко мне подошла Мура и сказала:

— Тебя спрашивает какой-то молодой человек, он в зале.

Я вышла, и увидела худенького, бледного блондина лет двадцати.

— Вы Мельник? — спросил он.

— Да.

— Пойдемте туда, — тихо сказал он, и мы вышли в боковой зал, где никого не было.

— Вот записка от Сергея, он и Ольга ушли в лес, перед уходом Сергей просил меня передать вам эту за писку.

Сергей писал: «Ольга ушла, я тоже ухожу, к нам не приходи, если можешь, помоги чем-нибудь Жоржу, он туберкулезный».

— Сергей просил передать на словах, — сказал Жорж, — чтобы вы ни в коем случае не только близко не подходили к их квартире, но даже не появлялись в том районе. За ними приходили из гестапо, но опоздали. По всей вероятности, в квартире засада…

А я вчера была там, на счастье, не зашла во двор и благополучно унесла ноги…

— Нет, нет, ни в коем случае не показывайтесь даже в этом районе, — еще раз повторил Жорж.

Он говорил, слегка заикаясь.

— Связь будете держать со мной, я должен ее наладить с лесом, получить инструкции и дать вам задания.

— Хорошо.

Я вынула из сумки сто рублей и протянула Жоржу со словами:

— Сергей просит вам помогать, считаю это своим долгом. Вот пока сто рублей, сейчас у меня больше нет.

— Садитесь, я накормлю вас обедом, и приходите каждый день.

Деньги Жорж взял, но от обеда отказался.

— Приходить сюда обедать я не могу, в вашей столовой меня кое-кто знает, это небезопасно, да и вообще мне надо избегать людных мест. В следующий раз я вызову вас во двор или к воротам, а сюда не стану заходить.

— А кто вас знает? — спросила я.

— Официантка Катя, я жил у нее во дворе.

Жорж ушел, оставив меня в радостном настроении.

Я опять почувствовала под ногами твердую почву. Остаться без связи — все равно, что в море кораблю «без руля и без ветрил». Просьбу Сергея помогать Жоржу я расценивала, как указание подпольной организации. Отрывая от семьи, давала Жоржу деньги, покупала в буфете батоны, хлеб, папиросы. Но он приходил редко и как-то мало интересовался моей скудной помощью.

Однажды я пригласила его к себе домой обедать. Жорж пришел точно в назначенное время. Разговорились. Он рассказал, что вместе с матерью был арестован гестапо. Их жестоко пытали, жгли раскаленным железом.

— У меня вся спина в страшных рубцах.

Жорж вскочил и стал расстегивать ворот рубашки, но я остановила:

— Не надо, я верю.

С тех пор я стал заикаться, — продолжал он. — Мать не

выдержала пыток и умерла. Меня выпустили, не было улик, а я ничего не сказал. Раньше я жил в одном дворе с вашей официанткой Катей, но теперь скрываюсь от гестапо, ночую в разных местах. Я радист. Последнюю ночь провел в сарае, работал на рации по заданию леса. Промерз до костей. Представьте себе, каково в этот мороз и метель в пустом, заброшенном сарае!

Я предложила Жоржу ночевать у нас.

— Сегодня не могу, — ответил он, — но учту на будущее.

Когда Жорж ушел, мы с мамой его пожалели: бедный мальчик, такой худенький, туберкулезный, видно, очень нервный. А вот оказался стойким, вынес пытки и не признался. Потерял мать, замученную гестапо. Не удивительно, что стал заикаться.

Как я уже говорила, Жорж приходил редко, и каждый раз я спрашивала его:

— А для меня есть задание?

Но он отвечал:

— Потерпите, никак не могу наладить связь с лесом, но не беспокойтесь, скоро получите задание.

На центральных улицах города расклеивали плакаты с изображением Крыма, на котором были нарисованы шеренги вооруженных солдат с пушками и другим оружием — как символ неприступности немецких укреплений. Надпись убеждала крестьян спокойно заниматься сельским хозяйством, пахать и сеять, так как Крым, де немцы не отдадут. Наша пропаганда советовала делать то же самое, но по другой причине. Мы знали: что посеют при немцах — пожнут уже после освобождения. Клеили плакаты на высоте поднятых рук, густо смазывая клейстером всю оборотную сторону. Вот этот плакат в последний свой приход Жорж предложил мне сорвать и передать ему.

— Для чего? — удивилась я такому странному заданию.

— Приказано передать в лес, — сказал Жорж.

Я не стала задумываться над этим: ведь передают же в лес фашистскую литературу, значит, надо. Всякое слово организации — для меня закон. Но дело оказалось нелегким. Плакаты расклеены только в центре города, и попытка сорвать какой-то из них не увенчалась успехом. Клей оказался крепким, и плакат рвался на куски.

Я уже знала о связи Муры с печатниками и решила обратиться к ней. Мура охотно согласилась помочь. На другой день она сообщила:

— Плакатов больше нет. Но там удивились: странное задание! Имей в виду: все, что печатается в типографии, отправляется в лес непосредственно из типографии. Таких

плакатов можно было послать двадцать штук, зачем же срывать со стен? А что это за молодой человек, ты его хорошо знаешь? — спросила Мура.

Этот простой вопрос меня ошеломил.

— Нет, конечно!

— Как ты могла поступить так легкомысленно?! — воскликнула Мура. — А тебе не пришло в голову, что Сергей арестован гестапо, а вовсе не ушел в лес, и записка подложная?

Но, Мурочка, дорогая, кроме Ольги и Сергея, меня больше никто не знает, а я в них совершенно уверена. Откуда же Жорж мог узнать о моем существовании?

— Ты говоришь, он боится заходить в столовую? Я расспрошу Катю о нем, — сказала Мура.

Через полчаса она подошла ко мне и зашептала:

— Твой Жорж — провокатор. Катя говорит, что он пьянствует и по ночам режется в карты…

Подобной характеристики было достаточно. Подпольщик не может так себя вести. Но оставалось сомнение: откуда Жорж мог узнать о моем существовании и связи с Сергеем и Ольгой? Целый день я ломала голову и вдруг к концу дня вспомнила: Жорж пришел на другой день после того, как я в последний раз ходила к Ольге. Все совершенно просто: он следил за мной до самой столовой и на следующий день явился с подложной запиской. Теперь сомнений больше не оставалось. Жорж — провокатор!

Что говорить, скверное было у меня настроение, когда я пришла домой.

— Знаешь, мама, кажется Жорж — провокатор, — и я рассказала о наших с Мурой подозрениях. Мама пришла в ужас.

— Но как же, ведь он перенес такие пытки в гестапо?

— Мог врать. А если действительно находился в гестапо, то еще вернее, что он провокатор. Ведь выпустили, не уничтожили! Для слабых духом это самый верный путь в провокаторы: купить жизнь ценой предательства. Хотя предатели жизни себе не купят, они получают лишь временную отсрочку.

— Как ты теперь поступишь? — спросила мама.

— Не подам вида, что его разгадала, и разыграю дурацкую комедию, скажу: «Жорж, вы ошиблись и приняли меня за какую-то другую женщину. Я не знаю Сергея, Ольги и ничего общего не имею с партизанами и лесом. Просто морочила вам голову из любопытства…» Он, конечно, не поверит, но буду стоять на своем.

Через несколько дней я решила подробнее расспросить Катю о Жорже. Сплела ложную историю своего знакомства с Жоржем, и выяснилось, что Катя до этого имела в виду другого молодого человека, живущего у них во дворе. Жоржа знает, но он недавно

куда-то переехал. Иногда приходит к соседям, которые пьют и играют в карты, но сам не пьет и не играет. У него действительно недавно умерла мать, но Катя не знает, от чего. По профессии радист, кажется, за что-то его арестовывали. По ее мнению, Жорж — скромный и тихий юноша.

У меня отлегло от сердца. Я даже сделала Муре выговор за опрометчивость:

— Надо прежде точно разузнать, о ком идет речь. Ты мне доставила немало тяжелых минут.

Теперь я успокоилась. Однако решила плакат не срывать и подождать прихода Жоржа. Но он почему-то не появлялся.

И вот в одну из ночей мы проснулись от настойчивого стука в дверь.

— Что это? — испуганно вскрикнула мама. — Кто это стучит?

Под окнами слышалось гудение невыключенного мотора легковой автомашины.

«Гестапо», — решила я, и вспомнился Жорж. Мы притихли в кроватях. Стук не прекращался, надо идти открывать дверь. Но как не хотелось вставать! Ну что поделаешь, не дожидаться же, когда двери взломают. Я встала, накинула платье, сказала маме, придавая голосу равнодушное выражение: «Лежи, я сейчас открою» — и пошла навстречу своей страшной судьбе.

— Кто здесь?

— Откройте! — послышался женский голос.

Я открыла. Впереди стояла женщина, за ее спиной немецкий офицер, а дальше солдаты.

— Здесь живет румынский офицер Коста? Что-то тяжелое внезапно свалилось с души.

— Нет, не здесь, во дворе за углом.

Все повернулись и стали сходить с крыльца, а я захлопнула дверь и облегченно вздохнула.

— Косту спрашивают, — объяснила я маме и с наслаждением нырнула в постель.

Мы обе молчали. Я сделала вид, что это меня не могло касаться. По всем законам медицины надо было провести бессонную ночь, но я в один миг заснула.

Около четырех часов утра нас снова разбудил стук в дверь. Опять под окном фыркал невыключенный мотор. Ну, теперь уж, наверное, за мной! И все повторяется: я медлю, отдаляю хоть на несколько секунд то страшное, что ждет меня за дверьми, что вышвырнет сейчас из теплой кровати и бросит в камеру пыток, а затем в могилу…

На этот раз мужской голос. Переводчицы нет, одни немецкие офицеры и солдаты.

— Румынский офицер Коста здесь живет?

Трудно и верить — опять не за мной! Я закрываю дверь и радуюсь: можно еще поспать в своей постели. Едва прикасаюсь к подушке, как засыпаю мертвым сном.

До войны я часто страдала бессонницей, а сейчас спала крепко, как никогда. К чему мучить себя мыслями о гестапо? Об этом не нужно думать. Сегодня жива — и ладно, а завтра посмотрим.

Но для нервной системы ничто не проходит бесследно.

С тех пор меня тревожил звук мотора машины, если она останавливалась под нашим окном. Тогда я быстро выскакивала во двор, пряталась и выжидала несколько минут.

Несчастье с Ольгой Петровной

С Ольгой Петровной Поморцевой произошло несчастье: ее арестовали и посадили в тюрьму. Она где-то раздобыла фальшивую справку об инвалидности и не работала, а торговала на улице папиросами. Ее обвиняли в том, что она якобы перекупала краденые на фабрике папиросы.

Я дружила с Ольгой Петровной и чувствовала ее безграничную преданность мне. Еще давно Ольга Петровна просила меня взять к себе ее сына Бориса, если с ней приключится беда, и после прихода наших отвезти его в Москву к ее сестре.

В связи с появлением Жоржа я теперь иногда думала, что могу не дождаться освобождения и погибнуть на самом его пороге. Под влиянием таких мыслей я и попросила однажды Ольгу Петровну в случае моего ареста оказать хотя бы маленькую поддержку моей матери и маленькому Жене. Ольга Петровна испугалась:

— Что случилось, почему вдруг вам пришло это в голову? — с волнением спросила она.

— Да не пойму, Ольга Петровна, с кем связалась, кажется, с провокатором.

Слово «провокатор» произвело на нее удручающее впечатление. Ольга Петровна знала моего Бориса, и мы часто беседовали о нем.

— Как будет счастлив ваш муж, когда найдет вас! — часто говорила она.

Я верила: мы с Борисом найдем друг друга. Он, может быть, думает, что я могла погибнуть, но верное сердце никогда не теряет надежды… И для нас снова засветит солнце и зацветут цветы!

Я часто представляла себе день освобождения: войска идут по улицам города, как на параде, а впереди мой Борис. Я выбегаю, бросаюсь на колени, целую след ног красноармейцев. Мое воображение рисует множество вариантов освобождения — и всегда мой Борис впереди. А ведь так, наверное, не будет! Бойцы придут запыленные, утомленные сражениями, и Бориса не окажется среди них: кто знает, на каком он фронте, ведь прошло почти два года войны! Но все равно, почему не помечтать? Выдержит ли сердце такое счастье, когда я увижу наши войска!

— И ваш муж, Ольга Петровна, вернется из плена, он жив, поверьте, я это чувствую.

Стараясь вдохнуть надежду в сердце Ольги Петровны, я действительно верила и не напрасно.

Но вот ко мне в столовую пришел Боря Поморцев и сказал:

— Маму арестовали.

Я его успокоила, приласкала, уверила в том, что разберутся и выпустят. После работы зашли к Поморцевым, забрали все ценные вещи и закрыли квартиру. Боря жил теперь у нас. Но как успокоить Ольгу Петровну, рассказать о Боре, ведь вся ее жизнь — в сыне.

Однажды мимо нашей столовой вели колонну заключенных, Иван Иванович стоял у окна и наблюдал. Вдруг он вскрикнул:

— Женя, скорей! Ведут твою знакомую — Ольгу Петровну.

Я бросилась в зал, столкнулась с Мурой и Катей, которые спешили сообщить мне то же самое. Я выскочила на улицу и побежала вдоль колонны по краю тротуара. Увидев Ольгу Петровну крикнула:

— Боря у меня! Не волнуйтесь, ему хорошо.

Ольга Петровна кивнула. Вдруг шальная мысль пришла мне в голову, я улучила момент и стрелой ворвалась в ряды заключенных. Никто из конвоиров не заметил этого моего «броска». Я пошла рядом с Ольгой Петровной, рассказывая ей о сыне, упрашивая не волноваться, не смотреть мрачно на будущее и верить в скорое освобождение. Но вот и тюрьма. Колонна остановилась. Открылись ворота. Надо удирать. Проследив за взглядом конвойных, я проворно выскочила из колонны и пошла по тротуару.

Появление Нюси

В конце марта совершенно неожиданно Юзефа Григорьевна привела ко мне Нюсю Овечкину. Это было для меня большой радостью: значит, снова связь и твердая почва под ногами. Нюся рассказала, как сожгли их деревню, как она вместе со всей семьей ушла в лес, сделалась партизанкой, воевала во время прочесов, защищая жителей деревень, ушедших в лес. Партизаны не успели переправить всех в глубь лесов, и многие попали в лапы к фашистам, в том числе попала и вся Нюсина семья. Нюся выполняла различные задания: подрывала телеграфные столбы, минировала железнодорожные пути и т. д. Но, глядя на нее сейчас, никто не мог бы сказать, что это партизанка. На Нюсе хорошее синее пальто, ботинки, белый платок.

— Очень тяжело было идти, — сказала Нюся, — снег по пояс, но майор приказал. Освобождение близко, надо иметь свежие разведданные и контакт с городом. Самое опасное входить в город: представляешь себе, одежда насквозь промокла и может вызвать подозрение. Хорошо, что моя двоюродная сестра живет на окраине, я прямо к ней и пришла.

Нюся спросила:

— Где нам с тобой побеседовать с глазу на глаз? У меня к тебе дело, но ты понимаешь, в таких делах даже матери не должны быть свидетелями.

Мы вышли в коридорчик.

— Меня прислал майор для восстановления связи и организации подпольной работы. Я подумала о тебе и Николае. Согласна работать?

— Конечно.

— А где Николай?

— Я теперь с ним редко вижусь, у него, кажется, есть своя группа в авторемонтных мастерских.

— Ты должна устроить мне с ним свидание.

— Хорошо.

— Можешь достать сведения о количестве войск, находящихся сейчас в Симферополе?

Я задумалась.

— Постараюсь.

— Кроме того, мне необходимо раздобыть много медикаментов — вот тебе деньги и список, достанешь?

— Думаю, что смогу.

Завтра к двенадцати часам дня я приду к тебе в столовую, а ты постарайся все сделать и устроить свидание с Николаем.

Утром я отпросилась у Ивана Ивановича. Сказала ему:

— Иван Иванович, мне нужно пойти по одному делу.

Он прекрасно понимал характер моего дела и должен был перед «Степкой» как-то оправдать мое отсутствие.

Прежде всего я зашла в аптеку на углу улицы Кирова (эту аптеку потом сожгли гитлеровцы) и потихоньку обратилась к фармацевту — знакомой нашего Володи по Севастополю. До самой своей смерти Володя посылал меня к ней за лекарствами. Но такое большое количество медикаментов разве не вызовет подозрений? Однако я решила рискнуть: ведь она, эта женщина, — севастопольская.

— Мне нужно много медикаментов, — сказала я и протянула фармацевту список.

Она не удивилась и, подумав, сказала:

— Приходите завтра утром, лекарства будут.

Оставив задаток, я пошла на Сергеевку. В мастерских узнала, что Николая куда-то послали по делу. Часа два ходила взад и вперед возле мастерских в ожидании Николая.

Напротив стояла немецкая часть. Моя одинокая фигура, маячившая на улице, обратила на себя внимание немцев, но модная прическа и накрашенные губы не могли вызвать подозрений: пришла, мол, на свидание и безнадежно ждет.

Николай не вернулся до конца рабочего дня. Вечером пошла к нему домой. Мы договорились о встрече с Нюсей на завтра. К концу дня Нюся зашла ко мне в столовую. За обедом, которым угостил Нюсю Иван Иванович, между обычными «маскировочными» фразами, я сообщила ей обо всем, что сегодня успела сделать. По моей просьбе Мура Артюхова сходила к своим друзьям, которые обещали собрать сведения о гитлеровских войсках, находящихся в Симферополе. Кстати сказать, их было в те дни мало.

На другой день в девять часов утра мы вместе с Нюсей пошли в аптеку. Все обошлось благополучно, но зачем мне понадобилось вести Нюсю в аптеку, до сих пор понять не могу. Чувствуя приближение освобождения, мы явно ослабили свою бдительность. Мало того: я высыпала перед Нюсей на стол ворох бумажных мешочков с ампулами — заказ майора. Она расстелила большой белый платок, сложила туда мешочки и связала узлом. Затем мы расстались. К четырем часам дня Нюся пришла в столовую со своей двоюродной сестрой, решившей уходить с ней в лес.

Мура достала обещанные сведения, я передала их Нюсе.

Из столовой пошли с Нюсей к Николаю. Он уже вернулся с

работы и поджидал нас. Николай рассказал о своей небольшой подпольной группе, занимавшейся вредительством.

— Мы делаем такой «ремонт» немецкой технике, что ей не поздоровится, — посмеивался он.

Николай, как всегда, рассуждал серьезно и обстоятельно. Нюся договорилась с ним о дальнейшей работе. Мне пришлось слушать, как она уверяла Николая.

— Я люблю работать только с мужчинами и терпеть не могу иметь дело с женщинами, хотя я сама женщина, — прибавила она.

Я усмехнулась, но промолчала, видимо, Нюся забыла о том, что и я женщина. Во всяком случае, она сама мне предложила с ней работать.

Покончив со всеми переговорами, Николай неожиданно набросился на меня с выговором:

— Я попрошу тебя, когда ты ко мне приходишь, не приобретать вида модницы. Ты меня поставила в ужасное положение перед друзьями, они мне говорят: «Тебя целых два часа поджидала какая-то немецкая фрау, ну и знакомства у тебя!»

— Вот и чудно. Ну скажи, кто мог подумать, что меня к тебе послали партизаны? По крайней мере, я совершенно спокойно промаячила эти два часа на виду у немцев.

Но Николай продолжал сердиться, очевидно, мой вид серьезно скомпрометировал его в глазах друзей.

Прощаясь со мной на третьи сутки своего пребывания в Симферополе, Нюся сообщила мне пароль и сказала:

— В следующий раз может вместо меня прийти кто-нибудь другой. Разговаривай с ним только в том случае, если он скажет пароль.

О Жорже я ей ничего не говорила, так как после свидания с ним, состоявшегося недавно, снова отбросила мысль о его провокаторской роли.

Черные тучи сгустились

Проходили дни… Нюся не появлялась, и от нее никто не приходил. Жорж тоже исчез. Но вот девятого апреля утром он снова явился. На этот раз он почему-то забыл о своей осторожности и вошел в столовую с главного входа, нисколько не смущаясь присутствия Кати и всех официантов. Он только попросил пройти с ним в соседний пустой зал. Я насторожилась.

— Вы согласны уходить в лес? — неожиданно спросил он.

— Почему уходить в лес? — ответила я вопросом.

— Близится час освобождения, есть приказ из штаба

партизан: всех подпольщиков вывести в лес для сохранения их жизни. Я получил такое задание и пришел спросить: согласны вы или нет?

— Конечно, согласна, раз есть такой приказ.

Жорж как будто повеселел.

— Тогда собирайтесь. Послезавтра в три часа дня я приду за вами. Возьмите с собой килограмм масла и две плитки шоколада.

— Зачем? — удивилась я.

— Нам придется далеко идти, надо иметь с собой питательные продукты, именно масло и шоколад, так распорядился штаб.

«Что за странный штаб, — подумала я, — который, спасая жизни подпольщиков, предлагает им покупать масло, стоившее 1800 рублей килограмм, и столь же дорогой шоколад? Откуда у подпольщиков такие деньги? Вот уже почти два года, как я не пробовала масла, тем более шоколада».

Но мыслей своих я Жоржу не высказала.

— До леса не больше тридцати километров, — сказала я, — для чего такие запасы на дорогу? Странное распоряжение!

Нам придется идти до места расположения нашего отряда не меньше семидесяти километров. Отряды находятся в разных местах: одни ближе, другие дальше, — ответил Жорж, — и потом вообще в пути все может случиться. А вашу мать и мальчика я отведу в сарабузские каменоломни.

— Моя мать не хочет уходить, она говорит: я слишком устала, пусть убивают на месте.

Но Жорж стоял на своем.

— Я ее сагитирую, это предоставьте мне. Мать и мальчика обязательно надо спрятать в каменоломнях. Итак, послезавтра в три часа дня я приду за вами, будьте готовы.

Жорж ушел. Я задумалась… Что-то не так. Семьдесят километров и масло с шоколадом. Это выглядит подозрительным.

Я отозвала в сторону Муру и рассказала ей о своем разговоре с Жоржем.

— Странно, — сказала и Мура, — очень странно. Партизанский штаб дал бы распоряжение всем подпольщикам, однако я не слышала о подобном приказе. Подожди, я сейчас узнаю…

Вскоре Мура вернулась и тихо сказала:

— Такого распоряжения не было и не может быть, все подпольщики остаются на местах, никого в лес не выводят. Так мне сказали. Твой Жорж провокатор!

Да я и сама уже в этом не сомневалась. Но что же делать? Ведь по опыту знаю: без партизанского проводника в лес не

уйдешь. Я подумала о Николае — это единственная надежда, если у него есть связь, он поможет мне спастись. Но действовать надо немедленно: Жорж, видно, решил закончить комедию.

Мура снова пошла куда-то и, вернувшись, сообщила:

— Сейчас тебя вывести в лес не могут, так как нет связного.

И снова я задумалась над вопросом: почему меня не схватили сразу, когда я стучала к Ольге? Зачем понадобилась игра с Жоржем в кошки-мышки? Что я представляла собой для гестапо? — рассуждала я. — Мелочь, оставшуюся без связи и руководства. Но все же это — кончик нитки, за который можно было вытянуть более крупных подпольщиков. Гестаповцы держали меня как приманку. Уничтожить всегда успеют. Организация разгромлена, многие замучены в гестапо, но руководители бежали в лес, и кто-нибудь из них вернется обратно для восстановления организации. Начнут снова сколачивать подпольные группы, и такие осколки, как я, оставшиеся вне подозрений, несомненно, составят их основу. Гестаповцы тоже это понимают.

И действительно, за четыре дня до освобождения Сергей Шевченко был прислан из леса в город для замены Козлова и организации нового подполья, но связаться со мной еще не успел.

Во всех этих размышлениях оставалось одно главное неизвестное: писал ли Сергей записку? Однако Жорж явно лжет, думала я сейчас, а подпольщик лгать не станет. Жорж провокатор.

Едва дождавшись вечера, я пошла к Николаю. Выслушав меня, он сурово сказал:

— Нет никаких сомнений: ты связалась с провокатором. Почему не пришла и не рассказала мне обо всем раньше?

Потому что я не была уверена и только сегодня окончательно убедилась.

— Все ясно с начала до конца, — сказал Николай, — тебя проследили, когда ты последний раз приходила к Ольге. Записка, конечно, подложная, ведь почерка Сергея ты не знаешь, сама признаешь это. А сейчас ты не подумала о слежке, может быть, привела к моему дому шпиона. Ты очень легкомысленно поступаешь, — выговаривал мне Николай, — надо всегда смотреть, не следит ли кто за тобой.

— Ты прав, Николай, я виновата… Но ждать больше нельзя, надо действовать немедленно. — В лес я тебя и твоих родных переправлю, у меня есть связь. Завтра в четыре часа дня жди меня в столовой, я приду прямо после работы и тогда скажу точно. Завтра же переправят, может быть, даже машина зайдет за тобой ночью.

Шла я домой с тяжелым сердцем. Жорж дает мне пожить еще два дня, но кто знает, не придут ли сегодня за мной из гестапо. Мысли о матери и мальчике, которых я потащу за собой в фашистские застенки, терзали меня. Выдержит ли рассудок, если возьмут их вместе со мной, начнут пытать на моих глазах? А я сама вынесу пытки? Вдруг не смогу и предам? Нет, нет, прочь такие мысли! Умереть, сознавая себя предателем, которого люди никогда не простят… Будет проклято имя предателя не только теми, кого он предал, но и каждым честным человеком. А самое главное — ты сама до последнего вздоха станешь проклинать и презирать себя, как омерзительную гадину. Знай: никто не склонит голову у твоей могилы, но постарается обойти ее подальше и скажет: «Собаке — собачья смерть». А если бы даже тебе враги подарили жизнь, разве можно жить, ненавидя себя — убийцу друзей, обманувшую их доверие! Надо все выдержать и не открывать рта.

Погруженная в тяжелые размышления, не заметила, как дошла почти до самого дома. Низкие черные тучи заволакивали небо, закрыли солнце. Мрачный вид неба соответствовал моему душевному состоянию. Но вот луч солнца внезапно прорезал густую завесу туч. Я загадала: если солнце выглянет, значит, все обойдется хорошо. Я шла и смотрела с надеждой на небо, будто там решалась моя судьба. И вот на миг из-за туч выглянуло радостное солнышко, облило небо и землю золотом лучей. Затем снова черные тучи сомкнулись. Так и сердце мое засветилось надеждой, но опасения ее заглушили…

Придя домой, я обо всем рассказала маме, теперь скрывать было нечего.

— Мама, Жорж оказался провокатором, мы должны уходить в лес.

— Ты уходи, а я никуда не пойду, будь что будет.

Я понимала: мама натерпелась многого на старости лет, ее в ужас приводит перспектива снова потерять крышу над головой и отправиться бродить по лесу. Но она не осознала и грозящей теперь опасности. Я не стала маму уговаривать. Это бесполезно, и кто знает, арестуют ли их вместе со мной, или оставят в покое. Мы легли спать, как обычно, и я быстро заснула.

Утром проснулась с мыслью: сегодня ночью за мной не пришли, но могут прийти каждую минуту, во всяком случае жить мне осталось не больше, чем до трех часов завтрашнего дня.

В этот день в столовой я молчала и работала, как автомат: ждала четырех часов.

Но пробило четыре, пять… а Николая все нет. Работа окончена, надо уходить домой, Николай так и не пришел.

Странно, не мог же он меня обмануть? Теперь погиб последний проблеск надежды.

Придя домой, я села возле печки и просидела весь вечер, не шевелясь. Давили мысли: зачем бездействуешь, ведь можно еще спастись. Но кто знает, когда придет освобождение? В лес уйти — связи нет. Значит, скрываться в городе? А если придут и заберут мать и Женю? Я чувствовала себя мухой, запутавшейся в паутине мыслей. Даст ли Жорж пожить еще и эту ночь или нет?

Думала я и о Борисе, о своих мечтах и близкой встрече с ним, которая может никогда не состояться.

Второй вечер тяжелое молчание царило в комнате. Я прекрасно понимала, что и маме не легче. Так прошло несколько часов. Я все ломала голову: арестуют сегодня ночью или завтра до трех часов дня? Потом решила: лягу спать, по крайней мере уйду от тяжелых мыслей… Пока не разбудит гестапо.

Утром, как только открыла глаза, подумала: значит, сегодня до трех часов дня… Однако умылась, причесалась, напилась чаю и пошла в столовую. Это было 11 апреля 1944 года.

Начало конца

Итак, это было 11 апреля. Часов около десяти утра мы увидели в окно необычайное зрелище: по улице шли толпы людей в рваной, грязной одежде. Все бросились к окнам, а потом на улицу. Что такое происходит, откуда народ? Оказывается, гитлеровцы выпустили из тюрем всех уголовных заключенных и массу крестьян, ушедших в лес и захваченных при прочесах.

— Немцы бегут! — летела по городу весть. — Перекоп прорван, наши наступают!

Вдруг в столовую вошла Ольга Петровна.

Я бросилась к ней, и мы расцеловались. Служащие окружили ее. Иван Иванович повел Ольгу Петровну на кухню и стал угощать.

Лица у всех засветились радостью, настроение стало приподнятым. Я сразу забыла о Жорже, о гестапо, с меня будто свалили камень огромной тяжести.

Растроганная Ольга Петровна пыталась есть, но не могла, чем огорчила Ивана Ивановича. Какие-то мысли ее тяготили. Наконец, она рассказала: в эту ночь вывезли и расстреляли без разбора всех политических. До рассвета была слышна возня в тюрьме, урчанье моторов отходящих и приходящих машин, все ждали своей очереди..

Долго не задерживаясь, Ольга Петровна ушла ко мне домой за Борей.

Сразу же на базаре стали все продавать за советские деньги. Немецкие марки не брали. Магазины закрылись, торговал лишь один возле нашей столовой, хозяин его продавал свой товар на немецкие марки. За полчаса все раскупили, и торговец пришел в столовую пить водку. Я его спросила:

— Почему вы торговали на марки, когда никто их уже не берет? Интересно, сколько мешков немецких марок вы собрали?

Он с раздражением ответил:

— Дураки думают, что русские прорвали Перекоп. Такие укрепления и через шесть месяцев не возьмут. Я меняю русские деньги на немецкие марки и не боюсь, они не пропадут.

— Так, может быть, и мне обменяете? У меня, правда, мало марок, но зачем им пропадать? Обменяйте, пожалуйста, пусть лучше лежат у вас в мешках.

Желчь еще больше разлилась у торгаша, и он закричал:

— Значит, и вы ждете большевиков? Не обменяю, принципиально не обменяю!

Я залилась веселым смехом, чем окончательно испортила ему настроение. Он выпил еще стакан водки и, чертыхаясь по адресу тех, кто ждет большевиков, вышел из столовой.

Пришел господин Нагорный — начальник отдела питания горуправы. Столовую решили закрывать и оставшиеся продукты, которых было немного, разделить между сотрудниками. Сейчас грозный начальник напоминал трусливую собачонку с поджатым хвостом. Чтобы сохранить имущество столовой и передать его нашим властям, официанты и повара решили, составив списки, разобрать все по рукам. Услышав такие речи, Нагорный залепетал:

— Да, да, это наш долг… Мы должны…

Куда девались его надменный вид, генеральский голос и твердая поступь? Ну точь-в-точь пес, облитый ушатом ледяной воды, мокрый, дрожащий, испуганный. Со «Степкой» тоже произошла метаморфоза: теперь на его голове вместо фетровой шляпы лежала блином помятая кепочка, вместо кожаного пальто была надета какая-то кургузая невзрачная курточка. Красное, ожиревшее лицо «Степки» старалось приобрести нежное и доброе выражение. Он все время заходил на кухню, панибратски похлопывал по плечам поваров. Но самое главное — куда исчез его громовой голос! Кажется, никогда он и не кричал на нас, как помещик на крепостных. Иван Иванович посмеивался и подмигивал мне:

— Видишь, гады маскируются. Подожди, я их выведу на чистую воду!

Когда дело дошло до дележки продуктов, «Степка» все же

взял свою долю. А господин начальник, не умея скрыть охватившей его тревоги, отказался:

— Нет, нет, я не возьму эту колбасу! Мне ничего не надо, пусть потом никто не скажет, что я брал.

Казалось, он сейчас упадет на колени, начнет бить себя в грудь и со слезами в голосе уверять: «Я человек советский, я всегда был таким… Честное слово, поверьте…»

Его поведение вызывало презрительные улыбки и мысли: «Поздно спохватился, голубчик! Рассчитываешь этим кругом колбасы себя застраховать? Не выйдет!».

Столовую закрыли, и все разошлись. Дома я застала Ольгу Петровну. За последнее время Боря ко мне очень привязался, а любовь Ольги Петровны еще больше возросла. Я с уверенностью могла сказать: какое бы несчастье ни постигло меня, она первая бросится на помощь и сделает все, что только сможет.

Вечером этого дня немецкие и румынские войска стали отступать на Севастополь. Среди румынских солдат царила паника: большинство из них хотело остаться в Симферополе и сдаться в плен Красной Армии, но за ними следили румынские и немецкие жандармы. Некоторые проектировали перестрелять по дороге на Севастополь свое начальство, разделаться с жандармерией и вернуться обратно.

С утра следующего дня я пошла смотреть, что делается в городе: кое-где громили склады, люди тащили продовольствие. Гитлеровцев встречалось мало — одни лишь специальные отряды, которые носились на машинах по улицам, минируя город. Занятые своим черным делом, они ни на что не обращали внимания.

Не скрою, и у меня появилась мыслишка: не пополнить ли скудные запасы продовольствия? Но тут же я посмотрела на себя со стороны: подпольщица в роли грабительницы! Нет, мы должны показывать пример во всем.

Домой я пришла около двух часов дня. В три часа в городе начались первые взрывы. Что же нам делать? Может быть, попытаться разминировать здания? Но как это делается? Я ведь не имела никакого представления о минах, о том, где их искать, как обезвреживать…

Ходила из угла в угол по комнате, с тревогой прислушиваясь к взрывам, которые все учащались. Вышла на крыльцо. Везде горит, небо заволокло дымом, впечатление такое, словно весь город объят пламенем.

Наступила ночь. Никто не ложился спать. К звукам взрывов присоединились звуки орудийной стрельбы. Снаряды с шипением

проносились по небу и взрывались где-то в стороне Бахчисарая, догоняя отступающих гитлеровцев. Около двух часов ночи к нам в дверь постучала соседка.

— Кажется, скоро и до нас дойдет очередь, — сказала она испуганно.

Действительно, взрывы уже раздавались на нашей улице, пришлось открыть окна, так как стекла звенели и казалось, вот-вот вылетят. Но в три часа ночи внезапно все затихло.

Когда наступило утро, я снова пошла посмотреть, что делается в городе. Улицы опустели, нигде ни души, горят многие дома, клубится черный дым. Зашла к Нате. Перед ее окнами полыхал бывший студенческий городок и теперь уже бывшее гестапо. Гитлеровцы решили уничтожить следы своих страшных преступлений. Языки огня, тучи дыма возносились к небу, сжигая камеры пыток и смерти.

— Как хорошо, что ты пришла, — встретила меня Ната, — мне необходимо тебя видеть. Перед своим уходом на Севастополь Густав забежал ко мне и сказал: «Передай русским: немцы зарыли что-то на площади, где стояли наши автомашины, кажется, мины. Скажи русским, чтобы они не наехали на это место. Ближайшие дома мы разминировали. Был целый скандал: приехали немецкие каратели, надавали нам по морде и снова заминировали, но, когда они уехали, мы все же успели разминировать дома. А площадь не успели, уходим».

— Хорошо, Ната. Спасибо тебе и Густаву. Как только в городе появится власть, я пойду и расскажу.

Затем я спустилась с горы к центру города. Почти весь базар в пламени. За базаром горят склады. Вдруг я увидела людей — они тащили мешки с пшеном из уцелевшего склада. На мостовой, как песок, рассыпано пшено. Я прошла дальше по улице Гоголя и вышла на Пушкинскую. Внезапно из-за угла со стороны вокзала выехало человек пятьдесят немцев на велосипедах. Они в нерешительности остановились, затем один из них подъехал к складу и спросил:

— Немцы есть в городе или нет?

Но испуганные люди стали разбегаться. Я тоже решила скрыться от этих последних вооруженных гитлеровцев, которых мне, наверное, больше никогда не придется видеть. Свернув в боковую улицу, пошла быстрее и вдруг увидела первого партизана: молодого парня с красной ленточкой на шапке. Я бросилась в ту сторону, откуда он шел, и, увидев еще несколько партизан, спросила:

— Где партизанский штаб?

— На Кантарной! — на ходу крикнул один из них.

Я помчалась на Кантарную улицу и вскоре увидела: возле ворот одного дома шумела толпа партизан — в разномастной одежде и головных уборах с прикрепленными к ним кусочками красной материи. У ворот стоял часовой, который хотел меня остановить, но, услышав, что я подпольщица и желаю предоставить себя в распоряжение штаба, беспрепятственно пропустил.

Худой, бледный мужчина распоряжался во дворе, он был, очевидно, главным начальником.

Я подошла к нему и передала все, о чем рассказала Ната.

— Надо там поставить пост до прихода частей Красной Армии, — сказал он. — Я вам дам одного партизана, станьте на пост и ни в коем случае не оставляйте его!

Он подозвал крепкого светловолосого парня лет двадцати пяти, объяснил ему задачу.

Не успели мы выйти на улицу, как раздались звуки перестрелки: партизаны обезвреживали гитлеровцев, засевших в одном из домов.

Мы заняли свой пост у Наты на крыльце. Через несколько часов нам захотелось есть, но у Наты, кроме хлеба, ничего не было.

— Я пойду домой и принесу немного крупы, Ната сварит кашу, — предложила я, — а вы, Сережа, пока постойте.

Сережа очень проголодался, но его почему-то встревожило мое предложение, и он не хотел меня отпускать.

— Зачем такое недоверие, Сережа, — сказала я, — все еще опасаетесь провокаторов? Им уже не до нас, они сейчас заняты маскировкой под красных и дрожат за свои «драгоценные» шкуры.

Я ушла и, как нарочно, тут же получила наглядное подтверждение своих слов.

На Нижне-Госпитальной улице мне повстречался господин Нагорный: он мчался куда-то с винтовкой наперевес, на фуражке его красовалась партизанская эмблема — кусочек красной материи. В стремительном беге ноги его не поспевали за туловищем. Очевидно, так мчатся в атаку на врага, но где же враг?

Я остановилась и глянула в ту сторону, куда неслось живое олицетворение возмездия. Нигде никого, улица просматривалась далеко и была абсолютно пустынна. Тогда я решила: это «партизан» Нагорный преследует своего двойника — гитлеровского приспешника Нагорного. «Тьфу, сатана, чтоб ты провалился. Ну и ну!» — сказала я и пошла своей дорогой.

Мы пообедали на крыльце, Ната угостила нас сухим вином, которое раздобыла в немецком складе. Я пила его с хлебом. Хоть

на посту пить не полагалось, но мы выпили — за освобождение Крыма..

Освобождение!

К вечеру послышался скрежет танковых гусениц и гудение моторов. От прохожих узнали, что в город входят части Красной Армии. Мы прыгали на месте, будто стояли босиком на раскаленных плитах тротуара. Где вы, мечты! В город входит Красная Армия, а мы не можем броситься навстречу! Мы на горе, в стороне от центра, а там по улицам идут, идут наши герои-освободители! Они идут, идут, гремят мостовые. Хоть бы кто-нибудь зашел сюда, но нет, не сворачивают в нашу сторону. Возле нас полыхает в ночном небе оранжевое пламя, не утихая, пылает гестапо! А мы стоим, словно пригвожденные к посту. Надо охранять площадь, которая так хороша для стоянки автомашин. Ведь не дай бог, если заедет и взорвется наша машина, здесь, на коварно закопанных минах. Мы не смеем уйти.

Так простояли, вернее пропрыгали вокруг площади, до утра. Но что же делать дальше? Я оставила Сергея на посту и пошла в партизанский штаб на Кантарную.

Тот же начальник сказал:

— Идите на Пушкинскую улицу. Найдите штаб войск или комендатуру и скажите, пусть пришлют минеров.

На Пушкинской, в доме № 3, я нашла минеров. Обратилась к лейтенанту и рассказала, в чем дело. Лейтенант был очень серьезен и, видимо, утомлен. Он дал мне двух минеров со щупами, которых я повела к нашей площади. Весь город был наводнен минерами, проверявшими каждый дом. Много у них работы!

Когда пришли на площадь, я отпустила Сергея в партизанский штаб, а сама вернулась к минерам и стала с интересом наблюдать за тем, как они осторожно разгребают землю. «Вдруг нечаянно зацепят за мину и она взорвется, — подумала я, — тогда меня убьет наверное, лучше отойти. Но прежде всего убьет минеров, а вот они не боятся». И я осталась на месте.

Минеры докопались до каких-то ящиков. Оказалось, что в них обыкновенные ружейные патроны. Откопали восемь ящиков, оттащили их в сторону и закончили работу.

— А мины? — спросила я.

— Мин нет, — ответили они.

— Нет?

Я была даже разочарована: из-за ящиков с обыкновенными

патронами мы стояли на посту, волновались!..

Когда я собиралась уходить от Наты, вернулся Сережа. Мы дошли с ним до угла улицы Субхи и расстались. Сережа вступал в ряды Красной Армии и отправлялся к Севастополю. Я даже не знаю его фамилии, забыла черты его лица. Но воспоминание о нашем дежурстве возле пылающего гестапо осталось в памяти навсегда.

К моему удивлению, мама впервые в жизни не была обеспокоена моим долгим отсутствием. Она понимала: я исполняю свой долг.

— Приходил Николай, — сообщила мама, — он спрашивал, где ты, жива ли. Он встретил Сергея Шевченко и спросил его о записке. Сергей записки не писал.

Я почувствовала, как холодею.

— Не писал? Значит, Жорж — провокатор!

Мне сделалось страшно, но тут же я вспомнила: нет уже гитлеровцев, гестапо и нечего больше бояться провокаторов. Все же неприятное чувство не сразу исчезло. А мама продолжала рассказывать. В тот день, когда Николай должен был в четыре часа пополудни прийти в столовую, немцы посадили на машины всех пленных из авторемонтных мастерских и повезли в Севастополь. Николай спрыгнул на ходу с машины и скрывался на чердаке у знакомых.

— Но где сейчас Николай, как его найти?

Он сказал, что идет на Пушкинскую, там расположился главный партизанский штаб.

Я помчалась на Пушкинскую. У здания, находившегося рядом с театром, стояла большая толпа народа. На мостовой я увидела Николая, подбежала к нему и, не стесняясь народа, обняла и поцеловала.

— Вот и дождались счастья, Николай!

— Дождались! — ответил он. — Я у тебя был, меня очень беспокоила твоя судьба.

— Мне мама говорила.

— Здесь в штабе Сергей Шевченко.

— А Ольга?

Сергей говорит: Ольга еще не пришла из лесу, но скоро придет.

— Пойдем поищем Сергея, — предложила я.

Мы пробились сквозь толпу к дверям штаба и попросили позвать Сергея. Вскоре Сергей вышел, мы отошли в сторону и стали беседовать.

— Как Ольга? — спросила я.

— Ольга с Галочкой прекрасно чувствовали себя в лесу.

Приходи к нам завтра, Ольга будет уже дома и обо всем подробно тебе расскажет.

В этот день, 14 апреля, я обошла всех знакомых. Была у Юзефы Григорьевны Юрковской и разделяла с ней ее нетерпение в ожидании прихода Вячеслава. Среди дня забежала домой поесть. Вдруг в дверь сильно постучали. В комнату, как вихрь, ворвалась Нюся Овечкина: в мужском костюме, в кубанке, с автоматом за плечами.

— Дай мне что-нибудь переодеть, — попросила она.

Просьба меня огорчила: я не могла ее исполнить.

— Милая Нюся! — я открыла шкаф и сказала: — Найдешь ли ты что-нибудь? Видишь — пусто? На мне одно платье, сшитое из подкладки. Ведь все до нитки сгорело в Севастополе.

— Ну, ладно, поищу в другом месте! А сейчас идем со мной к майору Валиулину, дашь ему отчет о своей работе. Он ждет тебя.

По дороге я осведомилась о судьбе Толи и Миши из Карасубазара и услышала ответ, подобный удару в сердце.

— Погибли в гестапо! — раздраженно сказала Нюся. — Сами виноваты, говорили им, предупреждали: пора уходить в лес, дальше оставаться опасно! А они все медлили — вот и дождались…

Мне больно стало от того, что Нюся говорит таким тоном об этих хороших людях, осуждая их за ошибку, стоившую им жизни. И мне не хотелось верить.

— Но, может быть, они не погибли? Может, находятся в каких-нибудь дальних германских лагерях, ведь есть такая вероятность? — пыталась я, вопреки здравому рассудку, сохранить хоть крошку надежды. Но Нюсю мои слова еще больше раздражали.

— Говорят тебе, что погибли в гестапо! Это точно известно, сами виноваты.

Нюся не любила сентиментов и нерешительность Толи и Миши считала слабостью, недостойной подпольщиков.

Мы подошли к дому на Пушкинской, где находился майор Валиулин. После разговора с ним пошли к Николаю. По пути Нюся рассказала мне обо всем пережитом. Здесь, в Симферополе, она нашла двух своих старших сыновей, которых приютили цыгане. Но самого младшего мальчика не было. Исчезли также мать и отчим. Впоследствии мать нашлась, а отчим не вернулся домой — умер в гитлеровском плену. Вдруг Нюсю остановила пожилая женщина.

— Нюся Овечкина, я расскажу вам, как погиб ваш маленький сын.

Я стояла рядом и слушала.

— Когда нас поймали в лесу, он подобрал валявшуюся гранату, и хотел бросить ее под машину. Немцы схватили мальчика, потащили к своему начальнику, избили, а потом тут же расстреляли…

Нюся застонала от страшной душевной боли. Она распрощалась с женщиной и быстро пошла вперед. Я шла рядом с ней и молчала. Нюся смотрела широко открытыми глазами поверх голов проходящих людей, крупные слезы скатывались по щекам, она их не замечала.

— Мой самый любимый, самый храбрый, мой дорогой! — стонала она. — Ведь ему всего шесть годочков!..

И в моем сердце закипела жгучая ненависть, и мне захотелось закричать на весь мир: «Да, запомните, враги советского народа: сыну партизанки Нюси Овечкиной, который хотел бросить гранату во вражескую машину, было всего шесть лет! Запомните и учтите!»

Николая не застали дома, хозяйка сказала, что он пошел в военкомат.

Целый день я ходила по городу, забывая про голод и усталость. Я любовалась видом советских офицеров и солдат, они сразу наводнили все улицы. По Севастопольской беспрерывным потоком ехали грузовики, наполненные солдатами, громыхали танки, двигались пушки, «Катюши». Меня поразил мощный вид нашей армии, механизированной в полном смысле слова. Да, за два года произошли большие изменения, бросавшиеся в глаза! Особенно восхитили самолеты — могучие стальные птицы, совсем непохожие на тех «ястребков», что защищали Севастополь. По небу проносились соединения по пятьдесят самолетов.

Гитлеровцы огрызались. **Они** бомбили Симферополь, войска, двигавшиеся по Севастопольской и Алуштинской улицам. Были жертвы.

Странно и необычно впервые за два года возвращаться домой поздно вечером. Я шла до предела утомленная, едва волоча ноги, но бодрая духом, охваченная радостью освобождения. Двери темницы моей раскрылись, я свободна! И эти ночи, и эти звезды, небо — все мое!

Придя домой, я не стала есть, хотя почти ничего не брала в рот за день. Мама, возмущенная и расстроенная, рассказала, что в маленьком переулке возле нас кто-то убил партизана. А днем на улице неизвестная пуля сразила в самое сердце полковника. Да, видно, немало еще скрытых врагов осталось здесь!

…Я открыла глаза. Будто внезапный толчок разбудил меня. Красная Армия пришла! — эта мысль заставила подскочить на

кровати. Воздух за окном синел, только начинался рассвет. Я стала быстро одеваться. Мама тоже поднялась. Наскоро выпив стакан чаю, я вышла на улицу. Уходя, сказала маме:

— Пускай к нам всех ночевать, если попросятся. Пусть двери будут открыты для наших.

Улицы пусты, город еще спал. Гулко раздавался частый стук моих каблуков, а мне казалось, что я совсем не касаюсь земли и, как птица на крыльях, лечу в синеватом воздухе. Завернув на улицу Кирова, я увидела грузовик, в кузове красноармейца средних лет, а на тротуаре нескольких прохожих. Я подбежала и тоже остановилась в немом восхищении глядя на солдата, который, деловито наливая в стаканчик вино и нагибаясь вниз, по очереди угощал мужчин. Затем достал из вещевого мешка хлеб, масло, колбасу, вытащил из кармана складной ножик, сделал несколько бутербродов и предложил закусить: «Кушайте, угощайтесь!». Все его движения были медленны, солидны и, казалось, говорили: вот как мы живем!

Я смотрела на солдата восхищенными глазами.

— Что смотришь, дочка? — спросил он.

— Любуюсь! — воскликнула я от всей души, и мне захотелось расцеловать по русскому обычаю этого чудесного человека. Жаль, он слишком высоко!

Я понеслась дальше все с тем же ощущением легкости во всем теле. Свернула на Советскую улицу, густо засаженную большими старыми каштанами. Мне захотелось промчаться по всей улице в бешеном танце. Я положительно сошла с ума от счастья, и только мысль о редких прохожих удержала меня, и все же я, как маленькая, слегка пританцовывала на каждом шагу.

Но вот и дом Ольги. Я влетела во двор, затем в двери и прямо в Ольгины объятия: поцелуям не было конца. Я попросила Ольгу рассказать об ее бегстве в лес и слушала молча, не перебивая. Ольга рассказывала:

— Я готовила обед, Галочка бегала по улице. Вдруг вошла соседка и сказала: «Я сейчас встретила мать Вострухина, гестаповцы допытывались у нее, где живут Сергей и Ольга Шевченко. Сейчас пошли искать вас по домам. Принимай меры!» — и соседка вышла.

Я посмотрела на часы — без четверти шесть. Через пятнадцать минут прекращается хождение по городу. Все равно не успею скрыться, патруль задержит. У меня опустились руки. «Все кончено», — подумала я. Но ведь гестаповцев нет еще на пороге! Отчего же я опускаю руки? Схватила кожанку Сергея, надела ее на себя, сбросила туфли, ноги сунула в валенки, открыла шкаф, обхватила руками все, что висело, рванула с

вешалки, побежала к соседке, бросила ей вещи на кровать и, не закрыв квартиры, выскочила за ворота. Взяла Галочку за руку, и мы быстро пошли. Хорошо, что зондерфюрер и его сожительница где-то кутили, они бы меня не выпустили!

На противоположной стороне улицы, на углу, у легковой гестаповской машины стояла женщина. Она мне показалась похожей на некую Людмилу: такой же рост и такая же короткая шубка, я однажды видела ее издалека. Людмила, как мне передавали, упорно и настойчиво искала встречи со мной, уверяя, будто хочет мне помогать в подпольной работе. Но я категорически отказалась: эта женщина не внушала мне доверия. На счастье, Людмила никогда меня не видела, иначе мне не удалось бы теперь пройти мимо.

Людмила была в свое время арестована гестапо, выпущена и снова арестована. Теперь стало понятно многое в ее поведении. После первого ареста ее освободили и дали задание проникнуть в подпольную организацию Козлова и раскрыть ее. Назначили определенный срок. Зная лишь одного подпольщика, она передавала через него все свои предложения и просьбы. По распоряжению Козлова, Людмилу трижды собирались вывести в лес, но она не шла. Ясно почему: в гестапо ее уже заставили кое-кого выдать, и появиться в лесу она боялась. Знакомства с подпольщиками Людмила так и не добилась, а когда кончился срок, данный гестапо, ее снова арестовали. А потом с помощью Людмилы, пользуясь некоторыми косвенными сведениями, добытыми ею, гестаповцы попытались «размотать клубок».

Людмила очень хотела поймать меня с Сергеем, — продолжала Ольга. — Она слышала наши имена, но не знала нашей фамилии и адреса, однако имела представление о районе, где мы живем. На вопросы гестаповцев, искавших нас, люди отвечали: «Не знаем, что за Ольга с Сергеем, если бы вы назвали фамилию…» Они, конечно, знали нас: мы всю жизнь здесь живем, — но не говорили…

Только в девять часов вечера гестаповцы набрели на нашу квартиру. Соседка, которой я отнесла вещи, успела их спрятать у своей знакомой. Но другая соседка оказалась настоящей предательницей, недаром я ей не доверяла. Она рассказала гестаповцам, как одеты я и Галочка: на девочке синее пальто и красная шапочка, а Ольга в кожанке, валенках и белом платке. Гестаповцы рылись в вещах, а она показывала на фотографии: «Вот Ольга, а вот Сергей, он работает в Сарабузе весовщиком в «Заготзерно». Людмила сказала: «Мне бы только поймать Ольгу, она связная горкома и всех знает».

Другая, хорошая, соседка молча слушала и наутро все

сообщила мне, она знала, где я укрылась. Ночью гестаповцы не поехали за Сергеем, решили, что он от них уже не уйдет. Но отец Сергея на рассвете отправился в Сарабуз, случайная машина его подвезла — и за двадцать минут до приезда гестаповцев Сергей успел скрыться в сарабузских каменоломнях. Через несколько дней ночью он ушел в Симферополь, откуда его переправили в лес.

— А как же тебе с Галочкой удалось уйти? — спросила я.

— Ты знаешь, — сказала Ольга, — были минуты, когда мне хотелось кричать. Представь мое положение: более тридцати подпольщиков собралось на Красной горке. Среди них Иван Андреевич Козлов, Лазарева, родные Косухина, ребята его молодежной группы и другие. Разведчики Женя Островская и Гриша Гузий специально присланы штабом партизан. Партизанский штаб ждет… А я одна задерживаю всех! Козлов дал приказ без меня не уходить, назначенное время приближается, ведь за ночь надо пройти открытую местность и достигнуть леса. Ко мне без конца шлют связных. Я сидела в конспиративной квартире Анны Трофимовны на улице Карла Либкнехта. Но, как ты думаешь, что мне делать, если говорят: на всех мостах стоят шпики в штатском с вашими фотографиями? Гестаповцы знают со слов предательницы, как мы с Галочкой одеты…

В конце концов я придумала, что делать. С помощью друзей добыла охапку дров — отходов строительства. Связала все эти щепки веревкой, переодела Галочку, отдала племяннику хозяйки квартиры кожанку, сама надела его ватник. Потом попросила Ваню — племянника хозяйки: «Посади Галку перед собой на велосипед, и потихоньку поезжай вперед, а я пойду одна».

Идем, а глаза прикованы к велосипеду, который всю дорогу не исчезал из поля зрения. На мостах действительно стояли шпики. Я шла не спеша, согнувшись под тяжестью вязанки, держа в руках сетку с продуктами. Платок я тоже сменила, а вместо валенок надела бурки с галошами.

По приказу Козлова кое-где на улицах были расставлены подпольщики. Когда я проходила мимо, они постепенно подтягивались вслед за мной. При виде меня с вязанкой дров они не могли удержаться от улыбок: «В лес идет с дровами!»

Я подошла к мосту через Малый Салгир — там стояли мужчина и женщина. Но я была переодета, несла вязанку. И потом они ждали женщину с девочкой. По мне скользнули безразличным взглядом. Но весь путь стоил мне огромного напряжения нервов!

Когда я зашла в дом, Иван Андреевич обнял меня и поцеловал.

Начали потихоньку выходить в поле. Шли гуськом, вели ребята Косухина, впереди шел его связной Павлик. К рассвету добрались до леса. Нас встретила первая партизанская застава. Ты думаешь, они дали отдохнуть? Нет, повели в горы, все выше и выше… По краям сугробы снега, а вместо тропинок ручьи. Снег уже таял, и вода была по щиколотку. Галка меня измучила: бурки у нее большие, поверх галош просачивалась вода; пришлось мне тащить дочку на плечах.

Нас передавали от заставы к заставе. Наконец, в час дня пришли в штаб. Руководители партизанского соединения Ямпольский, Луговой и другие командиры и партизаны встретили нас, как близких и родных. Самую нежную и трогательную заботу обо мне с Галкой проявлял Ямпольский, устроил нас в своем шалаше, ночью все подходил и поправлял спальный мешок и шубу, которой нас укрыл. Не знаю, когда он сам спал.

Еще не раз выли метели, наметало такие сугробы, что и не пройти. Я работала писарем в штабе отряда гражданского лагеря. Вот и вся история…

Ольга рассмеялась и добавила:

— Интересно получилось с моим соседом Отто — гестаповским зондерфюрером. Его из-за меня понизили в должности. Сказали: жил рядом и проморгал такую преступницу!

Отто, когда я сбежала, говорят, бесился и посылал свою сожительницу искать меня в соседних домах. Потом, напившись пьяным, бился головой о стенку и казнил себя: «Дурак я, — кричал, — а еще офицер гестапо, — русская баба обвела меня вокруг пальца!»

Затем наступила минута молчания. Я вспомнила о своих переживаниях, связанных с Жоржем, и при мысли о том, что все это теперь позади, сказала беспечным тоном:

— А я стучала к тебе в окошко, когда ты была в лесу…

Сказала — и вздрогнула от крика Ольги:

— Ты с ума сошла! В комнате дневал и ночевал гестаповец, и во дворе все время была засада!

Видимо, гестаповец крепко спал и не услышал моего стука, но ведь я всегда рано приходила. А впрочем… — и я рассказала обо всем.

Но Жорж исчез, и тайна осталась неразгаданной.

Наговорившись, я распрощалась с Ольгой и снова всласть нагулялась по городу. Домой, как и накануне, возвратилась поздно. Дома я застала гостей — постояльцев: капитана и его шофера. Теперь ежедневно у нас ночевали два, три, а то и четыре человека, и двери комнаты были открыты для тех кто нуждался в

ней. Постояльцы беспрерывно менялись, так как войска шли к Севастополю. Но первый квартирант — капитан, приезжавший часто по делам службы в Симферополь, обязательно останавливался у нас. Мы для него всегда находили место и устраивали удобную постель.

Первые шаги в новой жизни

Дня через три после освобождения, увидев на Пушкинской табличку с надписью «Полевая почта», я зашла и спросила: нельзя ли отправить запрос в Москву о муже и письма друзьям? Получив любезное разрешение, сейчас же отправилась домой и взялась за перо. Это было так необычно — после двух лет полной оторванности от жизни писать письма! Только тот, кто находился в подобном положении, может понять, что значит не иметь в течение двух лет никакой связи с внешним миром, не писать ни строчки и не получать ни одного письма.

Я сразу написала писем десять. С первых дней освобождения искала мужа. Увидев на улице моряка — будь то матрос, капитан или адмирал, — я подходила к нему с вопросом:

— Вы не знаете Мельника с 35-й морской береговой батареи города Севастополя?

Мама делала то же. Но никто не знал Мельника. Тогда я решила спрашивать о капитане Матушенко — знаменитом защитнике Севастополя. Очень скоро натолкнулась на моряка, ответившего утвердительно: да, он знал, но уже не капитана, а подполковника Матушенко, который сейчас командует дивизионом береговой обороны в городе Новороссийске. Я написала письмо подполковнику Матушенко. Затем пошла в морскую контрразведку и просила помочь мне найти мужа.

Вскоре друзья засыпали меня ответами. Как было радостно получать и вскрывать конверты, написанные знакомым почерком! Сколько искренней радости и горячих слов. Письма трогали до слез. Но о моем Борисе никто ничего не знал.

— Представь радость Бориса, — говорила я маме, — когда он узнает, что я жива и маленький Женя жив, и ты. Нет только нашего бедного папы, Борис ведь очень его любил!

Моя подруга Нина Белокурова писала мне: «Когда я увидела твой почерк на конверте, я закричала и подпрыгнула от радости. А потом бегала с письмом по Управлению гидрометслужбы и орала во все горло: «Женя жива! Женя жива!» Все наперебой читали твое письмо. Мы не поставили точки над тем, что ты погибла, и очень часто вспоминали тебя, думали о твоей судьбе. Когда пили вино, обязательно поднимали за тебя бокал — за

живую, не за упокой твоей души!»

Прошло две недели. Партизаны всех соединений давно собрались в Симферополе, а Вячеслава не было. Юзефа Григорьевна, Нюся Овечкина и я напрасно искали его среди них. Наконец, Юзефе Григорьевне удалось встретиться с командиром отряда, в рядах которого воевал Вячеслав. Увы! Радость наша омрачилась тяжелым известием: Вячеслав погиб в январе, во время прочеса леса.

— Он хорошо дрался, — сказал командир. — Когда меня ранило, взял командование на себя и отлично командовал. Мы защищали население, скрывшееся в лесу. Мне удалось установить, что Вячеслава Юрковского, раненного в обе ноги, товарищи принесли в лесной госпиталь. Затем госпиталь захватили гитлеровцы, раненых перестреляли из автоматов…

Юзефа Григорьевна стойко переносила горе, ни одного слова жалобы от нее не услышали. Только слезинки скатывались из ее глаз при имени Вячеслава.

Я ждала упрека, чувствуя себя причастной к гибели Вячеслава: ведь я больше всех будоражила его и настаивала на уходе в лес, однако сама не ушла и осталась жива. Но будто в ответ на мои мысли Юзефа Григорьевна сказала:

— Мой сын исполнил свой долг, и если ему суждено было погибнуть, то я счастлива видеть живыми его друзей. Пусть они вспоминают о нем!

В эти же дни я узнала и о судьбе доктора Гольденберга, дававшего мне справки о болезни. За три месяца до освобождения его расстреляли гестаповцы. Как проклинала я себя за прошлое молчание! Почему не убедила доктора уйти в лес к партизанам?

Я продолжала с рассвета и до позднего вечера носиться по городу. Счастье прямо-таки лихорадило меня.

Но вскоре появилась новая беда. Сердце, пригретое горячими лучами солнца Родины, начало постепенно оттаивать. Я стала особенно остро переживать чужое горе. Не могла смотреть пьес и кинофильмов, не переносила музыки — она терзала душу. Грустные мотивы напоминали о человеческих трагедиях, веселые — о погибших, которые никогда их больше не услышат… Я еще не вспоминала о личных невозвратных потерях, но резко реагировала на чужие беды, будто они были моими. Мне казалось, что все горе мира сосредоточено в моей душе. Эта болезнь продолжалась долго, выздоравливала я от нее медленно…

После первых ошеломляющих дней свободы передо мной встал вопрос: что делать дальше? Как найти свое место в жизни?

Я, как узник, выпущенный из тюрьмы, стояла на перекрестке

дорог, но по какой пойти? Ведь старых дорог нет, все надо начинать сначала. Погибли или рассеяны по свету родственники, друзья и знакомые, родной город стерт с лица земли. Меня охватила растерянность.

Долго я думала. И вдруг меня осенила мысль: ведь Управление гидрометслужбы Черноморского флота, конечно, скоро вернется в Севастополь. Поступлю на свое старое место старшего техника-гидролога и буду работать вместе с друзьями. С этого и начну. А пока займусь здесь каким-нибудь делом.

И вот я нашла себе общественную работу, которая укрепила почву под ногами и помогла сделать первые шаги в новой жизни.

Как-то мы с Ольгой зашли в только что организовавшуюся комиссию по делам подпольных организаций, в которой председательствовал Иван Андреевич Козлов. Я предложила Ивану Андреевичу свою помощь и попросила заданий. Он охотно согласился и поручил мне заняться обследованием квартир расстрелянных подпольщиков и составлением актов на оставшееся имущество. Теперь уже я колесила по городу не впустую, а занятая делом. Казалось бы хорошо, но новая работа стала тяжело отражаться на моих издерганных нервах. Посещая разграбленные, опустевшие квартиры расстрелянных подпольщиков, где в затхлом воздухе, казалось, еще носится дух гестапо, я чувствовала себя так, будто ядовитые испарения проникают в мозг и кровь.

Вот я зашла в квартиру Урадовых. Меня провела сюда подруга учительницы Виноградовой — соседки Урадовых, работавшей в подполье и расстрелянной вместе с ними. В комнате, как обычно, страшный хаос: мебель, вещи, книги — все перемешано. Начинаю разбираться в этих чужих вещах, ведь надо все переписать. В сущности, и переписывать нечего, ценное разграблено, остались тряпье да потертая мебель.

Старенькая швейная машина. На ней наперсток, в тряпочку воткнута иголка с обрывком нитки. Тот, кто жил здесь еще недавно, надевал этот наперсток на свой палец, шил этой иглой. Я держу в руках наперсток, долго смотрю на него. Попадаются поношенные ситцевые платья, они наводят на мысль о хозяйке, а вот недошитое пальто: ведь Урадов был портным. Я нахожу альбом с фотографиями, рассматриваю карточки — на них запечатлена чья-то прошлая жизнь. Зову соседку и прошу показать фотографии Урадовых. Из-под кучи мусора она извлекает два больших портрета Урадовых — мужа и жены. Я долго всматриваюсь в их лица, а в это время соседка рассказывает историю их ареста.

— Вечером они пошли к знакомым, на другую сторону улицы.

Дома оставалась мать. Вдруг подъехала гестаповская машина, оттуда выскочили немцы, окружили дом и со всех сторон осветили яркими фонарями. Урадовы видели это из окна квартиры своих знакомых, выбежали во двор и спрятались в сарае. Может быть, их и не нашли бы, но мать — глупая старуха, с перепугу рассказала гестаповцам, что Урадовы находятся в доме напротив. Сейчас же окружили этом дом и нашли Урадовых. Забрали старуху-мать и учительницу Виноградову. После Виноградовой осталось двое маленьких детей, я решила их воспитывать…

Долго сидела я в глубокой задумчивости, вызывая в своем воображении живых Урадовых в страшные минуты их гибели. Мне казалось, что я вижу в окне яркие фонари, прорезающие тьму ночи, зловещие тени гестаповцев. Слышу топот бегущих к сараю ног… Распахиваются двери, сноп слепящего света!.. Все кончено!..

Окна комнаты, где я сижу, полузакрыты ставнями, кажется мне, что дух гестапо еще витает здесь. Я отдаю соседке старенькие платьица — пусть переделает для детей, немного кукурузы и гороха — весь продовольственный запас Урадовых. Себе беру на память об Урадовых небольшую карту Европы: война переходит туда. Урадовы следили по ней за фронтом, и я буду продолжать отмечать его линию, пока не будет взят Берлин.

Затем посещаю квартиру Волошиновых. Разгром здесь неимоверный: перевернутые кресла, книги, нотные тетради, различные вещи, обломки мебели — полы обеих комнат завалены ими будто тут происходил бой. Со стен свисают полусорванные эскизы и этюды. Мой взгляд приковала фотография молодой красивой женщины, снятой в профиль.

— Александра Андреевна Волошинова, — говорит соседка. — Дайте, пожалуйста, мне эту фотографию на память, мы с ней очень дружили.

— Берите, — отвечаю я тихим голосом, сдерживая слезы.

По книгам, картинам и этюдам, молчаливо стоящему в углу пианино можно судить, что люди, жившие здесь, любили музыку и живопись.

Много квартир посетила я и узнала много историй гибели подпольщиков.

В это же время работала комиссия по выявлению зверств, чинимых гитлеровцами. Из колодцев совхоза «Красный», из братских могил в «Дубках» и других местах извлекали полуразложившиеся трупы. Опознали многих подпольщиков. Их тела были истерзаны: с ужасными ранами, выжженными кислотой, сорванными ногтями…

Ольга — удивительная женщина с крепкими нервами и

никогда не изменявшим ей спокойствием — водила меня по домам своих знакомых подпольщиков, где стояли гробы, обитые красной материей. Поднимали крышку гроба, и Ольга долго, внимательно всматривалась в почерневшие лица, ища знакомые черты.

Работая в подполье, мы знали о гестапо и отлично понимали, что нас ждет, если попадем туда. Но только сейчас мы до конца продумали и прочувствовали весь ужас гестаповских застенков.

Покончив с обходом квартир подпольщиков, я стала помогать Ивану Андреевичу в другом: приводила в порядок различные списки, составляла краткое описание деятельности всех подпольщиков Симферополя.

В комиссию беспрерывно приходили люди с заявлениями о том, что они подпольщики. Действительно, оказалось немало различных подпольных групп, созданных советскими патриотами с первых дней немецкой оккупации Крыма, то есть с осени 1941 года. Группы строились по всем правилам конспирации, по цепочке: получая и выполняя задания, члены организации не знали друг друга и понятия не имели о том, кто ими руководит. Группы не теряли связь с партизанским штабом, и работа шла беспрерывно.

Еще обходя квартиры расстрелянных подпольщиков, я слышала от людей рассказы о некоторых группах, существовавших с первых дней оккупации, основной состав которых погиб в гестаповских застенках. Но погибших заменяли другие. Были организации хотя и сильно пострадавшие, но сохранившиеся с первых и до последних дней.

Но, кроме настоящих подпольщиков, являлась в комиссию и всякая шантрапа, повернувшая теперь нос по ветру, рассчитывавшая скрыть свои прошлые грехи.

Особенно мне запомнилась группа татар, поодиночке штурмовавших комиссию в течение целого дня. Каждый из них стремительно, с воинственным видом влетал в комнату и, захлебываясь, спешил сообщить: «Двенадцатого апреля я убил семь гитлеровцев и захватил грузовую автомашину». Дальше следовал рассказ о «геройстве». Казалось, все произошло не 12 апреля, а только что. Может быть, еще одиннадцатого утром эта погань пресмыкалась перед гитлеровцами, а двенадцатого — поймала одинокую отставшую машину и перебила своих вчерашних друзей. Надо же спасать свою шкуру!

Иван Андреевич быстро разбирался с такими «подпольщиками» и гнал их вон. Но немало оказалось скромных людей, которые действительно работали в организациях, много сделали для Родины, погубили свое здоровье, но не искали

всеобщего признания и не спешили «представлять доказательства». Не о славе они мечтали и не для славы работали!

В это время наши войска и техника продолжали подтягиваться к Севастополю, готовясь к штурму. 7 мая начался штурм. Беспрерывный гул стоял в воздухе. Стаи самолетов проносились в небе — одни в сторону Севастополя, другие обратно. Сколько их? Не сосчитаешь! Глядя на небо, жители Симферополя вспоминали о тучах немецко-фашистских самолетов, два года назад летевших бомбить Севастополь. Тогда сердца людей обливались кровью, а губы шептали: «Бедный Севастополь, несчастные защитники его!» Сейчас они говорили: «Кровь за кровь, смерть за смерть!» — и восхищались мощью своей армии.

9 мая Севастополь был взят штурмом. Но картина была не та, что два года назад: гитлеровцы осаждали Севастополь в течение восьми месяцев, а наши войска стояли под стенами города всего около месяца.

Рассказывали, что какой-то гитлеровский генерал, попавший в плен на мысе Херсонес, повторял одну и ту же фразу:

«Я ничего не могу понять, как могло это произойти? Укрепления, которые мы настроили здесь за два года, могут считаться неприступными. Почему же, почему же их так быстро взяли?»

Моя мстительная мечта не сбылась: не пришлось видеть, как наши загнали немцев на мыс Херсонес, сбрасывали в море.

Мне рассказывали, что некоторые гитлеровские офицеры, напившись пьяными, садились в легковые машины, давали полный газ — и летели с обрыва в море. Пришлось удерживать наших моряков, бывших военнопленных, чтобы они не пустили вслед за этими офицерами всех немцев, капитулировавших на мысе Херсонес.

Из Севастополя шли колонны пленных гитлеровцев. На Севастополь уходили краснощекие, здоровые, наглые вояки. Но сейчас… Бог ты мой! Неужели это они? По улице бесконечной вереницей шли не люди, а тени: худые, обросшие щетиной, с лицами землистого цвета. Некоторые тащили под руки своих товарищей. Видно, здорово досталось им под Севастополем.

Я и Ольга молча шли навстречу колонне военнопленных. Но почему мы молчали? Почему не злорадствовали: что, мол, получили возмездие? Нет. Мы молчали потому, что боялись признаться друг другу в чувствах, возникших внезапно. Не помню, кто первый из нас смущенно произнес: «Знаешь, я не могу их таких ненавидеть…»

Вот русская душа! Еще вчера мы ненавидели жгуче, Непримиримо, жаждали крови, мести… Но «лежачего не бьют». Никто из жителей не бросался бить пленных, не плевал им в лицо, не сводил с ними счетов. Да, мы лежачих не бьем! Пусть разберется суд…

Зайдя однажды в столовую, я была ошеломлена радостной вестью, которую все спешили мне сообщить: Борис нашелся!

— Приходила ваша мама, — сказала буфетчица Мария Васильевна, — она плакала от счастья. В группе моряков, к которым она подошла, оказался капитан, служивший с вашим мужем в одной части. Ваш муж жив, здоров, теперь уже лейтенант. За Севастополь получил орден Красного Знамени. Он воевал на Кавказе, у подступов к Новороссийску, и сейчас в дивизионе береговой обороны подполковника Матушенко, находится в Геленджике, на батарее. Бегите скорей домой, мама все вам расскажет!

Я немедленно помчалась.

— Слава богу, Борис нашелся! — встретила меня мама, сияя от счастья.

В тот же день я побежала к Ольге, чтобы поделиться радостью. К ней зашел партизан, с которым она познакомилась в лесу. Цветущий, красивый парень — звали его Марк — был представителем особого отдела партизанского соединения. Разговорившись, я рассказала ему о Севастополе и батарее.

— Почему же вы не эвакуировались? — спросил Марк.

— Не смогла. Досидела до последних дней, не сумела сесть на катер и осталась на взорванной батарее.

— Не хотели, значит. Если бы захотели, то эвакуировались. Вот теперь будем таких судить, — серьезно сказал Марк.

Я взорвалась. Марк рассмеялся, а потом вдруг сделался опять серьезным.

— У меня как-то провинились два краснофлотца, — сказал он. — Долг требовал их наказать, но когда я узнал, что они были на 35-й батарее в эти страшные дни, я не смог их наказать и простил их. Ведь я сам там был!

— Вы попали в плен?

— Нет, я сел на катер. Третьего числа катер подошел под скалы.

— Как? Третьего числа?! — в отчаянии вскрикнула я. — Неужели третьего числа?

— Да, последний катер. Я сидел на скале и с высоты прыгнул в воду вместе с другими. Я не знал, попаду ли на катер или на морское дно, и очнулся только тогда, когда услышал голос капитана: «Брось якорь, перестань его обнимать, посмотри вокруг:

мы уже давно в открытом море». Да, я участвовал во многих жестоких атаках, потом попал сюда в лес к партизанам, дрался и здесь, но ничего страшнее Херсонеса в жизни не видел!..

Я долго еще не могла успокоиться, как будто снова находилась на батарее, в пещерке, не то во сне, не то без сознания. А в это время подошел катер оттуда, с Кавказа — от свободных берегов «Большой земли». Но я не видела и не слышала… И мне захотелось повернуть время вспять — попасть на катер! Чтобы никогда не было этих двух лет, тяжелым камнем придавивших плечи.

Чтобы никогда не было этих двух лет… Так ли это? — совершенно неожиданно задала я себе вопрос. И подумала: «Нет, эти годы многому меня научили. Я научилась остро ненавидеть врагов Родины и, вместе с тем, ни одной крупинки веры в людей не растеряла. Приходилось всяко: и разочаровываться в людях, и, наоборот, убеждаться в силе и стойкости тех, кого считала слабыми. Все стало по своим местам: ненависть и презрение к врагу, любовь и уважение — другу.

Пусть мои дела — лишь малая капля в безбрежном море, а воспоминания — страница, и даже не страница, а одно слово в той всеобъемлющей книге, которая ждет пера великого писателя. Но я думаю, пусть каждый человек, много видевший и переживший в дни войны, тоже возьмет в руки перо и сообщит народу то, что знает и помнит. Как мелкие ручьи сливаются в могучий, широкий речной поток, так из отдельных рассказов вырастает героическая история нашей Великой Отечественной войны, история тяжких мук и славного подвига советского народа.

notes

Примечания

1

Теперь села Комсомольское и Суворово

2

Колыб — кирпич из глины с навозом, высушиваемый на солнце.